

- ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН
"ПРИТЧА О ПЛЕННОМ ДУХЕ"
- ТЕРРОРИЗМ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА –
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
- СТАНИСЛАВ ЛЕМ
"ПРОВОКАЦИЯ"
- ЛОЛЛИТА В СТРАНЕ ЧУДЕС, ИЛИ РОКОВЫЕ ЯЙЦА –
НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА В СССР, ИЗРАИЛЕ И НА ЗАПАДЕ
- МАЙЯ КАГАНСКАЯ
"ЕВРЕЙСКИЙ ЖУК В СОВЕТСКОМ МУРАВЕЙНИКЕ"

43

22

№ 43

МИГАНУРЕН ИЕРУСАЛИМ

МОСКВА - АВГУСТОМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле.
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год.

Год издания VIII

№ 43

июль-август 1985

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН. Притча о болезни духа	3
ЛЕОНИД ГИРШОВИЧ. Прайс	35
ДАВИД ТАКСЕР. Иск	63

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Перспективы международного терроризма	79
---	----

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

СТАНИСЛАВ ЛЕМ. Провокация	114
-------------------------------------	-----

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

ВАЛЕРИЙ СМОЛКИН. Друзья-товарищи.	135
---	-----

КУЛЬТУРА И РЕАЛЬНОСТЬ

ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА. Моление о чашке	156
СЕРГЕЙ ШАРГОРОДСКИЙ. Израильские антиутопии 1984 года	168
ИЛАНА ГОМЕЛЬ. Лолита в стране чудес.	175
МАЙЯ КАГАНСКАЯ. Роковые яйца	193

ЛЮДИ И КНИГИ

НАУМ ВЕК. Путешествие на луну, или как создавалась книга "Стрела верлибра"	209
ГЕННАДИЙ ВАЛЬДБЕРГ. Первая книга	210

ВЛАДИМИР ЛАЗАРИС. Проигранное дело Ави Валентина 211

ПИСЬМА

К дискуссии с Е. Фиштейном 215

ИЗДАНИЕ

общественного культурного фонда "Москва-Иерусалим" под покровительством Израильского комитета ученых при общественном совете солидарности с евреями СССР

главный редактор — Рафаил Нудельман

Редакционная коллегия:

В. Богуславский	Ю. Маклер
А. Воронель	Н. Рубинштейн
Н. Воронель	М. Хейфец
Э. Кузнецов	Я. Цигельман
И. Чаплина	

заведующая редакцией — Мириам Бар-Ор
технический редактор — Наталья Рубина

Всю корреспонденцию направлять по адресу:
"22", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel

Телефон редакции — 03/394525

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва—Иерусалим". Использование материалов без ведома и согласия издательства не разрешается.

Отпечатано в типографии
"ЯКОВ ПРЕСС"
ул. Рош-Пина, 22
Тель-Авив

В этом номере мы продолжаем публиковать главы из нового романа Ф. Горенштейна "Псалом", который широко читается французским читателем, но все еще неизвестен читателю на русском языке, на котором этот роман написан. Автор живописует советскую жизнь глазами еврейского пророка, посланного на землю во исполнение пророчества Иеремии о посланце, несущем не благословение, а проклятие. Жестокость и подлость окружающей жизни вызывают у автора гнев, в глубине которого все же остаются семена понимания и утешения, но не всепрощения.

Фридрих Горенштейн

ПРИТЧА

О

БОЛЕЗНИ ДУХА

(Главы из романа "Псалом"; начало см. в № 42; полностью роман выходит осенью 1985 г. в изд-ве "Страна и Мир").

Есть такой вечный русский вопрос, можно сказать, фундаментальный: кто губит Россию? Как задаст этот вопрос русский человек, сразу оглядывается по сторонам, если он, конечно, не сугубо русский литератор. Если же он русский вдвойне — то есть русский человек и сугубо русский литератор, то по сторонам не смотрит, а спросив: кто губит Россию? — сосредоточенно смотрит на залитую вином скатерть, точно ищет у нее ответа на эту давнюю русскую загадку.

При Владимире-Крестителе был русский человек язычник накануне мусульманской веры. Стояли б тогда на Руси каменные и деревянные русские мечети. Носил бы Миккула Селянинович чалму, а Ярославна паранджу и не было бы роковых вопросов, столь свойственных христианству. Но в последний момент, вопреки мнению большинства знати и всего народа, отозвал из Хорезма делегацию Владимир, послал ее в Византию. Так, вместо русского мусульманства явилось миру русское христианство по воле случая. Однако такая ли уж христианская у России география? На Востоке от Зауралья

к Алтаю уходит Россия в Азию, на юге от Турции и Балкан подступает Азия к России, и Волга, национальная реликвия, в Азию впадает...

Вот он, облик молодой России — не задумчивый северный, иконописный... Голова круглая, темнорусая на востоке, черноволосая на юге, глаз узок, светел на востоке, темен на юге, и упрямо прет из-под глаза твердая, азиатская скула. Уж лет триста—четыреста в этой скуластой России национальная государственная идея. Хотя если уж к самым истокам добираться, еще до этой географии, когда вытесненные с Дуная восточные славяне селились на Днепре, глянул в их беспокойный кочевой глаз арабский купец-путешественник и сказал: "Если этот народ научится ездить на лошадях, он станет бичом для человечества". Пророчески сказал, ясно и совершенно не загадочно. Самая бездонная загадка, когда никакой загадки нет. Самый бездонный колодец, это невыкопанный колодец. Культура России связана с Европой, а цивилизация — с Азией. Это проблема, но не загадка. Проблему надо решать, употребляя тяжелый духовный труд, отвлекающий от динамичной национальной идеи. Загадку решать не надо. Над загадкой можно размышлять, пребывая в сладком для русского человека состоянии, описанном в "Мертвых душах" Гоголя: "Ты ни о чем не думаешь, а мысли сами лезут тебе в голову". Безусловно именно в таком состоянии и возник роковой, по сей день не разрешенный вопрос: "Кто губит Россию?" Не выдуман вопрос, сам в голову влез...

Правда, вроде бы нашли — с помощью народных умельцев и предельно национальной интеллигенции... Кто губит, вроде бы ясно... Как по маслу ответ сам в голову влез... Но кто им в том способствует? Опять вопрос... Ох, и сжился же с этими вопросами русский человек, приучен испокон веков бедами и горестями к вопросам православный.

— Спасай, — кричат ему.

— А как? — стонет он, измученный, усталый.

— Ясно как — бей!

Хоть и устал русский человек, а бить всегда силы найдутся.

— Ентих?

— Этих само собой... И тех тоже...

— Так за ентих Бог простит, а те ж свои... Как в народной песне поется:

Выйди, выйди, ты, мальчишка,
Посмотри на белый свет.

Там стоит много народа,
Посредине мать, отец.
Ты скажи, скажи, мальчишка,
Сколько душ ты погубил?
Восемнадцать православных,
Двести семьдесят жидов.
За жидов тебе прощенье,
Но за русских никогда...

— И за русских простим... Вон она — полная Россия русских, народ не усчитанный. Сколько ни черпай, меньше не будет. Поработала русская баба — населила. А кого вычерпали — тех видно не будет: пространства...

И верно, русская молодежь или будущие поколения, еще не рожденные, прочитав страшные воспоминания очевидцев, могут подумать: ох, и страшная же тогда была русская жизнь!.. И как это люди при ней жили? Ничего страшного не было, жили нормально в своем большинстве. Радостно даже жили, с верой в справедливость, и русский климат тому способствовал. Чрезмерной жары по климату не полагалось, а от чрезмерного холода аплодисментами грелись. В тридцать седьмом году, например, хорошая весна была, рано все расцвело и начал приходить в себя народ от страстей коллективизации, а в 49-м к лету послевоенная голодуха миновала. Плохо было подавляющему меньшинству, которое можно по пальцам пересчитать, если каждый палец за миллион принять... Но Россия — не тесная Европа. Здесь народ по пальцам считать не привыкли. Здесь испокон веков миром живут, иным на зависть. Однако не во всем еще русскому человеку позавидовать можно. Отчего ж оно так? Губитель старается. Трудится губитель во вред России... И где он?

Опять семьдесят семь. Опять к старому вопросу вернулись: кто губит Россию. Хоть по сторонам оглядывайся, хоть в скатерку, залитую вином, смотри, подперев щеку... Карательные органы эту национальную древнюю загадку по-своему пытаются решить.

И попал в губители России Кухаренко Александр Семенович, уполномоченный Заготзерна по Витебской области. Попал летом 1949 года.

“Дело это не Божье, — подумал Господь, — проклинать тут вроде бы некого Божьим проклятием. Сами они себя прокляли, и понять это немудрено даже человеческому конечному разуму”.

Но есть у человека одна болезнь: что не может он понять — то хочет понять, а что может понять, то не хочет понять... Духовная это болезнь у человека-грешника от четвертой казни.

“Поставлю Я здесь болезнь – моровую язву во главе угла, – решил Господь. – Моровая язва дух гложет не хуже, чем душу и тело”.

Так Антихрист, посланец Господа, приобщен был к Притче о болезни духа.

Жили в городе Витебске две семьи ответработников: Кухаренко и Ярнutowских. Семья Кухаренко была счастливая, а в семье Ярнutowских было неладно. Кухаренко, Саша и Валюша, познакомились в белорусских партизанских лесах, где вопреки инструкции и в виде исключения родилась Ниночка, а Мишенька родился уже в освобожденном Витебске. В послевоенное время административно-управленческий аппарат Белоруссии был в значительной степени партизанский. Влиятельные партизаны старались на руководящие должности назначить своих оставшихся в живых бойцов... Попал на руководящую должность и Коля Ярнutowский, подрывник. Женился он на секретарше городской прокуратуры Светлане. Женился по любви, но не сложилась у них жизнь. И все ж жили в трудах и без всяких аморальных дел. Согласно записи в ЗАГСе родили двух детей. Так что могли б и не знать совершенно, что они лишены счастья, если б не счастливая семья Кухаренко... Собственно, в чем было счастье у семьи Кухаренко, понять не могли, однако, знали, что эти – счастливые, Саша и Валюша... Действительно, в чем было это счастье? В том, что возле дома Кухаренко росли большие желтые цветы? Что в выходные дни любил Саша Кухаренко ездить на велосипеде в шелковой оранжевой рубашке, посадивши впереди себя дочь Ниночку? Что летом Валюша ходила в белой блузке и серой юбке, в белой косынке, а зимой в хромовых сапожках, в жакете с пушистым рыже-серым воротником? Что галушки ели у Кухаренко цветными деревянными ложками? Все это попробовала заимствовать Светлана и даже белорусские картофельные вареники научилась стряпать лучше Валюши. Но не было счастья, какое Кухаренко окружающим демонстрировал. Причем обе семьи жили в одинаковых материальных условиях, довольно хороших для послевоенной разоренной и сожженной Белоруссии.

Земля белорусская в большей части болотистая равнина, покрытая густыми лесами и пересеченная сильно разливающимися весной реками. Почва мало плодородна; болота, трясины, весной разливы, осенью непролазная грязь затрудняли, особенно в прежние времена, сношения между населением... Ни греко-римский спесивый просветитель, ни жестокий монгольский грабитель не проявили большого

интереса к нищим болотам. Зато испытали они нашествие бездомных еврейских масс, которых вытеснили сюда из жирных мест нации, понявшие закон Дарвина гораздо раньше, чем он был сформулирован. Эта еврейская своеобразная экспансия без ножа, но с котомкой, когда бездомный пришел к нищему, способствовала появлению и подлинно единой национальной идеи, а благодаря польско-литовской опеке, идея эта быстро достигла мировых эталонов. В остальном же национализм Белой Руси мало известен и в недозволенном антирусском направлении вряд ли когда серьезно развивался. Потому арестов по обвинению в национализме было в Белоруссии гораздо меньше, чем на Украине. Однако они были, и именно ими была разорена счастливая семья Кухаренко и несчастливая — Ярнутовских.

Кухаренко, который был уполномоченным Заготзерна, казалось бы Бог велел, если и попасть в тюрьму, то за сельскохозяйственные преступления. Однако он сел за культуру. Как-то в одном селе нашел он старинную книгу писателя Бурачек-Богушевича под названием "Белорусская дудка". В книге этой было сказано, что "белорусский язык такой же человеческий и панский, как французский, немецкий или какой-нибудь другой. Неужели же нам можно читать и писать только на чужом языке?" Кухаренко с этой книгой направился в местный пединститут, где выяснил у заведующего кафедрой доцента Богдановича, что Бурачек-Богушевич родоначальник современной белорусской поэзии. Помимо Бурачека-Богушевича, — выяснил уполномоченный заготзерна по Витебской области, — возрождению белорусской культуры способствовал Янко Лучина, печатавший с 1889 года белорусские стихи и издавший сборник "Вязанка". Доцент Богданович являлся по совпадению дальним родственником дореволюционного писателя Богдановича, и он с радостью ухватился за этот интерес ответработника из родовитых партизан к белорусской национальной идее и попросил его организовать выставку.

Александр Семенович Кухаренко действительно был большой любитель белорусского — и чтоб поест по-белорусски, и чтоб попеть по-белорусски. А от национальной песни и национальной еды уже до национальной культуры недалеко. Культура же в 1949 году стала самым опасным участком, как в 1942 году подрывное дело. Предложение доцента Богдановича Кухаренко направил Ярнутовскому, работавшему как раз на этом опасном участке социалистического строительства, а именно в агитпропе. Ярнутовский, кото-

рого не переставало удивлять странное счастье семьи Кухаренко, отчего он уже реже похаживал в гости, по совету жены своей Светланы, секретарши прокуратуры, решил проконсультироваться в инстанциях. В результате консультации доцента Богдановича арестовали. В искаженном положительном аспекте пытался представить доцент борьбу против России польского помещичьего класса, считавшего Белоруссию своим культурным завоеванием... Богдановича арестовали второго июня, а девятнадцатого июня, утром, во время завтрака, пришли за Кухаренко... 19-го июня, часов около девяти, когда семья Кухаренко ела на завтрак галушки цветными ложками, пришли двое, оба в кожаных пальто, несмотря на солнечное утро.

— Вы арестованы...

И все это происходит не то, чтобы без страха, а как-то несерьезно.

— Предъявите ордер, — говорит Кухаренко.

Худощавый, усатый, видать, более ответственный, кряхтя, с неохотой, полез в карман и показал ордер... Видит Кухаренко, закон соблюден, ордер прокурором подписан, Василием Макаровичем. И когда увидел он подпись Василия Макаровича, с которым позавчера рядом сидел на совещании, стало ему вдруг тяжело на сердце... В счастливых семьях сердца едины и есть между ними незримая связь. Стало тяжело Саше, заплакала Валюша, которая до того сидела окаменев.

— Не плачь, Валюша, — целуя ее измазанным от галушек в сметане ртом, говорит Саша, — не плачь, детей напугаешь.

Валя, любящая жена Саши, поняла поначалу происходящее гораздо менее своих малых детей, ибо, приобретя жизненный опыт, научилась не понимать ясного. Однако все сделала, что полагается делать жене при аресте мужа. Быстро собрала вещи, простилась без крика, чтоб не напугать детей, и, выйдя следом на улицу к автомобилю, в который садился Саша, увидела вдруг огромный мир и себя в этом мире маленькой до ничтожности... Ниночка тоже видела все это из окна, — правда, огромного чужого мира она в окно не заметила, но увидела улицу и запомнила, как отец уходил, спину его запомнила...

В тот же день Ярнутовских арестовали, часом ранее... Колю со Светой, а детей малолетних отправили в дом ребенка города Битебска... Так выяснилось, тогда поняла Валюша, что и здесь она счастливее. Правда, надолго ли счастливее, не знала, и все ж решила воспользоваться своим счастьем... Одеда торопливо детей, нарезала

хлеба, налила в поллитровую баночку теплой еще манной каши, насыпала детский карман, который через плечо надевается, конфетами и говорит:

— Пойдемте, ребята, на вокзал.

Приходят они на вокзал.

— Ниночка, — говорит мать ее, Валюша, — ты сейчас с Мишенькой поедете в Москву к тете Клаве.

— А ты? — говорит Нина.

— Я здесь, возле отца останусь, — отвечает Валюша. — Ниночка, ты большая уже девочка, что с отцом случилось, ты никому не рассказывай в дороге, следи только за Мишенькой.

Торопливо поцеловала Валюша Мишеньку и Ниночку, посадила их в вагон московского поезда, и когда благополучно ушел поезд, не стало детей рядом с ней, вместо горечи испытала Валя радость... Несколько улиц шла Валя в радости, и лишь войдя в какой-то захламленный безлюдный сквер, застонала. Неподалеку располагался павильон "Пиво—воды". Валя вошла туда и выпила водки.

Тот бесчеловечный инстинкт, который помог ей ловко, умело отправить от себя любимых детей, помог ей справиться с подступающим к сердцу ужасом. Водка не избавила от ужаса, но она сделала душу более мелкой, более слабой, а слабые души легче переносят тяжелое горе. Выпив, пошла Валюша к Кулешову, в местное НКВД, ибо знала его по партизанскому движению. Там с кем-то препиралась в приемной. Потом шла по улице, ее сторонились. Через три дня она была арестована. Так погибла счастливая семья.

В Витебске был Саша Кухаренко еще со следователем на "ты", но в Минске его начали бить, топтать, дробить каблуками пальцы, и с помощью этих нарушений социалистической законности выяснили подробности о его белорусском национализме и о связи с гестапо в период войны. Тогда следствие было закончено и 29 сентября состоялся суд... Пока Саша Кухаренко пытался доказать свою невиновность, пока искал правду и требовал справедливости, было ему очень тяжело, и о детях и жене он думал не часто. Но когда он расслабился, забыл и о своих заслугах, и о чужих несправедливостях, стало легче, совсем стало легко, и он уже не думал ни о чем, кроме жены Валюши и детей Ниночки и Мишеньки.

С детьми же вот что произошло... Нина и Миша благополучно приехали в Москву, вначале питаюсь хлебом, манной кашей из баночки и конфетами, а потом покупая у проводника чай с печеньем. Угощали их также колбасой соседи-пассажиры. Пассажирам

Нина рассказала, что никаких родителей у них нет давно, воспитывались они у чужой тети, а теперь нашлась родная тетя Клава в Москве... Ребенок вообще умеет врать и любит врать гораздо более взрослого. Во всякой лжи ведь игра. Маленький Миша тоже участвовал в этой игре сестры, и так они доехали. Один добрый сосед-пассажир, старый москвич, довез детей по адресу, который Валя Кухаренко написала в четырех экземплярах, на случай потери, и вложила в детский карман с конфетами, надеваемый через плечо. На кармане этом был вышит зайчик, и перед выходом из дома Валя надела карман на Ниночку. Телеграмму Клавдии она не дала, во-первых, чтоб отъезд детей был более незаметен, а во-вторых, зная, что Клавдия не будет довольна их приездом и потому лучше сделать это внезапно. С сестрой своей она давно не переписывалась и мужа ее, по нации еврея, не любила.

Клавдия была гораздо старше Вали, некогда очень красивая, и вышла замуж еще до войны за москвича-искусствоведа, с которым познакомилась в Ялте. Фамилия, имя, отчество этого искусствоведа были Иволгин Алексей Иосифович. Иволгин Алексей и Клавдия, а также сын их Савелий, подросток, результат явно неудачного смешения кровей, болезненный, задумчивый, правда, склонный не столько к мыслям, сколько к галлюцинациям, жили в большой московской квартире и в лучшем из всех возможных в Москве мест — на Тверском бульваре. Недостаток квартиры был в том, что располагалась она на первом этаже. Но это еще полбеды, поскольку в старых домах окна расположены высоко, почти что на уровне второго этажа новостроек, а снизу существовал еще подвальный этаж, где тоже жили. Беда была в том, что квартира Иволгиных была коммунальной, а обида в том, что кроме Иволгиных, занимавших три комнаты, жилищная контора содержала здесь дворницкую в маленькой комнатухе. Так что, хоть сосед был один лишь, но делить с ним приходилось и кухню, и ванную, и телефон, и вообще быть стесненными. Иволгины многократно писали во многие инстанции, брали ходатайства от многочисленных культурных учреждений, в которых Алексей Иосифович сотрудничал, однако безуспешно. Дворницкая в квартире Иволгиных существовала, и жил в ней дворник, татарин Ахмет, ругатель "с ножиком", от которого Алексей Иосифович однажды спасся, запершись в туалете. Запрись он в ванной, плохо бы было. Дверь там слабая, гнилая, крючок еле держится.

— Сходи к Фадееву, — говорила сердито мужу Клавдия, — кроме Фадеева никто нам от дворницкой не поможет избавиться.

— Как я могу из-за такой чепухи обращаться к генеральному секретарю Союза Советских Писателей, — жестикулируя, отвечал Иволгин. — И так про меня говорят...

— Пусть говорят, — отвечала Клавдия, тоже жестикулируя, ибо жены евреев очень часто становятся пластикой похожи, если живут с глазу на глаз, а не большой славянской семьей, где еврейский муж — это приемыш...

— Но я с ним незнаком, — говорил Иволгин.

— Как незнаком, — отвечала Клавдия. — А на гражданской панихиде Михоэлса он с тобой поздоровался.

— Фадеев здоровался там со всеми, поскольку был очень расстроен, — отвечал Алексей Иосифович.

— Но со мной ведь он не поздоровался, — говорила Клавдия, поворачивая весь разговор к повторам и бессмысленности, где она могла одержать верх.

— С тобой нет, а со мной да, — нервно выкрикнул наконец Иволгин.

— Не кричи, — нервно крикнула и Клавдия, — вечно вы любите кричать.

— Кто это "мы"? — побагровел Иволгин, то есть скорей не побагровел он от гнева, а покраснел от стыдливого негодования, как краснел всякий раз от слова "еврей" где-либо и по какому-либо случаю услышанного, точно его ловили на чем-то тайном, как поймала недавно Клавдия на тайном сына их Савелия в туалете... Савелий тогда так же покраснел от стыдливости.

Внешность у Иволгина была неопределенная, фамилия замечательная, причем не псевдоним, а по паспорту, ибо еще отец его, дореволюционный интеллигент, патриот России, удачно сменил фамилию, как он говорил — "из кошки по-еврейски стал птичкой по-русски"... И с именем Иволгину повезло, только отчество немного подводило. Многие даже не знали, что Алексей Иволгин — еврей. На гражданской панихиде Михоэлса, где выступили Фадеев, Зубов и прочие именитые русские люди, несколько слов сказал и Алексей Иволгин. Слово "еврей" на панихиде почти не произносилось, и Алексей Иосифович вздрогнул душой всего раза два...

Однако Ахмет, дворник, откуда-то догадался, что враждующий с ним сосед — еврей.

— Джид! — кричал пьяный Ахмет, — мал-мал зарежу...

— Пойди к Фадееву, — говорила Клавдия, — татарин покалечит тебя и Савелия, или тебе наплевать на сына? Ты до сих пор не поинтересовался хорошим психиатром, — и, не выдержав, сделала мужу очень больно, — хватит уже, что ты наделил мальчика таким длинным носом... Его все дети дразнят на улице...

— При чем тут я, — нервно покраснел Иволгин, — посмотри, у меня нормальный нос, и у отца моего был нееврейский нос.

— А у кого же еврейский нос, у меня или у моего отца, сельско-го бондаря? — говорила Клавдия, и видя, что муж привычно краснеет, добавляла, — тебе еще остается обвинить меня в антисемитизме, тогда как всем евреям нашего института известно, что я не антисемитка и что у меня муж еврей.

— При чем тут антисемитизм, — говорил Алексей Иосифович. — Ты знаешь, что я смотрю на эти вещи широко.

И он затих в тот вечер, более ничего не сказав жене, ибо данное препирательство происходило вечером, разумеется, в отсутствие Савелия. Взяв книгу: "Избранные произведения русских мыслителей второй половины ХУШ века", сев с ней на любимое кресло-качалку, прочтя фразу: "Вспомните от каких малых начатков происходили российские первобытные народы и до какого они достигли ныне величия, славы и могущества..." — он задумался кислосладкими мыслями о том, как хорошо бы было ему родиться от славян, аборигенов или, в крайнем случае, хотя бы от татар или якутов. Каким бы хорошим, гуманным неевреем он был бы, как много бы он сделал для тех, кому не повезло с рождением от еврейского отца с матерью и, главное, что ничего уже нельзя изменить. Если уж ты родился евреем, так это так же навек, как если ты умер русским. Может, сыну его, Савелию, еще хуже, еще обиднее будет. Половины ему не хватило, всего половины... Ах, какое это богатство быть русским и как не ценят это русские, как недостаточно они любят Россию... Он знал, что есть немало русских, которые недостаточно любят Россию... А ведь если б ему, Алексею Иосифовичу, только разрешили быть русским, каким бы русским патриотом он был... Однако он знал, что есть немало русских, которые тоже недовольны, когда еврей любит Россию, которые ревнуют его к России и которым больше нравится, когда еврей России враг. И есть немало евреев, которые делают подобные обидные мысли справедливыми... Да, да, он может указать на таких пальцем... Не ценят русский хлеб, не ценят русское гостеприимство... Неблаго-

дарные... Ах, как он их ненавидит... Из-за них и нас... Вот Клавдия русская... Белоруссы ведь тоже фактически русское племя...

После этого мысли его, как обычно в таких случаях, пошли веером во многих направлениях и стали скучны, как скучны испокон веков становятся всякие разговоры и рассуждения о еврействе после первоначального живого напора. К тому ж явился Савелий, нехорошо возбужденный, посмотрел на родителей, сказал:

— Опять ругались?

И сели ужинать. Думал Алексей Иосифович, что кроме скучных мыслей о еврействе, скучного привычного спора с женой и нехорошо возбужденного Савелия, запомнится этот вечер сильным дождем и больше ничем... Но вечер этот запомнился главным образом исчезновением Ахмета... Два дня его не было, потом выяснилось от участкового милиционера Ефрема Николаевича — сидит Ахмет. Ножиком пырнул кого-то.

— Немедленно, — радостно говорит Клавдия, — немедленно иди за ходатайством, чтоб никого не подсеяли.

Радостный прибежал Иволгин домой. Клавдия встречает озлобленно.

— Поздно... Подселили... Да еще с дочерью... Ахмет хоть один был.

Видит Иволгин — с дверей комнатухи дворницкой замок снят и голоса там слышны — мужской и женский.

— Кто? — спрашивает глазами Иволгин.

— Пойдем, дурак, — отвечает глазами Клавдия.

Пришли они в гостиную, сели у рояля, пригорюнились.

— Кто? — спрашивает уже голосом Алексей Иосифович.

— Конечно, еврей, — отвечает Клавдия.

— Как? — говорит Иволгин, — еврей-дворник?.. Анекдот, — и засмеялся.

— Смешного тут мало, — улыбается и Клавдия, — но все будет зависеть от первого разговора... Чтоб сразу на место поставить... Тут, я думаю, легче будет... В крайнем случае, я ему голову кастрюлей разобью. Он еще будет меня стеснять на моей собственной родине. Он должен помнить, что живет в Советском Союзе...

Знал Алексей Иосифович, что жена его, счетный работник министерства автодорожного строительства, может ударить кастрюлей, если знает, что ее за это не пырнут по-татарски ножиком, а по-еврейски в суд подадут.

— Ничего, я и на суде покажу, кто они такие... Понаехали в Москву. Даже в дворники лезут.

— Это не надо, — говорит Иволгин, — какой суд, предоставь мне, я их лучше тебя понимаю. Еврейская наглость резкого слова не боится. Они все шепотком, шепотком хотят договориться. Но со мной шепотом не поговоришь. Я им докажу, что меня их проблемы не интересуют, — и вышел в коридор.

Там и произошла его первая встреча с Даном, Аспидом, Антихристом... Чтоб не поздороваться и сказать резкость, искусствовед задумался, наморщил лоб и остановился, потому посланец Господа, Антихрист, его сразу разглядел и узнал. Стоящий перед ним в тапочках, майке-сетке и шелковой пижаме был из колена Рувима, первенца Иакова, некогда сильного, но уже давно пришедшего в упадок, из которого не многие войдут в Остаток и дадут Отрасль... То, что стояло перед Антихристом, было концом, начало же ему было в Египетском рабстве, когда изнурения и жестокости фараона боролись с цепкостью и желанием выжить сынов Иакова. Чем более изнурял их фараон, тем более они умножались, но не было с ними рядом Бога и не лучшие умножались, пока в колене Левия не родился Моисей...

Однако, когда родился Моисей, много дурного уже умножилось, ибо в угнетении, когда человек не живет, а выживает и нет рядом Бога, доброму нечем выжить, дурное не выживает у мясных котлов, живя жизнью для себя привычной.

От Рувима, сильного доброго первенца Израиля, родился тот, кто стоял перед Антихристом в тапочках и шелковой пижаме, глядя нечистыми глазами и лелея пухлыми, непривычными к труду руками свой пухлый живот, как любимое дитя. То, что стояло перед Антихристом в коридоре, было совершенством мерзости и зла. Но мерзость не способна создать ничего совершенного, даже не способна создать совершенную мерзость и совершенного злодея. Отчего ж так много совершенного предельного зла, кто его порождает? Его порождает добро... Плодоносит только добро, но оно порождает не только себе подобное, но и себе противное... Все злое вырастает из доброго, хоть и доброе из доброго растет... Отчего ж допустил такое Господь, отчего злое умножилось в Его собственном народе? Вот он, насмешливый вопрос атеистов и безумный вопрос мистиков... Зачем Господу нужен Иволгин Алексей Иосифович, когда был Моисей, Иеремия, Исайя и Иисус Назорей?.. Ответ прост для того, кто читает-перечитывает не только христианский поздний довесок — Евангелие, в котором нет ни единого самостоятельного слова, но и Божью поэму о сотворении мира, первооснову Библии,

без которой не понять ничего последующего... Оттого Иволгин, что после Эдема человек — существо проклятое. Он проклят на труд и проклят на историю, тогда как в Эдеме не было ни труда, ни истории. Из милосердия Божьего живут на земле пророки и праведники, из милосердия существует доброе, тогда как злое — из существа происходящего. Пониманием этого библейский пророк отличается от сладкоустого гуманиста... Но когда, взглядевшись в нехорошую улыбку мужика, угнетенного безбожника, русский гуманист Александр Блок отрекся от гуманизма, это был глас, вопиющий в пустыне, ибо дурное слишком умножилось... Умножился и гуманизм, бесплодный в массе и плодотворный только в сочетании с индивидуализмом, с личностью. Сперва умножился христианский, антибиблейский гуманизм, потом на одной шестой суши его сверг со своей выи незаконнорожденный сын антибиблейского христианства — материалистический гуманизм, верой и правдой которому служил Иволгин Алексей Иосифович, еврей-интеллигент, а говоря языком христианским, попросту выкрест, крещеный не через чистую воду, а через сладкозвучную чистую идеологию, что в принципе одно и имеет в основе то доброе, что рождает злое.

— Спитой чай, — наконец нашел, что сказать, еврей-искусствовед еврею-дворнику, — спитой чай в ванну не лить, — громко, без всякого там шепоточка, произнес Алексей Иосифович, — мы за вас и вашу дочь убирать не должны...

Едва Алексей из колена Рувима произнес коммунальный выговор, как Дан из колена Данова вспомнил о нем то, что сам Алексей Иосифович, разумеется, о себе не знал. Это был дальний потомок того еврея, которого в Египетском рабстве защитил Моисей от избиения египтянином, вступив с египтянином в драку и убив его. И закричал перепуганный еврей на Моисея:

— Кто поставил тебя судьей над нами?

Еврей этот знал, что, поглумившись над ним, египтянин отпустил бы и можно бы было успеть еще к мясному котлу. Но непрощенный защитник, Моисей, испортил дело... И с сарказмом, свойственным впоследствии и современному искусствоведу, древний еврей в Египетском рабстве воскликнул:

— Кто поставил тебя начальником?.. Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?

Так в русском, несовершенно переведенной Библии. В подлиннике же сказано, что еврей этот "показал Моисею зубы". Это было точное определение — клеймо... Из тех это был, кто показал Мои-

сею зубы. И верно. Алексей Иосифович посмотрел на Антихриста, уже изрядно усталого, поседевшего за нынешний земной путь свой, и что-то жалкое, местечковое увиделось ему в лице этого еврея-дворника. Что-то язвительно смешное пришло на ум Иволгину, ведь Алексей Иосифович был русский искусствовед, и его могла вполне рассмешить мировая скорбь еврейских глаз, как смешила она некогда Вольтера, любимца и баловня русского гуманного свободомыслия...

Тогда открыл Алексей Иосифович рот, показал зубы, изрядно пожевавшие уже русского хлеба и украинской колбасы... Сочетание золотых коронок впереди, хромированных зубных мостов по бокам и светло-кофейной кости в промежутке... Сюда за службу верой и правдой народу-хозяину, как он считал, награждается хороший еврей едой и питьем и воздухом для дыхания... Не на грудь главная награда, а в рот, меж зубов...

— Ха-ха-ха, — четко и раздельно, без еврейского шепоточка, произнес Иволгин.

И сказал ему Антихрист, молча, в себе, через пророка Исайю:

— Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи?

Однако еврейская мировая скорбь, смешившая Вольтера и рассмешившая Иволгина, была не только в глазах Антихриста, она была и в глазах самого Иволгина, правда, в своем наиболее падшем и ничтожном виде...

Ведь все ничтожное это есть великое, предельно униженное... Предельно унижьте великую мировую скорбь и она превратится в обычный трусливый страх. Что б ни делал Алексей Иосифович, глаза его постоянно, помимо воли, твердили одно: боюсь, боюсь...

— Авраам, не бойся, — сказал Господь Зачинателю.

Это было одно из основных положений Договора Господа с Авраамом и превращение Аврама в Авраама, превращение вавилонского странника в Зачинателя Господнего народа... Но те, кто размножились в Египте возле местных котлов рабства, начали забывать Господа, расторгнув первым делом именно этот с ним Договор.

— Бояться, бояться надо, — говорят они и по сей день, — заяц всю жизнь боится и жив...

Так поучают они младших родственников своих после хорошей чарочки вишневой наливки. И в философском трактате, за ворохом блестящих мыслей, вдруг слышится:

— Боюсь, боюсь...

И в рассуждениях ученого выкреста: “Боюсь, боюсь”. И в умелой, талантливой, церковно-березовой лирике поэта, мечтающего, чтоб за дорогими сердцу “молебнами”, сладкими слуху “облетающими осенними садами” и живописно изображенным рождественским снегом русский читатель забыл или хотя бы простил ему еврейское происхождение... Так расторгли они Договор с Господом...

Едва один из них, Иволгин Алексей Иосифович, засмеялся, показав Антихристу зубы, как страха в его глазах стало еще больше. И через пророка Исайю сказал им всем Антихрист в женском роде, ибо их всех родила слабая рыхлая женщина и они все были плотью ее:

— Кого же ты испугалась и утрашила, что сделалась неверною и Меня перестала помнить и хранить в своем сердце? Не от того ли, что Я молчал и притом долго, ты перестала бояться Меня, — и добавил Антихрист от себя уже, — тот, кто слишком боится людей, тот не боится Бога...

Меж тем Алексей Иосифович, искусствовед, через страх, наиболее сильное, плодотворное для него чувство, как-то приблизился к происходящему в коридоре коммунальной квартиры, хотя и не понял этого. Однако смеяться перестал и торопливо ушел к себе, ничего более не сказав.

— Я покажу правду твою, — сказал Антихрист, глядя на сутулую жирную спину Алексея, из некогда славного колена Рувима, — я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебя...

Так разошлись соседи и стало пусто в коридоре.

— Я ему показал, кто здесь хозяин, — осмелев у себя в гостиной, сказал Клавдии Алексей Иосифович, — он и пикнуть в ответ не посмел. Обычный местечковый жид... Из-за таких нас не любят.

Антихрист же, войдя к себе в комнатушку, сел с приемной своей дочерью Руфью пить чай. Когда отец замолкал особенно надолго, Руфина знала, о чем он молчит. Тогда брала она Библию, пахнущую старушечьей жизнью. Сладостью, корицей и плесенью отдавал потертый переплет, тленом пахли замусоленные страницы, которые в полюбившихся местах были подчеркнуты либо надписаны, похоже, одним и тем же синим карандашом. Особенно много подчеркнут и надписан был Псалтырь и притчи Соломоновы... Библию эту подарила Руфине старуха Чеснокова, сектантка, староверка...

Философ-гуманист стремится научить добру, исходя из морали,

чуждой человеческой природе, Библия учит добру, исходя из человеческого эгоизма, ибо она не игнорирует, на манер гуманистов, подлинную природу человека, однако в отличие от фашистских умельцев, опирающихся на дурное и учащих дурному, Библия учит доброму, исходя из дурной человеческой природы.

— Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего, — читала Руфина подчеркнутое староверкой, — ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтоб придумать коварство, закусывает себе губы, совершает злодейство; он — печь злобы...

В этот момент позвонили во входную дверь, но ни отец, ни дочь не шелохнулись. Ибо когда оба они были в доме, некому было прийти к ним.

— Венец славы — седина, которая находится на пути правды, — читала Руфина...

В дверь звонил добрый сосед по вагону, который приехал вместе с Ниночкой и Мишенькой из Витебска. Позвонив, он не ушел, но отошел за угол и ждал, примут ли детей. Если б не приняли по какой-либо причине, то он отвел бы их в детскую комнату при милиции. Однако приняли с женским вскриком, похоже, ликующим, и будучи этим удовлетворен, с приятным чувством от доброго своего поступка, человек этот, пожелавший остаться неизвестным, удалился. Кричала Клавдия, которая, узнав детей сестры своей Валентины, приехавших без телеграммы, сразу заподозрила недоброе. Нет, почудилось доброму человеку, что крик при встрече был ликующим. Впустив детей, Клавдия начала торопливо спрашивать, где мама и папа их и отчего они одни. Тут же суетился Иволгин, который повторял:

— Клавдия, не суетись, надо разобраться...

А Савелий, болезненный подросток-полукровка, лежа на диване, изучал сероглазую Ниночку, свою двоюродную сестру, впервые виденную. От такого приема заплакал Мишенька, потом заморгала красивыми кошачьими, в мать, глазами и Ниночка.

— Ну вот, — сказал Иволгин, в котором все-таки сохранилось инстинктивное начало еврейского, слабохарактерного к детским слезам мужчины, — ну вот, испугала детей. Надо их прежде всего накормить.

— Да, конечно, — торопливо сказала Клавдия.

Детям дали вчерашнего разогретого супа и по котлетке с макаронами. Пока они ели, Клавдия и Алексей Иосифович читали, запершись в спальне, письмо, обнаруженное в детском кармане, на

котором был вышит зайчик. Собственно, письмо Клавдия прочла только до строк об аресте Саши.

— Ясно, — сказала она и, побледнев, выронила бумагу, — раньше ей было на меня наплевать, а теперь она хочет меня погубить, когда сама попалась. Она не хочет понять, что у меня муж — еврей. Мы должны быть вне всяких подозрений.

— При чем тут моя национальность, — вдрогнув, как всегда, душой при произнесении вслух своей страшной стыдной сути, сказал Иволгин.

— При том, — злобно крикнула Клава, — и не притворяйся, что ты не понимаешь. Агнец Божий... Хочешь, чтоб с тобой было то же, что с Шерманом?

— При чем тут Шерман, — пытаюсь сдержать свое разогнавшееся сердце, сказал Иволгин, — у Шермана были связи с родственниками в Америке. — И тут же он услышал, как привычное: “Боюсь, боюсь” — побежало, понеслось, поволокло из него душу. “Боюсь, страшно мне”, — кричала душа одного из некогда славного колена Рувима, душа одного из тех, о которых сказал Господь через пророка Иезекииля:

— И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили святое имя Мое, потому что о них говорят: “Они народ Господа и вышли из земли Его”.

“Боюсь, страшно мне” — уже хрипела от крика душа Иволгина, выволакиваемая страхом из тела, как арестанта волокут ночью из постели, и Иволгин говорил охрипшим шепотом:

— Я слышал, в Белоруссии серьезный процесс, судят националистов... Богдановича и прочих...

— Алеша, с Валиными детьми надо что-то решать, — уже твердо и без нервов сказала Клавдия, — Валя на меня может обижаться, но оставить их у себя я не могу. У меня тоже ребенок. И материально нам будет тяжело, но это не главное...

— Хорошо, — торопливо сказал Иволгин, — только не сейчас об этом. Сейчас надо спать... Утром разберемся...

Алексей Иосифович отлично знал в целом, что решила жена, хоть в деталях не знал пока, однако он боялся услышать вслух, что она задумала, и старался оттянуть этот момент... Неблагодарных поступков он боялся так же, как и благородных. Он всего боялся и даже, когда осмеливался кричать на тех, кто были по положению слабее его, то все равно и их боялся.

Перед сном Валиным детям, Ниночке и Мишеньке, так же, как и

своему ребенку, Савелию, дали по стакану киселя с булочкой. Постелили им в гостиной на диване, и усталые дети быстро уснули. Улегся в своей комнате с выдернутым из дверей запором, Савелий. Внутренний запор выдернул по распоряжению Клавдии слесарь. Выполнено это было после того, как Савелий был пойман на юношеском грехе, которым грешил и второй муж Фамари Онан, дабы Савелий чувствовал, что родители могут войти в любой момент и застать его за грешным делом. Однако в ту ночь родителям было не до него, ибо они встали утром с одинаково набрякшими глазами и ушли на работу, не позавтракав. Дети же поели опять котлетки с макаронами, опять запили киселем и занялись играми. Маленький Мишенька забрался в большие стенные часы и начал ловить маятник. А Савелий спросил Ниночку:

— Ты гимнастикой умеешь заниматься?

— Как это? — удивилась Ниночка.

— Очень просто, — сказал Савелий, — я тебя буду поднимать, а ты делай руками разные движения. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Ниночка, — я так с батей моим в Витебске играла... Он меня на руки как подымет высоко, высоко... Или на велосипеде катал... И стихи меня учил читать... Вот...

Против школы новый дом,
В новом доме мы живем,
Мы по лестнице бежим
И считаем этажи:
Раз этаж, два этаж,
Три, четыре — мы в квартире.

Савелий помнил, что еще маленьким мальчиком-дошкольником любил он разглядывать журналы мод, где были изображены красивые тети и водить пальчиком по их гладким глянцевым ногам, отчего было так же приятно, как и сосать конфетку... Не знал он, конечно, что дурное смешение крови часто карается четвертой казнью Господней — болезнью и третьей казнью — диким зверем... Тем не менее, будучи ребенком, он все ж догадывался усесться с журналом мод и водить пальчиком по блестящим, глянцевым желтым ногам тетя, где-нибудь в уголочке и уединении... Так и привык он с малых лет связывать свое сладкое чувство с уединением. Из уединения наблюдал он за девочками двора, сторонился девочек в классе и страдал, пока раз в школьном туалете его один мальчик не обучил стыдному удовольствию... Любил он также ходить в цирк или на гимнастику, смотреть, как мужчины поднимают за

ноги и бедра женщин. Потому, оставшись с двоюродной сестрой своей наедине, поскольку малыш не в счет, он впервые решил попробовать сам, и сердце его забилося, как никогда ранее. И понял он, не умом, конечно, ибо был еще слишком глуп, а руками своими понял, что такое женское тело, перед которым ничтожны любые побочные наслаждения, которыми увлекался и второй муж Фамари Онан... Вот она, мягкая влажная тяжесть женского, ради которой возможны безрассудства... Неужели ежедневно то же испытывают гимнасты и циркачи?.. Он не знаком был еще со скукой, какую вызывают роскошные блюда, румяные гуси и жареные в сметане караси у сытого... Он был мальчик из обеспеченной, но все ж питающейся сардельками и котлетами московской семьи 1949 года.

Ниночке тоже нравилось, когда ее поднимал Савелий, она визжала и взмахивала руками, а Мишенька хлопал в ладоши. Дети так увлеклись, что не заметили прихода взрослых. Клавдия вошла как раз в момент гимнастической пирамиды, которой Савелий никак не мог от Ниночки добиться, потому что ей было щекотно. Наконец Ниночка согласилась, и хоть сильно визжала, но разрешила все ж просунуть Савелию руку довольно далеко.

— Что здесь происходит? — сильно побледнев, крикнула Клавдия, риторически крикнула, ибо она отлично знала, что происходит. — Прекратите сейчас же.

— Мы играем, — смеясь сказала Ниночка.

Клавдия схватила Савелия, уволокла его в спальню и там сильно ударила его по щеке. Следом вошел Алексей Иосифович, который тоже ударил, но не так больно, ибо все ж он был еврейский отец.

— Вот почему тоже их надо отправить, — шепотом сказала Клавдия, — чужая девочка в доме развратит Савелия.

— Да, да, я согласен, — ответил Иволгин, и сердце его привычно трусливо по-заячьи запрыгало, — но их надо обязательно накормить обедом предварительно... Перед тем, как... — И он замялся.

После обеда Клавдия приказала запуганному Савелию:

— Останешься дома... Мы с отцом и ребятами сейчас поедем по делу, ясно?

Провинившийся Савелий не посмел послушаться и улегся на диван. А супруги Иволгины с детьми репрессированных родственников своих Кухаренко сели на троллейбус, потом пересели на другой троллейбус и приехали к Белорусскому вокзалу. На Белорусском вокзале они прошли в комнату матери и ребенка. Усадив детей,

Клавдия и Алексей Иосифович отошли в угол к окну и начали разговаривать шепотом. Потом Клавдия вышла, а Алексей Иосифович подошел к детям и сел с ними рядом, задумавшись. Подумав так, говорит он Нине, отведя ее в сторону, к окну, где раньше шептался с Клавдией:

— Ты уже девочка большая, должна понимать, что родители твои арестованы и скрыть это невозможно. Рядом с нами вас всегда обнаружат, потому что мы родственники. Поэтому бери Мишу, носи его в общий зал ожидания, садись и начинай плакать. Если будут спрашивать, чего плачешь, отвечай — мать бросила и не приходит... Как фамилия — Иванова.

Ниночка была девочка прилежная и старших слушала. Взяла она Мишу, пошла в большой зал, села и начала плакать. Но плакала не по той маме, которая вроде бы бросила и ушла, а по той маме, что из Витебска, и по батю своему тоже плакала. Стали подходить люди, спрашивать в чем дело. Подошла и тетенька с красной повязкой на рукаве, дежурная по вокзалу.

— В чем дело? — спрашивает, — чего ты плачешь, девочка?

— Мама нас оставила, — говорит Ниночка, как научил дядя Алексей, — и не приходит за нами.

Так ей вдруг горько стало, так заныло в груди и обидно так, и себя жалко... И Мишеньку.

— Верно, — говорит дежурная, — девочка правду говорит. Я видела, что в комнате матери и ребенка была с ними мать, — это она, очевидно, тетю Клавдию видела рядом и приняла ее за мать, — возьми братишку и пойдем со мной, — говорит дежурная.

Подняла Ниночка Мишеньку на руки и пошла за дежурной. Когда проходили они мимо вокзального телеграфа, увидела Ниночка дядю Алексея, который из-за чьих-то спин выглядывал и на нее смотрел с тревогой. И вот уже нет дяди Алексея. По переходам, потом по перрону, потом по какой-то привокзальной улице шла Ниночка вслед за дежурной. Мишенька был тяжелый, Ниночка с ног валилась, руки ее расцеплялись. Но вот пришли они в какой-то дом. Дежурная ушла, а дети долго сидели вдвоем на полу в уголке. Наконец их позвали в другую комнату, где сидел милиционер. Милиционер начал спрашивать, кто они и откуда. Ниночка, помня наставления дяди Алексея, ответила, как он научил, а Мишенька испуганно молчал. Но когда вошла строгая женщина с гребенкой в седых волосах и тоже начала спрашивать, дети расплакались, и Ниночка рассказала все как было, что фамилия их не Ива-

новы, а Кухаренко... Тогда их накормили хорошим обедом и прожили они в этом доме три дня, после чего были отправлены на поезде в город Тобольск.

Сначала они попали в детдом имени Макаренко. Располагался он в семи километрах от Тобольска в старом монастыре среди леса. Хорошо там было. Летом ходили на Иртыш и Тобол купаться. А возле детдома располагался питомник, где жили лисички, и детдомовские часто ходили их смотреть. Однако потом случился пожар. Говорили, что детдом их подожгли монашки за то, что советская власть отняла у них это помещение и передала для воспитания сирот. После пожара всех детей перевели в город Тобольск в детдом имени Крупской, и здесь уже было похуже. Потом вдруг как-то утром вызвали Нину к заведующей и говорят:

- Кухаренко, завтра тебя отправлять будем.
- Куда? – спрашивает Нина.
- Там увидишь.
- А брат мой, Миша?

Ничего заведующая не ответила. Утром простилась Нина с Мишей, и повезли ее с другими детьми в товарных вагонах очень далеко. Привезли в место, где стало совсем плохо. Кормят голодно, и воспитатели злые. Вокруг сопки огромные, и детей все время медведями пугали, чтоб не отлучались. Однажды Нина видела, как вели мимо колонну то ли пленных, то ли арестантов. Одна женщина Нине запомнилась, потому что эту женщину конвоир ударил, и у нее по лицу кровь побежала... С того дня стала Нина очень нервная, грубила старшим, и ее сажали в погреб, где хранились бочки с детдомовской кислой капустой. Воспитание в этом детдоме было твердоупорядоченным и наказание за провинность неотвратимо... Здесь слезам не верили.

Вообще-то испокон веков Россия любила поплакать и пожалеть, это в русском национальном характере. Но к 1952 году русская национальная жизнь, как никогда полно выражавшая жизнь всего государства, достигла предельной цельности и сурового монашеского порядка. Спасение молодой незрелой души обычно в несерьезности восприятия жизни. Такая несерьезность испокон веков сопровождала в трудные моменты русскую душу и спасала ее от гибели. К сталинскому, гвардейскому 1952 году спасительная несерьезность эта была отовсюду изжита, даже из антисемитизма была изжита веселость. О евреях больше не шутили, над ними больше не посмеивались и количество смешных еврейских анекдотов сокра-

тилось. Зато появилось множество аскетически суровых статей, набранных буквально на пределе господствующей идеологии... Казалось, вот-вот устное слово должно было ворваться в печатное... Вечером в куплете, утром в газете... Куплеты знаменитой частушки: "Бей — спасай" — распевались без лихого веселья, а сурово, как гимн... Измученная, усталая душа русского человека изменилась полностью, и не веселым православным погромом запахло, а погромом средневековым, серьезным, католическим... Обсосанная купоросными польскими устами, польская конфетка "жид", принятая из этих уст в уста иные, хоть тоже славянские, но более широкие, менее костлявые, сладка была часто, а не горька. Ох, и приятно было подержать ее во рту, водочку ею закусить приятно было не хуже, чем огурчиком. И в ученой беседе приятно она рот освежала. И сугубо русскому литератору на вечные русские вопросы-загадки ответ подсказывала... Хороша польская конфетка "жид", но к стальному гвардейскому 1952 году стала она горькой пилюлей. Рты жгла, лица искажала.

Господи, каких только страшных лиц не насмотрелся Иволгин Алексей Иосифович. Уж не кричала даже: "Боюсь" — душа его, а просто дрожала без слов.

— Позвони Фадееву, — шептала в постели Клавдия.

— Чтоб напомнить ему о его выступлении на гражданской панихиде еврейского буржуазного националиста Михоэлса? — затравленно огрызался Алексей Иосифович.

— Почему напомнить? — говорила Клавдия. — Думаешь, он помнит, где ты с ним встречался?

— Нет, нет, — говорил Иволгин. — Сейчас главное — быть незаметным.

Но трудно быть незаметным, когда русский вопрос: "Кто губит Россию?" — в полный рост встал, жжет и сверлит русского человека вопрос. Это на русской лихой свадьбе во время веселья легко затеряться, притворившись под столом пьяным, но когда русский обиды подытоживает, когда русская речь полна шипения и жужжания, "шши" да "жжи", поди, затеряйся... "Што... Жлоб... Шакал... Ж-ж-ж-жид..." По улице идешь — в разных концах жужжание... В местах общественного пользования — в учреждениях, кинотеатрах, на транспорте — всюду жужжат... Начал Алексей Иосифович опасаться трамвайно-троллейбусного транспорта... Трамвайно-троллейбусно-автобусный антисемитизм явление не новое, однако ныне превратился городской транспорт в митинги на колесах... Свобода

слова, гарантированная Конституцией, в этом направлении всегда соблюдалась, теперь же ораторов в троллейбусах стало больше, чем в английском Гайд-парке. И в прежние, более веселые времена побаивался Алексей Иосифович, когда в городском транспорте затевались меж пассажирами громкие пересуды. Был случай, зашел как-то в троллейбус весельчак. Это изредка, но бывает. Понюхал весельчак воздух и говорит:

— Граждане, с чесночком вас, товарищи... Хоть и неясно пока, кто благоухает, но ведь благоухание-то теперь наше общее, коллективное.

Некоторые промолчали, но некоторые все ж засмеялись, а Алексей Иосифович глаза опустил и голову в плечи втянул. Не он чеснок ел, но сердце замерло. Вот сейчас ударят страшным словом под ребра... Сейчас скажут... Но не сказали... Пронесло... И в другой раз пронесло... И в третий раз... Однако ждал Алексей Иосифович. И сказал Алексею Иосифовичу один русский человек в троллейбусе номер 20, следовавшем по маршруту: проспект Маркса — Серебряный бор, славянское затейливое название — сказал, глядя на Алексея Иосифовича в упор:

— Если б нам не надо было выписывать рецептов по-латыни, мы б вас, жидов, давно б всех давили.

И троллейбус, этот стихийно созданный коллектив, одобрительным молчанием поддержал своего оратора. Ибо еврей в русском коллективе, это важная необходимая деталь для ощущения национального единства.

Не вышел, а вывалился Алексей Иосифович на площади русского гения Пушкина, долго сидел, держась за сердце.

Через день поехал он в Ленинград в командировку от журнала "Театр", и в купе с ним всю дорогу русский человек говорил "по душам".

Вообще антисемитизм городского транспорта резко отличается от антисемитизма железнодорожного транспорта. В городском транспорте расстояния коротки, теснота, быстрая смена действующих лиц, и все это влечет к динамизму, к крику, к коротким, ясным формулировкам-лозунгам. В железнодорожном транспорте наоборот. Тут и посвободнее, и времени достаточно, и с людьми сжиться успеешь. Тут обстоятельные размышления "по правде", здесь анализ. Тут и первая заповедь антисемита соблюдается, если он не покричать, а порассуждать хочет. Первая заповедь антисемита — сказать, что у него много друзей евреев. И про братство порас-

суждать. Именно в стиле убаюкивающего железнодорожного антисемитизма под перестук колес написал в марте 1877 года Достоевский свой "Еврейский вопрос".

— Да, да, — поддакивал Алексей Иосифович, — я с вами согласен... Я всегда был интернационалистом, предрассудки своей нации я давно не соблюдаю... У меня и фамилия интернациональная — Иволгин, и женат я на белоруске... И призыв Федора Михайловича: "Да здравствует братство" — с благодарностью воспринимаю, согласен с Федором Михайловичем, что еврей скорее неспособен понять русского, чем русский еврея... Между нами говоря, — добавил он, блестя глазами и довольный, что нарвался на культурного человека, а не на крикуна, — между нами говоря, мне никогда еврейские женщины не нравились... Неряшливые, нервные, и в женском есть у них какая-то чисто еврейская жадность... То ли дело славянки, — и Алексей Иосифович-искусствовед доверительно причмокнул губами.

И, верно желая в угоду собеседнику сказать пакость, сказал Алексей Иосифович истину. Когда народ пал духом, то первым делом это на женщине отражается, ведь женщина создает национальный облик народа. В бытовых концлагерях — местечках, среди кислых брачных ночей двоюродных братьев с двоюродными сестрами, в духоте, чтоб сквозняк не простудил чахоточные легкие, от поколения к поколению все более унижался прекрасный облик библейских красавиц. И женщины с непропорциональными носами, с костлявыми ляжками либо с обвисшими животами рожали людей узкокостных, сутулых, слабосильных, хронически больных... Потому все, случайно сохранившее здоровые истоки, старалось бежать из еврейства, несмотря на суровые запреты талмудистов-догматиков, здоровое бежало, спасало себя из бытовых концлагерей, куда были заперты евреи для разложения и вырождения... Бежали немногие красивые женщины, согласно биологическому инстинкту старавшиеся продолжить потомство не свое, погибающее, национальное, а чужое, крепкое. Бежали умные. Бежали цепкие. Бежали умелые... В любую щелочку, в любой промежуток... Как писал Герцен: "От нужды хитры были и изворотливы жида". Никто не созывал по их поводу международных форумов, никто не создавал международных гуманитарных денежных фондов. Погибающие спасали сами себя. Они бежали от еврейского, чтоб сохранить в себе человеческое. Но цена, которую они при этом заплатили, стала понятна гораздо позднее, хоть и поныне не всем она понятна.

Гораздо дороже она цены, которую заплатил Фауст Мефистофелю. Не душу они продали, а дух. Душа сохраняет в человеке человека, дух – сохраняет в человеке Бога. Бежавшие из еврейства спасали душу, но губили дух...

Так бежал из местечка дед Алексея Иосифовича Иволгина со смешным для славянского уха именем "Хаим" и с фамилией "Кац"... Хороша фамилия "Кац" для немецких заработков, но для русских заработков нужна другая... И купил Иосиф Кац, сын Хаима, у пристава фамилию Иволгина. Недорого заплатил – пять рублей серебром. А если куда-нибудь подальше, в уезд поехать глухой, то и за рубль серебром купить можно даже фамилию его императорского величества "Романов". Однако Иосиф Кац, зубной врач, покупал фамилию в Петербурге, где жизнь чуть подороже. И взял, что дают. Иволгин, так Иволгин. Ох, как благодарен был ему впоследствии сын, Алексей Иосифович... Лучше любого капитала оставил ему отец. Новоиспеченный Иосиф Иволгин принадлежал к тем евреям, которые жили хорошо, поскольку ловче умели трудиться на своем поприще, а Россия все более нуждалась в умелых инженерах, адвокатах, докторах и прочих профессиях, подозрительных русскому землепашцу и землевладельцу. Группировались эти русские патриоты из еврейства вокруг петербургской газеты "Речь", которую черносотенное "Русское знамя" называло еврейской не без основания. Чем больше печаталось в "Речи" обличительных статей против сионизма, пытающегося вовлечь евреев в рамки узкого национализма вместо братского сотрудничества с великим русским народом, тем более сатанело черносотенное "Русское знамя", также печатавшее статьи против сионизма, но более хмельные, размашистые, требующие предотвратить захват еврейским всемирным кагалом власти над человечеством... Черносотенцы плотничали, в то время как еврейские русофилы рукодельничали... Зеленел доктор Дубровин, глава "Союза русского народа", читая газету "Речь"... Кровавое дело истинно русского человека, антисемитскую пропаганду, образованные евреи взяли в свои руки, и все сладкие куски за это перепали им... Вот мерзкие ловкачи, даже на антисемитизме умудряются заработать...

Ох, уж эта газета "Речь"... Алексей Иосифович, собственно, начал свою литературно-критическую карьеру именно там, опубликовав молоденьким журналистом заметку о том, как в одном местечке талмудисты травят юношу, принявшего христианство. И пристав, мол, не реагирует на жалобы священника, поскольку подкуп-

лен богатыми жертвователями синагоги. Однако сейчас все реже позволяли Алексею Иосифовичу высказываться на страницах газет против космополитов, и это был очень плохой признак. А недавно произошел вовсе неприятный казус. Алексей Иосифович написал большую статью, в которой анализировалось, как за внешне романтическими приемами Михоэlsa проглядывал мелкобуржуазный еврейский национализм. Ко времени статья, но не прошла. И вдруг он увидел ее в чуть видоизмененном, более примитивном виде за известной, влиятельной русской подписью на "ов". Алексей Иосифович расстроился. В конце концов, "наплевать на бронзы многопудье". Однако в первоначальном виде она принесла бы гораздо больше пользы патриотической пропаганде... Да, то, о чем мечтал в православно-погромном 1905 году доктор Дубровин, было осуществлено в стальном, гвардейском 1952 году. Еврей все более устранился из русской патриотической пропаганды. Даже умением его жертвовали ради принципов. Страшные, страшные времена наступали для Алексея Иосифовича. Повсеместно отказывались газеты от его услуг, и кто его знает, не лишится ли он завтра зарплата в университете.

— Позвони Фадееву, — шептала Клавдия в постели, — он поможет. Если б не случай с моей сестрой Валей, я б сама к нему пошла, как твоя жена, белоруска.

В то время развилась в Алексее Иосифовиче знаменитая болезнь тех, кто не ждет добра от внешнего мира. Они боятся входной двери хуже, чем дикого зверя... Вот позвонят, вот зашумят по-чужому, страшно зашумят, затопают.

Сосед их, дворник, вставал рано. Прислушиваясь к шагам в коридоре, думал Алексей Иосифович ноющим лбом: "Вот какая безопасная профессия для еврея — дворник. Хитрец сосед, а я не додумался. Только в случае геноцида профессия дворника не спасает. А если уничтожение на основе классовой борьбы, то дворник — самое надежное".

— Позвони Фадееву, — упрямо, по-женски, видя спасение только в душевном прелюбодеянии, твердила Клавдия.

— Хорошо, — сказал Алексей Иосифович. — Завтра позвоню.

То ли, чтоб успокоить жену сказал, то ли действительно позвонить решил, он и сам не понял... Но что значит — "завтра" в 1952 году для работника самого опасного участка социалистического строительства — культуры? Каждое "завтра" требовало новых жертвоприношений, точно злой языческий идол было это "завтра".

И не подменяли человеческие жертвы овцами, как по призыву Ангела подменил Авраам Исаака овном для заклания и всеожождения. И истощалось жертвенное стадо людское, уменьшилось так, что в жертвы начали брать из наиболее ухоженных. Каждой статье по вопросу идейной борьбы требовались новые жертвы, и каждому узкому заседанию, и каждому общему собранию. Настало и для Иволгина его "завтра", поволокли под нож на семинаре по вопросам об изображении классового врага в современной драматургии... И что вспомнили? Время, когда Иволгин был молод и стремился обратить на себя внимание. А где же еще обратишь на себя внимание, как не в полемике? В частности, в полемике против тех, кто считал, что классового врага можно изображать только смешным и карикатурным... "Комсомолец, мол, не может создать образ классового врага во всех тонкостях его психологии. Конечно, можно классового врага изобразить и смешным, и карикатурным. Этим художник выразит свое отношение, свою ненависть к классовому врагу. Но это будет сатирический прием, который должен распространяться на все произведение".

— Иными словами, Иволгин призывает вместе с карикатурой на классового врага создать окарикатуренную атмосферу советской действительности, дабы не исказить общего художественного впечатления. Рядом с современным Хлестаковым не может, мол, существовать современный положительный, полнокровный советский характер, а требуется советский Городничий, какой-то там советский Сквозник-Дмухановский...

"Душно как, точно за горло схватили... Открыть бы окна... Окна настезь... Пожалейте меня... Не надо прощать, на это я не могу надеяться, просто пожалейте".

— Цитирую: "Изображать классового врага таким, каков он есть, во весь рост его философии и психологии и во всю ширь его деятельности..." Иными словами, под видом объективизма Иволгин призывает протащить на сцену антисоветские проповеди...

— Иволгин... Иволгин... Иволгин... Иволгин... — и вдруг кто-то сказал "Кац"...

— Иволгин-Кац, как и любимый им Мейерхольд, принадлежит к той, с позволения сказать, плеяде, которую Луначарский назвал "скисшей интеллигенцией", и несмотря на последующие ошибки самого Луначарского, в этом вопросе он был прав...

— Станиславский тоже отдал дань чуждому влиянию, буржуазному реализму... Однако он нашел в себе силы...

Странное состояние испытывал сейчас Алексей Иосифович, душевный мираж, неожиданное состояние. Навсегда запомнились знаменитые слова русского человека, сказанные в троллейбусе номер 20 маршрута проспект Маркса — Серебряный бор: “Если б нам не надо было выписывать рецепты по-латыни, мы бы вас, жидов, всех давно удавили”. Теперь дают. Неужели же научились сами писать по-латыни? Нет, милые, вы еще не знаете, что такое латынь. У нас латынь в глубине сердца. Глубоко закопана, как дорогой покойник. А сверху ядреный народный чернозем, бесплодная глина интеллигентных раскаяний.

“В четыре часа предполагалась торжественная служба. Я был в раю. Звучал орган. Длинные аллеи белых покрывал. Нежный звон серебряных колокольчиков, звон от потряхивания их нежными руками бледных мальчиков. Хор ангелов. Хоругви из нежных, благоухающих кружев. Свечи и дневной свет за окнами. Ладан, клубящийся дым от каминов и золотая осень за окнами. Статуи Мадонны и стук по каменному полу молящихся такой же глухой, как шепот листвы за окнами. Я стоял так долго, пока не вынужден был уйти от усталости”.

Это Мейерхольд времен постановки “Сестры Беатриссы”. Вот, что такое латынь, товарищ...

Когда кончился семинар, все выходившие видели Алексея Иосифовича сидящим в глубоком мягком кресле, в салоне перед залом заседания. Боковой свет освещал его лицо, твердое лицо покойника из белого мрамора. Сильно откинувшись телом, упираясь затылком запрокинутой головы в спинку кресла, он в то же время вытянутые далеко вперед белые мраморные руки сложил на рукояти богатой, толстой, с медной монограммой суковатой палки, покрытой желтым лаком. Так он сидел, и все шли мимо него, точно шагали через попираемый труп. Когда посмотрел на него Господь, то пожалел имя Свое святое, которое бесславилось, и сказал:

— Не для вас Я сделаю это, а ради святого имени Моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое Имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили Его, и узнают народы, что Я, Господь, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистой водою и вы очиститесь от всех скверн ваших и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Тогда

вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за беззаконие ваше и за мерзости ваши. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал — и сделал.

Так говорил Господь, глядя на попираемого в ничтожестве своем Алексея Иосифовича из колена Рувима, и пока Он говорил, читала у себя дома это Руфина — пророчица Пелагея, раскрыв подаренную старухой Чесноковой Библию на книге пророка Иезекииля и присев на табурете у подоконника. Отец же ее, Дан, Аспид, Антихрист, в то время подметал двор от опавшей осенней листвы, прилипшей к земле и намокшей от дождя. Нелегкая и долгая это была работа, до самого вечера она затянулась, и приемная дочь его, пророчица Пелагея, взяв деревянную лопату, вышла помогать отцу. Так работали они, пока в числе прочих жильцов, идущих мимо, не пронесло соседа Алексея Иосифовича, который шел, будто слепой, ощупывая дорогу богатой, дорогой палкой, купленной в Сочи. Тогда закончили они работу и пошли пить во взаимной любви счастливый свой недорогой вечерний чай. А семья Иволгиных села за свой богатый горький ужин по рецепту из притчей Соломоновых: жареное жирное бычье мясо...

В нервной тоске поел много жирного бычьего мяса Иволгин-Кац и лег он в постель. Страшно было в семье Иволгиных. Даже Савелий, подросток-полукровка, который ни о чем давно уже не думал глубоко, кроме как о женском теле, ощутив его через Ниночку, двоюродную сестру, ныне испугался за отца и сказал:

— Папочка и мамочка, я больше не буду вас огорчать...

Однако Клавдия, рассеянная в тоске своей, прикрикнула на него:

— Иди к себе!

После чего Савелий ушел к себе и наедине, никем не контролируемый, предался дурному. А Клавдия затеяла обычный постельный разговор:

— Позвони Фадееву... Иначе поздно будет.

— Хорошо, — ответил Иволгин, — завтра позвоню.

И заснул или впал от страха в беспамятство. Вот снится ему сон, будто он действительно звонит генеральному секретарю Союза Советских Писателей, члену ЦК, депутату Верховного Совета. По телефону говорит с Фадеевым. А телефон — газетный кулек, какой в ларьках или на рынке сворачивают для определенного рода

продуктов. Нет, конечно, не через один лишь газетный кулек у Алексея Иосифовича с товарищем Фадеевым связь осуществляется. Что-то висит у него через плечо, вроде сумки, и Алексей Иосифович знает, что это часть аппарата прямой связи. Но только ощущает тяжесть, видеть же не видит и пощупать не может. В реальности, газетный кулек, в который он говорит, как в рупор.

— Товарищ Фадеев, здравствуйте, — говорит Алексей Иосифович.

— Здравствуй, товарищ Иволгин, — доносится из кулька.

От сердца отлегло. "Товарищем назвал, Кацем не назвал".

— Товарищ Фадеев, — говорит в кулек Алексей Иосифович, — сегодня на семинаре по отображению образа классового врага в драматургии группой лиц, не заслуживающих политического доверия, мне были предъявлены обвинения нелепые... Да, нелепые, товарищ Фадеев...

В газетном кульке воцарилось долгое молчание, но чувствовалось, что связь существует, просто задумался товарищ Фадеев, чтоб ответить не лишь бы что... И отвечает после паузы товарищ Фадеев из газетного кулька:

— Разве за то, что я люблю своего дедушку, мне деньги платят?

Недаром думал Фадеев, философски вроде ответил, притчей вроде ответил. Но каков ее смысл?

— Товарищ Фадеев, — кричит в газетный кулек Алексей Иосифович, — товарищ... разъясните...

Слабеет связь, ничего уж не выдавишь из газетного кулька. В холодном поту проснулся Алексей Иосифович.

Была поздняя ночь, почти рассвет, а в большом бессонном городе это самый неподвижный момент. Ночное уже отгремело, рассветное еще не начинало... Жена спала, за стеной у Савелия тихо. Быстро присел к письменному столу Алексей Иосифович и написал при свете штепсельной лампы короткое, ясное письмо Фадееву... Так, мол, и так... Потом оделся, вышел на цыпочках в коридор, стараясь не дышать, отпер дверь и вышел, прошел недалеко, дрожа от рассветной осенней сырости, до первого же почтового ящика, и когда опустил письмо, вдруг вздрогнул всеми членами своими, схватил руками холодный казенный металл и заплакал, как пьяный, о своей погубленной жизни. Что его губило? Отчего было так обидно? Разве впервой гибнет на этом свете человек? Но не ради своего он жил, и не ради своего погибал. Не Иван да Марья встретились, чтоб зачать Алексея Иосифовича — вот что его губило... Обидно, обидно... Ах, если б от непорочного зачатия родиться, а не от Иосифа

Хаимовича... Уперся Алексей Иосифович лбом в безразличный холодный металл почтового ящика, где отныне и безвозвратно отделилось от него письмо к товарищу Фадееву, написанное под впечатлением странного сна. И через бессловесный плач повторил он проклятия пророка Иеремии самому себе: "Проклят день, в который родила меня мать, да не будет благословлен! Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын — и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь; да услышит он утром вопль и в полдень рыдания. За то, что он не убил меня в самой утробе, так, чтобы мать моя была мне гробом и чрево ее оставалось вечно беременным".

Впервые через национальный плач ощутил вдруг Иволгин-Кац свою подлинную душу, до того только дрожал он и пугался по-еврейски безбожно, но смеялся и плакал он безбожно по-русски. У каждого свой плач, и свой смех, и свой грех... Русский в страхе религиозен, еврей в страхе — атеист. Широко смеется русский человек, обо всем позабыв смеется, хмельно, ребячески, антирелигиозно, и плачет от души, свободно... Но нет в подлинно еврейском национальном смехе и подлинно еврейском национальном плаче русской безбожной свободы... И смех его для Бога, и плач его для Бога... Ни в плаче, ни в смехе нет у еврея самозабвения, глядит он при том всегда на себя со стороны... Ироничен смех, разумен плач... Только в страхе еврей впадает в самозабвение, в атеизм, нарушая обет Авраама с Господом...

С того осеннего рассвета, когда впервые по-еврейски заплакал Алексей Иосифович, что-то случилось с душой его, слег он, и в постели стал ждать ареста... Однако кончился стальной гвардейский 1952-й год, наступил год 1953-й, особый, бронированный, а ареста все не было. "Не может быть, — с беспокойством думает Алексей Иосифович, — в январе арестуют, в первых числах".

Ярко по вечерам блестит планета Венера. Не она ли та самая Вифлеемская звезда? Не с Венерой ли Рождество связано?

Вот чистит снег во дворе и рядом с домом на тротуаре Дан, Аспид, Антихрист, и вспоминает, как холодны и звездны в декабре и январе вечера вблизи Вифлеема, где Руфь, моавитянка, сошлась с Воозом, продолжив колена Иудино. В созвездии Стрельца блестит чувственная сочная Венера... С середины января навалило много снегу, и не мог сам управиться Антихрист, дочь помогала ему, пророчица Пелагея... Венера к тому времени уже в созвездие Козерога

переместилась, а к концу месяца, в оттепель и гололед, перешла Венера в созвездие Водолея...

“В феврале арестуют, — думает Алексей Иосифович, — в первых числах февраля врачи-убийцы в белых халатах окончательно подтвердили рассудительные железнодорожные раздумья Достоевского... Не про, а контра...”

Весь февраль был гололед и март начался с ветров и гололеда... В созвездии Овна блестела теперь Венера, Рождественская звезда... Второго марта арестовали наконец Алексея Иосифовича. Подняли прямо из постели, где он лежал, обложенный горчичниками, и на холодный гриппозный ветер.

Следователем был украинец по фамилии Сердюк. Военная фамилия, казацкая. И старшина Сердюк возможен, и генерал Сердюк возможен, и отставник-литератор возможен... В данном случае капитан был Сердюк... Молодой парень из Винницы, местности, где хорошо знают, что такое евреи: “Жил на свете Хаим, всеми обождем...”

Составляет Сердюк протокол, отмахиваясь от назойливого мотивчика, как от мухи. Говорит он:

— Ну, морда, а теперь скажи, куда ты золото прячешь?

И вдруг с перепугу огрызнулся Алексей Иосифович:

— Вы, советский следователь, еще б “жидовская морда” мне скажали...

Тогда Сердюк на “вы” переходит, вежливый становится и говорит:

— Будьте добры, ознакомьтесь с этим материалом, — и какую-то папку протягивает.

Привстал Алексей Иосифович, обрадованный своей маленькой победой, чтоб папку взять, и в этот момент Сердюк его казацким кулаком-кувалдой в зубы... Пошел Алексей Иосифович на полусогнутых ногах, спиной вперед... Пошел, пошел, пошел... Кабинет не большой, но и не малый... Пошел, пошел, пошел... Дальше не куда... Об стену затылком...

Так неправильно построил данный допрос капитан Сердюк, и вменилось это ему при восстановлении законности. Уволили его из органов, и поступил он в Стоматологический институт, поскольку был еще молод и мог избрать иную, хоть и родственную карьеру. Раньше он зубы выбивал, а теперь учился вставлять их. То есть исправлял совершенные ошибки. А Алексей Иосифович Иволгин из колена Рувима, убитый на допросе, наконец приложился к народу своему...

Слово “национальный”, приложенное к созданиям современной музыки, даже невольно связывается с некой ущербностью, республиканским местом и расшитой узорами тюбетейкой, или, как поется в частушке: “Одна палка, два струна — я хозяин своей страна”. Народ, нагоняющий эпоху и наскоро прошедший по всем этапам человеческого развития, в чем-то близок к рабфаковцу, отсюда и подобающее отношение. А теперь другое, вполне бы невинное высказывание, если б в паре с предыдущим не соединялось, отнюдь не помимо моей воли, в силлогизм: Шостакович — композитор глубоко национальный. То есть представляется как человек, пришедший в культуру по комсомольской путевке и уже в процессе приобщения к буржуазным ценностям кое-как подтянувшийся до уровня “барских забав”. Показательно, что в своих вкусах — вкус же, как и изящество манер, свойство врожденное — он по-прежнему оставался советским интеллигентом-скороспелкой, худо-бедно смотревшимся в новом обществе, благо и старое знало деятелей подобного спорта в лице большинства разночинцев. Чего стоят только его литературные привязанности — переводная лирика, а в оригинале Евтушенко. Короче говоря, композитор глу-

Леонид Гиршович

ПРАЙС

(главы из романа)

боко национальный. Тут я торопливо предлагаю патриотам выкурить трубку мира: не “стон на Волге”, а “плач на реках Вавилонских” составляет национальную основу его творчества. И вот уже патриоты — для которых, кстати, знание музыки сродни знанию латыни: почтенно, но не обязательно — мирно покуривают. Для вящего их убажания я пойду еще дальше, косвенно признаю тезис о привнесенности заразы извне: истоки национальной советской музыки, гением которой Шостакович является, берут начало там же, где и все прочие беды России — в неарийской Германии; и последний венский симфонист, проживи он полный человеческий век, вряд ли бежал бы с двумя чемоданами по простреливаемому шоссе к испанской границе, как то было с его вдовой, а скорей всего встречал бы свое восьмидесятилетие в антифашистском президиуме под четырьмя профилями. Вот такой странный маршрут: Моцарт—Шуберт—Брукнер—Малер—Шостакович—Ижма. Малера в самом деле можно считать Шостаковичу отцом и матерью — при Мусоргском в роли Арины Родионовны. Правда, и Мусоргский, вопреки общепринятому мнению, трактует русский материал далеко не по-русски: его Годунов — карфагенянин, его юридические и подъячие причитают как чистые хасиды. Не случайно выпускник школы гвардейских подпрапорщиков увлекался чьим-то фольклором, когда вместе со своей частью квартировал в местечке Капитайка; и уж совсем не случаен на его могильной плите, в Лавре, знак макрокосма, имеющий также и другое название и голубеющий на фюзеляжах израильских “Кфиров”. На рубеже десятых и двадцатых годов нашего века наблюдался процесс музыкальной миграции: вырождающийся венский симфонизм оказывается разносчиком соцреализма и прочно утверждается в консерваториях Москвы и Петрограда — верней, Петрограда и Москвы, в такой последовательности — а собственно русская музыка, словно созрев и прорвав свой национальный кокон, устремляется на запад — откуда если и возвратилась, то лишь в виде прокофьевского лубка.

“Трагизм мироощущения Шостаковича” — давний спор. Было ли это вещим сном о советском еврействе, дух которого на Шостаковиче почил еще в самой юности? Врагам бы того хотелось: провидец еврейского апокалипсиса, он проглядел апокалипсис своего народа. И все же нельзя представить, чтобы “верный росс”, а не “почтенный Соломон”, с этими случается, Шостакович проникся сознанием ему к р о в н о чуждым — вплоть до полного

национального самоотречения. Скорей всего, наедине с собой — каким бы оболваненным с точки зрения лучезарно-русских Стравинского или Набокова-малого он ни был — композитор все же ощущал “сюр инопланетных превращений”, происходивших с его родиной и с ним самим. В связи с этим вспоминается одно посвящение в нотах — “Памяти жертв фашизма”, сменившее первоначальное автопосвящение. Ведь если Шостакович впрямь считал себя жертвой фашизма, то не немецкого же, и не русского, так и не ставшего, несмотря на все прогнозы фактором политическим. Так чьего же фашизма, спрашивается? Увы, подзаголовки квартетов, сонат, симфоний ничего не стоят, если не подтверждены звуками — в том же, что Шостакович насквозь программмен, сомневаться не приходится. Он программмен, и программмен самым пошлым образом: “Вот он гуляет по ЦПКиО... а вот он храпит... храпит...” — нашептывает нам ввалившийся бабий рот, шепот скрывает высокий бабий голос очкарика. Но коль скоро посвященный жертвам фашизма опус — это все та же череда кровавых фрейлахсов и пассакалий, все тот же красный лапсердак, у меня нет никаких оснований даже отдаленно намекать, жертвою чьего фашизма, в более духовном, в более широком аспекте считал себя автор.

Не сразу фрейлахс у Шостаковича стал кровавым. Заблуждаются, когда думают, что Шостакович изначально провидел гибель обольстившего его народа — кто возражает против слова “гибель”, пускай освежит в памяти книгу Тальрозе “Сломленное колено”. Госпожа Тальрозе, едва ли не единственная известная нам участница описываемых событий, показывает истребительный характер так называемой операции “Заре навстречу”. “Надеюсь, что никого больше не введет в заблуждение лепет нескольких музейных экспонатов в столицах, — пишет в заключение Тальрозе, — таких, как Вергелис или художник Маруся. Все погибли, все до последнего, еще одно колено Израилево стерто с лица земли”. Но вернемся к Шостаковичу, фрейлахс которого поначалу не был кровавым, а просто был красненьким веселым фрейлахсом евсекции. И то, что сегодня кажется выражением страшных предчувствий, было всего лишь подражанием учителю, всхлипом разрешения в одноименный мажор. Ибо счастливый конец с долгой кодой и комком в горле, кстати, вполне в поздневенском вкусе — менее всего означал, как считают теперь, “хоть и счастье, но выстраданное, наперекор”. Именно в та-

кую музыку прекрасно упаковывалась "оптимистическая трагедия". Так что слезность эта вытекала (каламбур случаен) из самой сути еврейской лояльности режиму, с которым Шостакович совпадал куда больше, чем принято думать. Уже поздней его традиционно страдальческий лад стал обоснован: на первых порах как отзвук германских событий — там громилы громили "отца" и "мать" композитора — далее, через отечественное "оцепенение", этот второй, побочный мотив его творчества — оцепенение вследствие ночного оцепления дома (nocturno) — пока наконец не сделались очевидны планы властей относительно евреев, совпадавшие с гитлеровскими как отпечатки одних и тех же пальцев, даром, что расцениваются и по сей день различно. О Советах широко бытует мнение, что они установлены самими же евреями, а это кое-что меняет. Во всяком случае, в той степени, в какой это мнение верно, допустимо говорить о самоубийстве и ни на кого не сваливать.

Воспитание Шостаковича было "поручено" Ивану Соллертинскому. Типичный "Weisser Jud", как классифицировали бы его наци, Соллертинский, читая о Моцарте, прежде выплевывал в прикрывавшуюся тетрадками аудиторию полтора десятка моцартовских имен —

— ибо обладал феноменальной памятью, после чего говорил: "Для Густава Малера Моцарт..." и переключался на Малера. Не умри он девятью годами раньше, быть ему в пятьдесят третьем году стрелочником. На смерть Соллертинского, настолько жалкую, что и сказать стыдно, Шостакович написал трио — не потому ли, что жанр зауспокойного трио — русский жанр, освоенный двумя его географическими предшественниками, а Шостаковичу хотелось похоронить друга — который все же был Иван Иванович и если не жизнью, то смертью это доказал — по православному обряду. Как бы там ни было, получилось нечто изумительное. Русская горизонталь, уносимая и уносящаяся, с ее полустанками, с ее флажолетами телеграфных проводов и равномерным подскоком на мелькающей версте — а над нею, как два призрака, два огромных существа: сумасшедшие лица, толстые носы — персонифицированные фигуры фрейлахса. И сколько б ни мчался ты по равнине, от них никуда не уйти, они движутся с тобою вместе — как луна, как звезды или просто как лес вдаль. Лучше всего это состояние иллюстрируют пляшущие в русском небе агасфе-

ры Шагала. В последней строке трио вертикаль тихонько накладывается на горизонталь и вдруг замечаешь, что обе они, и вертикаль, и горизонталь, одинаково бесплотны и больше не враждебны друг другу. Это Соллертинский в пьяном беспамятстве изблевал свою душу. Вообще бесплотные витания как бы “по ту сторону ужаса” — конек Шостаковича военных лет (часть вторая “В тылу” из симфонии с солирующим *tambour militaire*, начинают вторые скрипки). Обычно эти витания бесхитростно чередуются с прямолинейными унисонами речитативов, до краев наполненных левитановским пафосом. Но в заупокойном трио декламационная сторона, так уродливо давшая себя знать позднее, в годы долгого композиторского заката, сведена к минимуму. Даже скерцо здесь сохраняет благородную осанку и не обезображено характерным для Шостаковича юродским энтузиазмом культпохода в цирк — предвоенные радости, не ясно только искренне ли искрится экскурсия пионерских дебил или клоун держит фигу в кармане. Как я уже говорил, еврейская кровь, сочающаяся из каждой восьмушки его сочинений — как из каждой черненькой поры, часто создает видимость политической проничательности, побудившей его, якобы, петь отходную советским евреям еще в пору их могущества. Какое там! Личность весьма посредственная — продукт своей эпохи, а не ее творец — Шостакович честно звукоподражал официально санкционированному народному “ой вей!” — по адресу, естественно, мрачного прошлого — будучи, иначе говоря, на это подражен. Но в ходе работы (подряда) артист настолько воплощается в заданный образ, что на всю жизнь остается верен ему, а значит, и заказчику, к тому времени уже банкроту. Подобное случалось и с Микеланджело. Ни о какой проничательности, ни о каком духовном лидерстве в этом случае речи быть не может, наоборот, плетясь в хвосте у времени, композитор потому вдруг выступил во главе забега, что отстал на целый виток. Насколько зорче его в этом отношении оказался второй, тоже мастер своего дела — и тоже, кстати, тезка своего отца. Покуда Дмитрий Дмитриевич, напутствуемый Иваном Ивановичем, как библейский отрок, доводил до слез партийных саулов, из дальних странствий воротился Сергей Сергеевич. Возвращение Прокофьева некоторые объясняют его неудачной конкуренцией со Стравинским. Возможно. По мне, однако, картина выглядит иначе. Прокофьев почувствовал — вычитал между строк в “Накануне”? — что не сегодня-завтра России предстоит

очистительная жертва. Перед его лубочностью открывались просторы воистину безграничные.

Все сбылось. Пятого марта 1953 года “заре навстречу” потянулись эшелоны, полные насмерть перепуганных и на смерть обреченных людей. Обратимся снова к Мириам Тальрозе. “Антисемитизм властей превратил депортацию в уничтожение. В который раз сбывались слова пророка: “И будете завидовать мертвецам вашим”. Невозможно передать, что творилось в вагонах, сколько народу так и не перенесло эту пытку духотой, голодом, жаждой, не говоря уж о шоке, в котором находились без исключения все. В пункт назначения прибывали составы-морги и составы — сумасшедшие дома. Но не успели нас высадить, как люди затосковали по вагонам-душегубкам. Вокруг не было ни домов, ни бараков — ничего. Только сплошной стеной стояли леса. К этому следует прибавить, что для марта в тех краях мы были одеты слишком легко. Из приехавших с юга России многие замерзли в первую же ночь, так как по инструкции (не какой-нибудь — санитарной!) брать в дорогу уже занафталиненные вещи не полагалось. “Живите как хотите”, сказали нам, что означало: “Умирайте как хотите”. Рассказу Тальрозе веришь, в особенности, когда вспоминаешь о массовых репрессиях против других, менее ненавистных и даже позднее помилованных инородцев. Собственно, дату последнего еврейского погрома в России можно считать днем смерти Шостаковича. Той части общества, ради которой он творил, являясь ее воспитанником и преданнейшим адептом — “советской общественности” — в одну ночь как не бывало. Образовавшийся вакуум начал быстро заполняться, по преимуществу, стараниями поборников “исконной” культуры. Такая культура “по месту жительства”, чуждая нынешнему населению страны и сугубо промысловая, на всех уровнях — такая культура и есть лубок. Отныне советское искусство становится в один ряд с египетскими или мексиканскими сувенирными пирамидками. Зато на вновь разрешенное слово “Россия” наводится свекольный марафет, чуждый подлинного патриотизма, зато представляющий немалый соблазн для патриотов — забывают, что подмена омонимом страшней всякого запрета. И все же судьба подчас ворует концовки у остро сюжетных детективов. Шостакович остался цел и невредим, несмотря на раздавшийся выстрел. Падает другой — на которого бы мы никогда и не подумали, которому бы, казалось, только и расправить крылья... Но промах слишком меткий, чтобы быть

случайностью. Человек, умерший пятого марта 1953 года, был Сергей Прокофьев.

О сочинениях Шостаковича двух последних десятилетий его жизни всерьез говорить не приходится. В целом это сознательное угождение новым хозяевам — в виде шумных произведений, писавшихся “по поводу” и впоследствии неразлучных с кино-журналами “Новости дня”, “Время и мы” и прочее. Не последнюю роль здесь играет беспокойство композитора за судьбу горячо любимой дочери, ради которой он был готов пожертвовать многим. Но даже в тех случаях, когда творческий импульс берет верх над человеческой слабостью, гений его все равно оказывается оскоплен — я не с кондачка употребил это слово, вызывающее фрейдистские аллюзии, вполне уместные, будь у композитора вместо дочери сын. Правда, аудитория, беспомощная перед магической силой его имени, поспешила увидеть в двух-трех его поздних симфониях и концертах некое духовное завещание, последнее “прости”, произнесенное на давнишний его манер “вопреки” — здесь вопреки собственным же бравурным увертюрам и устным тирадам; давно известно — и говорено-переговорено — что в стране Шостаковича всякая деятельность “вопреки” — или ее видимость — встречает восторженный прием у художественно неразборчивой, однако охочей до фронды публики. Ах, если б исповедальная нотка в голосе являлась и в самом деле залогом творческой удачи! Подобно всем, я ощущаю искренний ужас, безысходную тоску предсмертных, вознесенных на пьедестал работ Шостаковича. Но меня не так просто сбить с толку, я вижу истинную природу всех этих страстей — страстей самоэпигона, чье бессилие вдохнуть жизнь в прежде верой и правдой служившие формы выразилось — как в хватании за соломинку — в цитатах да в декларациях нравственных трюизмов. Так, национальный художник, он не смог пережить свою нацию и после разгрома ее угас, вроде как очутился в эмиграции. Поэтому слова Тальрозе: “Они все погибли, все до единого”, с полным правом применимы и к Дмитрию Шостаковичу.

* * *

...Начинается разговор по душам — о личном и вместе с тем бесконечно важном: о счастье, о том, как вести себя, если ты нравишься молодому человеку, а он тебе — не очень, как быть, если вдруг случилось непоправимое. На прощание я обращаюсь к обеим:

— *Страшит ли вас что-нибудь в жизни, девочки?*

— *Ничего, только бы не было войны, — не задумываясь, отвечают*

Марина и Поля.

То же самое считает и старейшая учительница района Мэра Аркадьевна Броверман:

— *Мы живем в обстановке неутраченного...*

Броверман всегда жила в скверной обстановке. Годами душа ее была во власти того жестокого догматизма, к которому тяготеет немалая часть еврейства. Это благо, если отстаиваемый догмат и на практике оказывается тем, за что выдает себя в теории — или вообще носит узкоспециальный характер. И великая беда, коли служит, как в нашем случае, руководством по реализации убийственных социальных затей. Как-то само собой считается, что проводники последних, а в особенности проводнички, суть формально праведники, хотя бы и именем сатаны: они, мол, и себя готовы упечь на той же жаровне. Не поскупились на все оттенки черной краски для этой мелкой сволочи. Рядовой фанатик, каков он есть — аскет поневоле, мечтающий о величии добровольной аскезы: железном стуле Поскребышева, рабочем пайке Ленина и прочая. Идиот по определению (“рядовой фанатик”), он остается стоять у основания должностной лестницы до конца дней своих — сильно ускоренного этим обстоятельством. Каким внутренним пламенем бывала палима Броверман, видя Дариму Линхобоевну директором школы. Как могла, подсиживала она Даримку, полагая, что расчищает себе путь на ее место. От человека, плетущего свою повседневную интригу достаточно умело, такого безумия, такого непонимания простых вещей никто не ждет. И выходило, что смертельная вражда с Левит, вечное провоцирование покойной Гершельман, разжигание страстей с грамотами — все это лишь самосохранительная симуляция душевного здоровья, которого не было и в помине. Ну, видано ли — измерять психическую полноценность мерой подлости! Броверман было не больше пятидесяти пяти лет. Она выглядела ужасно: сутулая, зобатая, неряшливая даже по ижменским понятиям; на вытаращенные глаза навалились мешки убежавшего теста; по всему подбородку росли толстые красные волоски. Математичку Левит с первой же встречи она отметила особой неприязнью! Почти беспричинная антипатия переродилась в ненависть, когда Левит первая стала в энергичную оппозицию одной бредовой бровермановской

идея — и многих заразила тогда своей решимостью. Полоумная историчка, не зная уже как отличиться, чтобы вопреки собственной нацпринадлежности занять место неграмотной, но этнически безукоризненной Даримы Линхобоевны, придумала следующее: принялась ратовать за создание фикжменской письменности, мало того — за обучение в школах на фикжменском языке. С этой целью она самостоятельно изучила его. Собственно говоря, вдруг выяснилось, что язык этот ей знаком и, главное, всегда был знаком. Русским евреям на первых порах будет недоставать лишь разговорной практики — к такому неожиданно обнадеживающему выводу пришла Броверман (которая сама с собой по ночам разговаривала по-фикжменски).

Легкость в овладении совершенно чуждым, казалось бы, языком — чтоб не сказать, его изначальное знание — имело объяснение самое простое: когда-то у фикжм в их отношениях с русскими коробейниками выработался некий языковой гибрид — что-то вроде маймачинского наречия, хотя и на иной морфологической основе. Гибрид постепенно вытеснил коренную фикжменскую речь, сделав ее в наше время достоянием исключительно шаманского сословия — то есть языком заклинания, произносимого вприпрыжку под аккомпанемент бубна и адресованного Железной птичке. Известно, что целые области в Маньчжурии заговорили на маймачинском наречии, когда постановлением правительства императорского Китая было запрещено вести торговые дела с русскими иначе как по-русски; для изучения русского языка, точнее смешанного диалекта, ведомство великого се-чжэна напечатало даже особые руководства (китайскими иероглифами). Память о маймачинском наречии удержалась в русской словесности в виде анекдота — из утраченной ныне серии “китайских” анекдотов времен КВЖДинского военного конфликта: плохо выстиравший рубашку “фодя” пищит в свое оправдание: “Моя не паласика — моя сапиона” (я не прачка — я шпион).

Не ведая, что местное население с его двухвековым опытом общения с русскими уже давным-давно изъясняется на фикжменском диалекте русского языка, Броверман только дивилась на свой лингвистический дар: очень скоро она заговорила совсем как фикжма. И в классе, и в учительской ей становилось с каждым днем все труднее удерживать себя в рамках русской речи. В груди теснились слова до боли знакомые, как будто она всю жизнь их произносила. Ведь вот открыла она

наконец в себе это знание их — и должна его скрывать, словно что-то запретное, даже постыдное — словно человек, у которого выросли крылья, а он вынужден прятать их под одеждой.

И все же Броверман была в этот период жизни по-настоящему счастлива. Ночи напролет изобретала она грамматические правила, литературные нормы — распахивала всю эту целину, не зная для себя иного удержу, кроме недостатка специальных знаний. Вот как отдавалась Броверман любимшему делу — со всей силой поздней страсти! “Кысак...” шептала она изнуренная, когда за окном брезжил первый свет. Так прожила она около полугода, внешне все сильнее опускаясь, но духом воспаряя “кык пыцка”. Она мечтала в один прекрасный день явиться в школу и заговорить по-фижменски, а когда все завоят, сунуть им под нос соответствующее решение крайисполкома. “Ох, кысак”, вздыхала Броверман (собственно “кык сах” — “как сахар”, выражение восторга). Приблизительно через полгода она сочинила страниц пять по-фижменски — написанных по образцу “новин” Марфы Крюковой: “У мны стыны сыки полны” (ср. у Крюковой: “О мой стон, слез полн...” — в “Смерти Сокола”). Броверман уже не метила в директора, а много выше — в национальные классики. В основоположники. Директорское место, перестав быть пределом достижимого, стало казаться лишь удобной стартовой площадкой.

Первой, кому Броверман открылась, была Хабное — и не столько из расчета (случайно правильного), что великая идеалистка легко купится, сколько по давнишней слабости своей: взять и доказать ей, на что она, Броверман, способна. Хабное все восхищалась, сама себя уговаривала, что потрясена, не уставала вторить “воистину новые горизонты, Мэра Аркадьевна, воистину” — и тихонько отодвигалась от Мэры Аркадьевны, когда той удавалось коснуться ее своим дыханием. Это не помешало Броверман обрести в лице Хабное если не союзника, то — попутчика. Тогда еще над Хабное имелся начальник, некто Ныныков, Нынык Ныныкович, вскоре репрессированный. Ныныков считался большим грамотеем, владел чтением, немного — письмом, но хода ему не давали: бедняга был из звенков. Напрасно он изображал фижму — стараниями последних он был все равно заклеимен буржуазным звенкским националистом и в административном порядке сослан, а его должность директора ДК навсегда осталась вакантной.

Этому Ныныкову и рассказала Хабное об интересном проекте

одной учительницы. Броверман и Ныныков встретились, поговорили по-фижменски, понравились друг другу. Склоняющийся к просвещению эвенк всегда искал способа, живя среди фижм, сбегать свою эвенкскую духовность, но при этом преуспеть — в качестве фижмы. Броверман изъявила готовность уступить Ныныкову часть своих лавров, утешаясь мыслью, что их будет все равно целый ворох. Дело завертелось.

Когда слух о замене языка в школах, вследствие вновь создаваемой письменности, достиг учительской, учительниц взяла смертная тоска. Только что началась большая перемена. Физручка Рубан — тургеневский Герасим телом и душой, разумом же совсем Му-му, замахала огромными красными руками и разревелась в три ручья. На нее глядя, ударились в слезы еще две учительницы. Гершельман, проверявшая латинские диктанты, холодно посмотрела в их сторону и почему-то перевела взгляд на Рубинзон. Нэлли Наумовна, как словесница, менее всех ощущала себя задетой — ей-то что, будет преподавать иностранный. С присущим молодости эгоизмом — было ей тогда не больше двадцати пяти — она даже извлекала некоторое удовольствие из происходящего. Что-то мелькнуло в глазах у Гершельман. Нэлли Наумовна, успевшая уже разочароваться в заграничной профессорше, развязно спросила, уж не имеет ли та ей что-нибудь сказать.

— Пожалуй, мы становимся соперницами, — процедила Гершельман. — В мое время учащимся предлагали два классических языка на выбор.

— Что-то для меня слишком сложно, — сказала Нэлли Наумовна.

Зато у учительницы Лошади Пржевальского, всегда внимательной к словам Гершельман, физиономия посмурела и погрузнела сверх обычного.

— И почему из двух? А или вы не считаете немецкий язык...

— Немецкий? — перебила ее Гершельман, давшая наконец волю своему раздражению. — Вы серьезно думаете, что учите немецкому языку?

Броверман при всем этом присутствовала — но вместо того, чтобы спокойно тешить свою душеньку, грызла ногти, терзала растительность на лице, да так откровенно, как если б не была на людях. Врожденная неспособность насладиться долгожданной минутой мучительна прежде всего осознанием этой своей как бы импотентности — кому незнаком турист, чьим скудным сред-

ствам (быть может, долго откладываемым) и недолгому отпуску (давно спланированному) уже начался отсчет; он мечется посреди достопримечательностей, чувствуя себя в долгу у своих затрат, скупаемый одним желанием — затраты эти оправдать.

В учительскую вошла Левит и, сотрясая венозную икрой, двинулась на Броверман.

— Сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы — чтобы я это произнесла по-физически?! Да я костыли лягу.

— И ляжешь... — Броверман впервые поддала голос. До этого она молчала, с ней тоже никто не заговаривал. Но и никто до Левит открыто не возмущился предстоявшим новшеством. Плакали, кричали, бесновались в душе, но грань не переступали — Левит была первая.

В наступившей тишине, нарушаемой лишь привычным шепотом Хаевской "...двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять..." — считавшей петли — ответ Левит прозвучал как знаменитый стих в книге Судей: ее тезка, левит с горы Ефремовой, на каком-то там дыхании отчаяния по учиненном с возлюбленной его, разрезал ее тело на двенадцать частей и разослал их во все концы страны, "ибо не бывало и не видано было сему подобного от дня истребления сынов Израилевых из земли Египетской до сего дня". Ныне же другая Левит решила на акт не меньшего отчаяния — и тоже в форме почтового отправления:

— Я пишу Поскребышеву, — сказала она.

Людам случалось писать Поскребышеву — даже из Ижмы. Случалось даже получать ответы. Тем не менее всякое высказанное пожелание снести с адресатом № 1 окружающих било как током. Пишущий Поскребышеву становился лицом священным; но было это освященностью ритуальной жертвы, или освященностью бесноватого, выкликающего имя бога, или освященностью, передающейся от Спасителя к спасаемому — наперед никто не мог знать. Опасность превратиться из обиженного в кляузника для подателя письма существовала, ежели: а) письмо перехватывалось; б) письмо направлялось обратно в сатрапию "для разбирательства". С первой возможностью корреспонденты Поскребышева хоть и считались, но поэзия "голубиной почты" брала свое. Со второй возможностью не считались никогда. Говорили, правда, что всех писем Поскребышев не читает, их читает секретарь (представлялся молодым человеком) — читает, значит, а уже Поскребышеву показывает только "самые такие...", за-

служивающие внимания. Но как раз поэтому-то каждый писавший, от дипломатки МГУ, незаконно срезанной на защите, до колхозной сторожихи, у которой засудили сына, верил: его письмо будет прочитано лично Поскребышевым.

От слов Левит учительницы затрепетали: письмо Поскребышеву. Броверман готова была разорвать "Левитиху" собственными руками. Предай невероятное обстоятельство Левит в ее безграничную власть — где-нибудь в пещере — Броверман бы, не колеблясь; это сделала. В свою очередь Левит желала ей гораздо меньшего зла, но, говоря о Броверман "судить таких надо", лет пять вlepила бы ей спокойно. Однако не больше пяти, а если бы какая-нибудь особая коллегия вдруг присудила Броверман к кнуту, то Левит первая бы заявила, что это чересчур, кнут хорош только за изнасилование.

Услышав о письме Поскребышеву, да еще грозившем быть коллективным, Гершельман изменилась в лице и всю следующую неделю проболела. "Дорогой Олег Игоревич!" писала Левит, и почти все учительницы подписались под этим посланием. "С чувством особого волнения рапортуем Вам, что педагогический коллектив русской средней школы Ижменского района вместе со всеми тружениками Фижменского автономного края стал на предпраздничную вахту. Близится славный юбилей, в следующем месяце исполняется пять лет с того незабываемого дня, когда был дан старт движению "Заре навстречу", ставшему поистине всенародным. Даже трудно себе представить, сколько людей, всех возрастов, всех профессий, во всех точках нашей необъятной Родины, откликнулось тогда на призыв любимого вождя. Один за другим устремлялись в далекую Фижму эшелоны, полные романтиков -- будущих героев землепрохода. Сегодня мы знаем, чем увенчалось это грандиозное начинание, какими великими трудовыми победами. Тайга отступила перед человеком! Конечно, совершилось это не само собой, не по мановению чьей-то волшебной палочки, а ценной напряженного, самоотверженного труда миллионов первопроходцев. Так мы, учителя, своими руками валили деревья, производили распил огромных таежных пихт, строили школы. Все было внове, всему приходилось учиться самим. Но великая цель, поставленная вами, дорогой Олег Игоревич, делала по плечу любую работу. И когда не хватало мужчин, всегда находились женщины, готовые стать на их место. Никто не падал духом, никто не жаловался — и неудивительно: ведь были живы в памяти Ваши пламен-

ные слова “дерзать и сильно дерзать”. С тех пор прошло пять лет — еще одно славное поскребышевское пятилетие. И вдруг... Происходит страшное, непостижимое, чему невольно отказываешься верить: язык, на котором создано единственно правильное учение о существовании диалектического материализма; дано единственно научное объяснение существованию марксовской теории прибавочной стоимости; сформулировано единственно верное определение существования национальной ленинской политики; даны Десять Основ — этот язык хотят у нас отнять. До сих пор ничто нас не могло остановить или испугать. Все эти годы, и в радостях, и в заботах, мы не переставали благодарить Вас, дорогой Олег Игоревич, за оказанную нам высокую честь быть в авангарде землепрохода. Мы и впредь готовы дерзать и сильно дерзать, и учить этому наших детей — но ПО-РУССКИ. На другом языке у нас это просто НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Пожалуйста, удовлетворите нашу просьбу, мы просим лишь об одном: сохранить нам русский язык, наш родной русский язык.

Преподаватели: Бронислава Левит, Нора Штейнбок, Вероника Рубан, Мария Белкина, Софья Комиссар, Берта Белая, Нэлли Рубинзон.

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась...”

Покуда они слали душераздирающие письма Поскребышеву, кто-то очень высоко положил резолюцию “не своевременно” — на представление Ныныкова о создании национальной фирменской письменности. Это было буквально за несколько недель до скоропостижного вывода из края всех воинских частей МВД и замены их наспех укомплектованными милицейскими подразделениями. Ныныкова вызвали в Край, где вlepили строгача за что-то, не относящееся к делу; потом его и вовсе убрали. Имя Броверман, на ее счастье, в докладной Ныныкова не фигурировало — своим вероломством злополучный звенк ее спас.

Для Броверман это был удар — сравнение напрашивается весьма банальное: святошу, под старость лет потерявшую голову, круто осаживает сама жизнь. Согласно тому же стереотипу, предмет недавних воздыханий превращается в источник лютой

ненависти. Отныне для Броверман звуки фижменского стали, что плеск воды — для проплававшего сорок восемь часов в спасательном жилете.

* * *

Отрезанное от внешнего мира население Фижмы даже не предполагало, что выезд возможен, то есть что он возможен хотя бы теоретически. И — было право! Не всегда массовый плен это лишь результат мистификации — зиждится на иллюзии всемогущества охранников, чье истинное могущество, якобы, в умении эту иллюзию внушить, ею зачаровать, а уж реальную свою силу черпать из того ресурса, какой представляет собой соучастие жертвы. Соучастие жертвы — стержневая идея всех антиутопий, но это — литература. По крайней мере действительность допускает исключения. Одним из них была Фижма. Жившие в ней скорей преуменьшали возведенную между ними и остальным человечеством преграду, так что тюремщиков своих как раз недооценивали, хотя и сознавали: способа выбраться отсюда нет. Их сторожила тайга надежней любых автоматчиков. Дорог, подъездов — ничего этого больше не осталось. Наспех проложенные в свое время "стратегические линии коммуникаций" скоро были вновь поглощены тайгой. Изредка на эту обжитую людьми опушку опускался вертолет... И все же главного люди не знали — об этом, руководствуясь их же благом (благим обычаем завязывать глаза), позаботился кто-то за тридевять земель от них. Как мы помним, географию в фижменских школах упразднили, все относившееся к ней — карты, атласы, справочники, даже глобусы — подверглось повальному изъятию. Самодельный чертежик масштабом 1:10 м, ориентировавший бы гостя в новом районе, и тот считался изделием подрывного характера. В общем-то люди, приученные шпиономанией ассоциировать карту, местность, план с определениями типа "диверсионный", "секретный", "оборонный", не находили в этом ничего странного. Что не ново, то уже не может быть странно. Кроме того, гонению на географию давалось (лекторами-международниками в закрытых аудиториях) еще и частное объяснение, вернее, сразу два. Во-первых, география есть отрасль знания, в настоящих условиях лишенная практического применения. Занятие ею только развивает в ссыльнопоселенце чувство неполноценности. Во-вторых, карты могут быть исполь-

зованы при побеге. Последнее, правда, принималось на веру уж — уж самыми светлыми умами. По этому поводу даже ходил анекдот: один еврей запасся всем необходимым, чтобы бежать: провиантом, лыжами, маскхалатом — а решиться все не мог. Когда его спрашивали “почему?” — он отвечал: “Нет карты западного полушария”. И никто, ни умный, ни дурак — ни мы с вами, кстати, тоже — так и не угадал, зачем понадобилось географию, давно уже тишайшую из школьных дисциплин, возводить в ранг таких продувных бестий как генетика, кибернетика, психоанализ? Чем гадать, имеет смысл вспомнить, что происходило в метрополии, покуда учительницы валили деревья и строили школы. Первоначально все шло по плану: на некоем участке леса, площадью равном “восьми франциям”, намечалось создать Фижменский автономный край с миллионным еврейским населением (то, что приблизительно должно было уцелеть), с развитой тяжелой промышленностью и традиционной структурой управления — и, как это водится, с замещением всех парадных должностей местными кадрами. Первым секретарем крайкома по инструкции был поставлен верховный шаман. Товарищ Ойгы, персона слишком значительная, чтобы беспокоиться по любому пустяку, даже не сменил резиденцию, а сохранил за собой прежнее место жительства — дупло. Верим, что второй секретарь, Георгиев, был к нему за это не в претензии. Но и сам Георгиев подвизался больше в роли поручика Киже — в коротаемом водкою ожидании, когда партийные и советские учреждения примут наконец бразды правления у военных, а те будут передислоцированы отсель — в Индию ли, в Пакистан ли, на Балканы ли — аллах велик! В конце концов это произошло, только совсем не так, как хотелось Георгиеву. В апреле пятьдесят пятого ахнули берлинские события, разом перекинувшиеся на восток от Одера, давшие толчок к кровавым вакханалиям в бывших лимитрофах — *Л и т в а п р о с н у л а с ь*, потянул носом картофельный бог, зашевелилась лесная нечисть. Слово по сигналу подняла голову правобережная Украина. В Армении кто-то куролесил: на раскопках в Звартноце стали попадаться глиняные таблички, подписанные центральным комитетом партии дашнакцутюн. Ползли слухи о каких-то подпольных дружинах на Урале. Одни наши “землепроходцы” ничего не знали. Сотни тысяч вовлеченных в индустриальную мистерию людей по-прежнему клялись именем Поскребышева — да и по сей день клянутся им, но это особая статья. “Землепроход” шел полным ходом;

что-то подвозилось, повсюду что-то закладывалось, строилось — как всегда, грандиозно-бессмысленное, никому решительно ненужное. Между тем, в Москве было не до жиру — не до игр со своими подданными в “Древний Египет”. Приходилось спасать то, что еще можно было спасти, войска, и надежные войска, теперь требовались на другом, всамделишном фронте.

Делать политический обзор — не наша специальность. Но как этого избежать, если даешь описание фижменского заповедника — а заповедником Фижма стала довольно рано. Согласно старой притче Волк, угодив на псарню, напяливает на себя овчинку и разговаривает подкованным язычком. В тот год ничего не помогло, пришлось, быть может, впервые после двадцать первого года чем-то всерьез поступиться — на этот раз в вопросах международной политики, или как уж там называть стоящий в Кремле щелк зубов. Оказавшись перед выбором быть паинькой не на словах, а на деле, или не быть вообще, наш волк начал быстро мутировать, не то чтоб в какого-то ягненка, но так, в лохнесское чудовище, доисторического подводного отшельника. Для запада это была колоссальная победа — пройдет еще много времени, прежде чем он, с трудом очухавшийся от советского интернационализма, примется осторожно, исподволь, сетовать на русский изоляционизм, опять-таки с укоризненной ссылкой на параллельные места в русской истории. Пока же, лишенная своего основного видового признака, былой агрессивности, страна приноравливалась и без него остаться тем, чем была. Вопреки всякой логике ей это удалось — путем совместного творчества властей и народа. Народный характер антинародного строя — не только яркая демонстрация и в то же время яркая иллюстрация таковой, обычно, с вождем на переднем плане, отпускаемая по безналичному расчету в специализированных плакатных магазинах; это еще и парадокс, который не без вызова любят повторять отдельные попавшие за рубеж критики, по причине своей биографии имеющие недурное представление об идеологической кухне ВКП. Данное обстоятельство, не увеличивая нашего к ним доверия, служит им извинением — как литераторам. Но если отбросить совершенно невыносимый стиль их суждений — социолого-зоологический, с примерами из жизни крыс — то ничего парадоксального мы в них не видим, разве что считать за парадокс азы советской пропаганды в устах антисоветчика. Впрямь ли антинародна эта власть, с одной стороны почти не скрывающая своего отноше-

ния к демократии, с другой стороны настаивающая, и совершенно искренне, на своем праве считаться народной — уверенность в этом она черпала в собственной стабильности, неоднократно ее же самое изумлявшей; уверенность эта в конце концов передалась и остальному миру, вообще по традиции не жаловавшему русских. Ибо признать народной такую власть — не заблуждаясь на ее счет, те времена прошли — значит поставить крест на целом народе. Все так и даже более того. Антинародна лишь власть группы над группой в случае очевидного численного перевеса подвластных — при противоречии интересов, разумеется. В нашем государстве, строго говоря, такого разграничения нет. И номер Первый сам себе раб, и номер двухсотсемидесятимиллионный, разница лишь в условиях содержания. Советская власть — это советская власть каждого над каждым (в таких случаях почему-то вспоминаются паспортистки с управдомами, но можно вспомнить ведь и больничных нянечек, водопроводчиков...). Что значит "советская" применительно к слову "власть", какая здесь принципиальная особенность? Власть, которая "советская", дается пожизненно, в том смысле, что, расставаясь с ней, расстаются с жизнью. Это входило в сознание по мере того, как в чистках редело население страны. В войну это подтвердилось несколько иначе — гибелью миллионов военнопленных. На исходе третьего десятилетия советского строя его сохранение стало инстинктом на уровне индивидуума. Посиневшей, костенеющей рукой силился уцепиться каждый — старец, молодой, именитый, безвестный — за отпущенную ему в залог жизни частичку власти — в сущности над самим же собой. Сумма этих усилий, с отчаянием смертника прилагаемых в одинаковом направлении, и образует

Миллионов плечи,

Друг к другу прижатые туго.

(Вл. Маяковский, "Давка")

Правда, в тот год страна хоть и выдюжила, но надсадилась. Отпали западные области, на жителей которых приворотное зелье не успело подействовать — что было ими продемонстрировано со всей очевидностью. Финляндская граница прижалась к Ленинграду. В Крыму снова запели муэдзины. На Кавказе репатриация сопровождалась, помимо сведения старых счетов, еще и установкой памятников Шамилю — в знак задабривания репатрируемых.

Гипсовые, бронзовые, мраморные шамили не тревожили ничего взгляда, благодаря привычности очертаний. Один такой памятник, особенно смахивавший на “Беду-проповедника” был установлен в Калуге — на второй родине имама, как писал местный бедекер. Там же, в Калуге, открылся его дом-музей. Теперь нигде не упоминалось о “преступных связях Шамиля с англо-турками”, зато делался особый акцент на имена “душителей дагестанской революции”: барон Розен, Клюки фон Ключенау, барон Врангель. Среди прочего в калужском музее экспонировалось и монументальное полотно академика Б. Маруси, известное на всю страну по многочисленным репродукциям: студент Ульянов, разыскиваемый полицией, под видом муллы скрывается в одной из казанских мечетей. Кисти Бабы Маруси, чей путь от Бродского к Рериху занял одну ночь, принадлежало право первого отклика на все сенсации новейшей историографии, постепенно исполосовавшей национальное прошлое чередой сногшибательных разоблачений и, соответственно, реабилитаций. В каждом таком случае общественное мнение подготавливалось обширным газетным подвалом, читатели которого не верили своим глазам, хотя, как оказывается, краем уха уже что-то такое успели прослышать: молва опережала подвал, подвал опережал передовицу — и этому как бы спешествовало чье-то самоубийственное по смелости выступление на творческом поприще. Пленный смелостью, народ немедленно пленялся самим творением — вспомнить только толпы, осаждавшие Манеж, когда в нем (до всякого еще указа) вдруг был выставлен портрет генерала Власова на фоне Пражского Града — выполненный тем же Марусей в типично кустодиевской манере. Баба Маруся был баловнем судьбы, но он был и баловнем публики. Его национальная принадлежность, выставляемая напоказ глумливым — в свете русской ономотологии — именем (Маруся, и притом Баба Сройлевич), как ни странно, импонировала юдофобствующему в массе обывателю. Собственным происхождением Маруся льстил зрителю, словно говорившему “Будь жид — и это не беда”: ничто так не умиляет, как сознание своей объективности, но проявленная врагом, она умиляет еще сильнее. До чего умилителен немецкий генерал — поджарый барин, которому денщик полирует голенища — предающий тела панфиловцев земле с воинскими почестями. Ибо здесь наша объективность в оценке врага включает в себя признание им наших достоинств — двойное блаженство! Маруся, не шедший в сравнение с немцем — у того еще могла быть

душа, Маруся же был — известно кто — выкарабкивался за счет всех этих психологических тонкостей. А потом — сам факт, что еврею принадлежит авторство рискованного шедевра, делал этот последний приблизительно раза в полтора рискованней. Вероятно, по той же причине в кино откуп на “смелые” темы держал Вергелис (не путать с его дядей идишистом), удостоенный государственной премии за фильм “Мы из Кронштадта” (опять же не путать с одноименной кинокартиной тридцатых годов). В этой киноленте — где по приказу Троцкого, кровожадного демагога, его играл сам Вергелис, весьма натуралистично приканчивают восставших моряков — упор сделан на две вещи: восставшие, чьи требования рядовому зрителю могут показаться не такими уж и не справедливыми, представлены воплощением революционной добродетели: горячие сердца, чистые помыслы — правда, несколько наивные души; не чета им вожди из ленинского политбюро, о которых самым снисходительным суждением может быть: всего лишь люди. В конце Ленин так и говорит — когда прогуливается по парку с иностранным господином. Немецкая их речь, не снабженная переводом, то затихает, то опять становится громче. Эта недоступная пониманию отечественного зрителя беседа ведется в продолжение двух-трех минут, покуда на какую-то фразу гостя, заглушенную очень естественным порывом ветра, Ленин, взяв того под локоть, не замечает — с лукавой усмешкой: **“Ich bin nur ein Mensch, mein lieber — ein Mensch wie alle”**.

В первые дни показа фильма публика ловила себя на безумной мысли, что вот сейчас, прямо по выходе из зала, всех затолкают в воронки — и поминай как звали. Но более сообразительные прикидывали: неспроста такое созвездие актеров — Мусатов, Борисов, Завьялова, Ячев — неспроста музыку к фильму поручили написать Шостаковичу. Готовится небывалое политическое ню.

Именами Маруси и Вергелиса участие евреев в культурной жизни страны исчерпывалось — характерно, что Вергелис, сколько-то проработавший на ташкентской киностудии, женился на актрисе-узбечке и дочь свою записал по матери; у Маруси, старого гомосексуалиста, детей вовсе не было. Этим двоим и предстояло являть миру пример еврейского счастья под советским солнцем — в то время как три миллиона душ со скоростью погребальной процессии двигались по чугунке в сторону светонепроницаемой тайги, в то время как лесоповал десятками тысяч валил наземь людей, а из десяти младенцев, рожденных этими новоявленными

лесорубами, пяти был уготован век мотылька. Бросать ли в Вергелиса и Марусю камнем — когда жертвы депортации (факт начисто ими отрицавшийся) сами, первые, этого бы не допустили? Как же, Маруся — Баба Сройлевич, Вергелис — Дазарь Моисеевич, какая усада для ушей! И ведь, казалось бы, пора пресытиться своей долей участия — в чем бы то ни было, пора успокоиться с выяснением родословных — на худой конец, при том выборе, который есть, национальная гордость могла бы стать поразборчивей. Но евреи — нацменьшинство и в этом качестве психологически подобны народцам — культурно-историческим пешкам, жадным до любых проявлений известности. Средний еврей в России, презрев кошер, скармливает чувству мелочного национального самолюбия все подряд — в чем бы ни отличились его соплеменники. Не будь берлинских событий, глядишь, и Мэру Аркадьевну поминали бы в фижменском краю не без гордости, каждый самодовольно покачивал бы головой и приговаривал: “Известно, все их народное творчество — работа Броверман, и письменность вся ихняя — ее работа, и новины она за Ныныкова сочиняла”. Этого не случилось, к счастью для Мэры Аркадьевны, все равно оказавшейся бы за бортом славы, а не то и еще хуже — как знать. Благодарение берлинцам, знать этого не дано; несправедливость в отношении Мэры Аркадьевны — не восторжествовала, коварство Ныныкова, обернувшись против него же, сберегло Броверман для ижменской средней школы — остававшейся как и прежде русской; положительное решение вопроса о создании еще одной национальной письменности в СССР откладывалось до лучших времен.

Что означает эта странная связь — далеких закордонных волнений с тем, что фижмам их торный путь к культурному расцвету был неожиданно прегражден? Обратимся к нашему историко-политическому обзору. Утерев контроль над какой-то группой своих подданных — не говоря уж о разноцветных лоскутках “народных демократий”, туда попросту вошли американцы — Москва вдруг (цитируем ТАСС) “в одностороннем порядке денонсировала пакт Риббентропа—Молотова...” Хорошо, что еще в одностороннем, это ведь тоже фокус. Но, допустим, вышло — как-то удалось уведомить партнера, коль в цитируемом сообщении ниже стояло: “Ничто не препятствует больше возврату к ленинским нормам международного права, в основу которого положены принципы самоопределения наций, невмешательства во внутренние дела других государств и разрешения всех спорных вопросов

за столом переговоров". За одним из таких столов против флажка с серпом-молотом стояли флажки: сине-черно-белый, красно-бело-красный и желто-зелено-красный. Как ни коротки были переговоры, все ж, пока переговаривались, в Москве подряд сменились два генсека. Третьего не последовало. Взамен него было провозглашено коллективное руководство в составе пяти генсеков, все с равными полномочиями: похожий на Ермака бородач — не выговаривавший "т" после "с" ("любосчажательство"); высокий крашеный блондин, произносивший "г" на украинский лад ("храдус"); еще двое, сходной комплекции, в одинаковых седых париках, различавшиеся только на слух: один "д" перед "ж" превращал в "р" — "Азербержан", "Таржикистан" — другой концы слов подворачивал эдаким утробным дифтонгом: "Местоу нет"; последний генсек, публично никогда не высказывавшийся, носил темные очки, чем вызвал к себе неприязнь: "курортник".

Дальнейший ход этой комической реорганизации был и вовсе уморителен. Душевный покой генсеков требовал сохранить за ЦК его прежний статус по отношению к каждому из них, однако этот статус, абсолютное почитание, прямой результат учения о единстве Генерального Секретаря... не получался. Возможно, сонм ангелов и справился бы с этим теологическим затруднением (он, кажется, и справился), но ангелов же, не цекистов. Последние, скрепя сердце, могли еще признать, что на самом деле, оказывается, Единый Генеральный Секретарь пятеричен, но видеть и в соответствии с виденным почитать в каждой ипостаси полное Его воплощение — не получалось. Ипостаси же ни в какую не соглашались с тем, что порознь представляют лишь одну пятую существа Генерального Секретаря. В их случае часть равна целому, настаивали они — не из тщеславия, из страха: внутри целого возможны любые изменения, тогда как само оно — нерушимо. Противоречие разрешилось с созданием пяти Центральных Комитетов — равных красотой, богатством и знатностью, как спел бы Гомер, слепой кифаред. Кто-то в немецкой слободе в Москве уже вообразил, что в России устанавливается пятипартийная система, о чем с восторгом оповестил читателей своей газеты — и лишился немедленно аккредитации. Произошло досадное недоразумение. Журналист был вполне доброжелателен, когда писал, что у одной партии не может быть пяти центральных комитетов, что это противоречило бы здравому смыслу. Но Москва усмотрела здесь намек на предстоящий раздел страны. Что в одной стране

бывает несколько политических партий, им даже в голову не приходило.

Расщепление, начавшись в Политбюро, прошло через все уровни ВКП и достигло основания партийного столба. На всех уровнях повторялось то же самое: в области по пять обкомов, в городе по пять горкомов, в районе — райкомов. Заминка вышла с первичными парторганизациями. Они представлялись — взрывающему на них с самого высока — крошечным малюткой в ряду его собственных отражений, смутно маячившим где-то на дне анфилады зеркал. Но повторяемость личин в этом мнимом зеркале иллюзорна, по крайней мере, до самого низа она не дотягивает. Низовая ячейка лишь притворяется подобием своего создателя, сама-то она организована на любительских началах, что-то вроде кружка любителей партии. В отличие от профессионалов, любители не зарабатывают себе на жизнь любимым делом, а за удовольствие еще приплачивают. Освобожденные товарищи в их среде не в счет, к тому же с положением о “пятерках” открылось столько новеньких вакансий на всех этажах пентагона, что товарищи эти, подхваченные небывалой продвиженческой тягой, поулетали наверх, а следом за ними и те, кто изрядно себя показал в самостоятельности. Число коммунистов в стране всегда преувеличивалось, хотя бы уже потому, что, несмотря на террор, оно статистически никогда не уменьшалось. Возразят, что причина — регулярное пополнение кадров. Это в тридцать седьмом? Или в тридцать восьмом? Никакого пополнения не хватило бы. То же относится и к коллективным вступлениям в партию на фронте. Не случайна формула “если умру, считайте меня коммунистом” — придя домой, большинство уцелевших на учет не становилось. Но коммунисты — не центнеры с гектара. Здесь липовых цифр не опровергнет лунный пейзаж прилавка. Из всех видов скрытого дефицита дефицит в коммунистах наверное самый скрытый. О нем никто бы и не узнал, если бы не стала почковаться низшая партийная инстанция. По последнему (1954 год) уставу ВКП для образования первичной партийной организации — на предприятии, или в учебном заведении, или на селе, или в воинской части — требовалось всего лишь три человека, вместо прежних пяти. Конечно, к заводам, верфям, крупным стройкам, а также вузам это было неприменимо. Зато райкомы, заинтересованные иметь побольше присосок на район, — речь идет по преимуществу о непромышленных районах, а таких всегда большинство — бурно приветствовали изменение

пятого пункта партийного устава (так называемый "членский минимум"). Однако в дальнейшем при расщеплении партийного ядра — производилось под лозунгом "укрепления внутривнутрипартийной демократии" — членский минимум уже выразился палаческой дробью: три пятых человека. Особенно много таких изуверских ячеек, в которых состояли, скажем, голова и руки, а ноги голосовали в соседнем парткоме, было в центре какого-нибудь большого города. В лексикон радио и передовиц вводится ряд новых терминов: "смежность", "параллельное членство", "непосредственный обмен опытом". Нечестивый "совместитель", до того хапуга, бездельничавший на десяти службах, превратился в образцового коммуниста, члена нескольких парторганизаций. Но все же, чем обязано разрядке слово "непосредственный"? "Непосредственность в обмене опытом" звучит барашком, на деле же означает контакты внутри одного уровня без посредника свыше. В прежние годы это было бы преступлением, достойным ересиарха, только хозяйственные чины бесстрашно вели меновую торговлю в обход главков и министерств — на погибель душе, но во спасение плана. Искореняли это зло в партии еще в подполье, из которого, по чьему-то меткому выражению, большевизм так никогда и не выбрался. Зло называлось "фракционной деятельностью". Ересиархи перевелись к тридцатому году, партия зародилась в девяностых — ровно столько лет понадобилось на создание структуры ярусов — с отделениями, изолированными по горизонтали. Когда переборки нижнего яруса распались, власть партии перестала быть бременем — индивидуальным и тайным, компенсируемым коллективным господством — явным (власть каждого над каждым, или стопроцентное рабовладение, на сто процентов обобществленное). То есть перестала быть "советской", "народной" и вообще всем тем, чем так кичилась. Корпус партии бескровно отделился от своего основания, прихватив наверх последних, клейменных ей на верность. Люки закрылись, и Оно повисло над страной — обычная авторитарная сила, противостоящая массе в границах разумного шкурничества.

Что наступил конец — никто не заметил. Правление пентагона (это слово мы берем на вооружение) характеризовалось полным освиначением мысли — иначе это не называется. "Это" — имеются в виду плоды многолетней логократии, приучившей людей брать след, ориентируясь не на смысл, а на знакомый звук. Последний был им сохранным. Таким образом, народ, фактически

получивший вольную от государства, долго еще держался с ним по старинке: мы, мол, ваши, да власть наша. Пентагон наследовал советской власти в период ношения ею былинного платья — в коем она и была погребена. Рассудив, что три богатыря всегда примут в компанию еще двух, новые владыки продолжали идти “русским” курсом. Удобно: справа по носу черт Карамазова, слева по носу черт Микулы Селяниновича, то бишь Белинского (пока что особым манифестом вернули лошадку в частные руки — посмотреть, что будет). Хуже обстояло с богатырями, гулявшими в чалмах. Те, как казалось струхнувшей Москве, точили свои полумесяцы. Раз обжегши пальцы на западе, Москва изо всех сил старалась угодить теперь своим мусульманским народам: и льстила, и укрепляла местные кадры, и на декадах аплодировала песням о Тамерлане, и не лезла со своими порядками — словом, согласна была уважать национальную самобытность в любых пропорциях, только б край, расцветая, не зеленел, не солидаризировался со своими единоверцами по ту сторону Копет-Дага.

Процедура отречения от своего пламенного вчера была успокоительно знакомой: двухдневный переучет в книжных магазинах и библиотеках и рассылка подписчикам БСЭ (и прочих справочных изданий) вновь отпечатанных страничек с указанием, что вырезать, а что куда вклеить. Иногда, помимо исправления, подписчик находил в конверте брошюрку нейтрального содержания, из тех, что всегда пригодятся в семье, например “Профилактика детских заболеваний”, — или даже просто выкройку платица для девочки. Поэтому, когда “неожиданно” (на самом деле такие неожиданности только для сонь) в стране были изъяты все карты, кроме игральные, никто не удивился. Исчезновение нескольких “ссп” в Прибалтике и обратно, появление нескольких “асср” на Кавказе и в Крыму требовало заново произвести съемку местности. Только сосланные в Фижменский автономный край посчитали это мерой, направленной исключительно против них. Еврейская черта — принимать все на свой счет. Что в конце концов так оно и оказывается — невольная отместка судьбы, попадающей в гипнотический плен к еврейскому самомнению. Первоначально Фижме не грозило остаться без географических карт, во всяком случае не грозило больше, чем любой другой части *рах soveticum*. Но своими страхами Фижма словно наклкала на себя эту напасть, явившуюся следствием очень большой беды, о которой сама даже не подозревала.

Когда "съемка местности" находилась в своей мертвой точке — как механики называют мгновенное равновесие всех движущих деталей в механизме, преодолеваемое в следующий момент силой инерции — какая-то добавочная сила, быть может, чепуховый щелчок извне, простая оговорка, каприз, дали всему движению непредвиденный ход; возможно, какой-то пресс-атташе, генерал в штатском, брякнул что-то не то и заупрямился, а за ним и все остальные. Так бывает: заупрямлюсь и не признаю — все признаю: коллективизацию, индустриализацию, избивание интеллигенции и церкви, лагеря, чужие захваченные земли, Катынский лес, своих военнопленных — признаю, что грешны перед целыми нациями, но этого нет, не было. С евреями нас оклеветали. И так на все запросы, на все попытки узнать судьбу как в воду канувших трех миллионов. "Сломленное колено", ставшая бестселлером книга Мириам Тальрозе, где она описывает свой романтический побег с "ковчега для обреченных" (название одной из глав), оказала этим обреченным дурную, в сущности, услугу. Ее утверждение, что "все они погибли, все до единого", поубавило зарубежные страсти. Демонстрации утратили свою привлекательную массовость, невесомые интегральные ходы стали еще невесомей. Зато послышались трезвые голоса, приблизительно такие: наверно и правда — спасти некого, эти три миллиона приходится причесть к шести миллионам другим. Иначе, после всех реабилитаций, после всех возвращений в родные места, с какой стати было бы скрывать где-то этих несчастных — и ставить под сомнение свою добрую волю. У них просто не хватает мужества признаться перед всем миром в еще одном злодействе. И это хорошо, значит о них наконец что-то поняли. Теперь мир должен сделать встречный шаг.

Выправленная география, без поскребышевских и поскребышеградских границ — в ленинской норме, напрочь отрекалась от Фижменского края. Он не был нанесен на карту, коренное население, уже почти готовое принять светоч знаний из рук Броверман, — отменялось. Самоновейшее издание БСЭ уверяло, что немногочисленная народность фижм, издавна страдавшая мокрецом, прекратила свое существование еще до революции — уверяло со ссылкой на отчет Зюлейки, чиновника в приамурском генерал-губернаторстве, и аналогичное свидетельство одного шведа, весьма по этому поводу сокрушавшегося. Чудо испаряющихся местностей ускользнуло от внимания международной общественности.

Совсем недавно мир божился, что не допустит повторения Треблинки, отстоит советских евреев, попавших как кур во щи (выражение М. Тальрозе) в Фижменскую трясины. Но вот трясины мелиорирована и здравый смысл учит, что это хорошо, когда под ногами твердая почва. Москва приветствует здравый смысл — хотя переусердствовавших в нем подчас лишает аккредитации.

В самой Фижме вообще ни о чем не узнали — можно сказать, смерть наступила во сне. Вдруг посыпались странные депеши: не укреплять земляное полотно под рельсовые пути, приостановить разгрузку оборудования, свернуть все строительство — и т. п. Без каких-либо объяснений. Перестала поступать периодическая печать, вместо нее прибыла партия милицейских фуражек, поношенных и без звездочек — в городах России к тому времени милиция как раз сменила традиционного кроя форму (мундир, галифе, сапоги) на — только не падать в обморок — селадоновый с белыми берендейками опашень о двух отложных воротниках и на застежках в виде шнуров; пентагонон, убаякивавший народ тем, что не ломал ни зрительных, ни звуковых его привычек к “советскому”, отважился на дебют: его витязи порядка впредь не будут иметь ничего общего с членовредительским контингентом в синих шинелях.

Войска ушли из Фижмы ночью. Это походило на бегство: брошенная техника, брошенное сырье, повсюду следы начатых и прерванных работ и довеском к этому протирающее глаза гражданское население — сплошь советские люди не за страх, а за совесть. От армии для близиру — в силу ритуального “мы еще вернемся, сестренка” — в Крае остался особист, уполномоченный на все, что хотел; от партии остался алкаш, уполномоченный на все, чего Гуцулов не хотел, — прежде всего на битье собственной жены. Спустя несколько лет алкаш и супруга покинули Край, каждый по-своему: она улетела на вертолете “Союзпушнины”, по нем состоялась гражданская (и очень гражданственная) панихида — с почетным караулом, речами и жирными, на средства местных воротил, поминками, на которых присутствовал шаман Ойгы, особа священная и в то же время как бы нет.

Ойгы тоже обладал всеми полномочиями неограниченной власти. Но в отличие от гуцуловской, это была власть человека, прибравшего к рукам весь пушной промысел края. Так мирское махнулось с духовным: в действительности-то священнодействовал — хранил тайны (совершая государственное таинство, повер-

гая этим верующих в трепет) не он, Ойгы, а Гуцулов, чей титул мог бы быть Наместник Органов на земле. Лишенный реальных средств властвовать и тем не менее всех державший в повиновении, Гуцулов для Ойгы был в первую очередь великий шаман, всем шаманам шаман, и только потом уже посредник — промежуточное звено в ходе товарообмена между ним и вертолетом.

Кем был Ойгы для Гуцулова, объяснять не надо. Всем! Без его зверушек пресеклась бы последняя струйка снабжения, вкуче со старыми запасами — остатками брошенного добра — позволявшая годами тянуть волынку и даже делать какой-то вид — по культурно-воспитательной части, да и по части благосостояния тоже. Своеобразным показателем стабильности фижменского заповедника (для тех, кто в нем жил) являлись налаженные еще до принятия "исторического решения" — история с географией — отдельные отрасли производства. Что производилось и куда оно девалось — совершенно неважно, главное, чтоб в ушах стоял шум вечного двигателя. Шум этот был тем трамваем, о котором сказано, что пока он ходит — все в порядке; возит ли он кого-нибудь при этом — это к делу не относится. У истории в представлении многих есть свое четвертое измерение — в грамматике именуемое сослагательным или условным наклоном. Как сложилась бы судьба России, не произойди то-то и то-то, например, осталась она советской еще лет на двадцать? Ответ на это дает Фижма — край, с незначительными оговорками реализовавший такую возможность. Фижма продолжала быть советской, никому неведомая, ни о чем неведавшая. Она не ушла далеко от развилки, где простилась с остальной Россией, но на пройденном ею крошечном отрезке сумела явить довольно-таки безотрадную картину "возрождения к жизни" по-советски — зрелище столь же пошлое, сколь и бездарное.

Давид Таксер

И С К

(главы из повести)

“Ее Превосходительству, премьер-министру Великобритании, госпоже Маргарет Тэтчер...”

Итак, к кому, — пропечатано по стандарту в правом верхнем углу. Странно. Ее Превосходительству госпоже... По прежнему стандарту в правом верхнем углу: “Начальнику лагпункта номер такой-то гражданину такому-то”. Или: “Директору товарищу такому-то”. Теперь: “Ее Превосходительству госпоже” и тоже в правом верхнем углу... Ваше благородие, госпожа удача.

Ладно. Привыкай. И хватит блудомыслия. Что должно быть ниже? Ниже — от кого. Паспорт: серия, номер. Место прописки. С этим потерпит. Разберемся еще, как это здесь — без прописки. И бродяга, и пропойца, на семи ветрах чего-то там... А если деньги в долг — и шашь? А?

Стоп. Гони текст. Простая канцелярская мысль.

“Настоящим обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой о возмещении материального, физического и морального ущерба, понесенного мною в результате неправомерных действий английских оккупационных властей в Германии, выразившихся в передаче меня против моей воли властям советским, осенью 1946-го года...”

Отбив запятую, резко перевожу валик машинки и... эта самая “канцелярская мысль” прерывается всплывшим из пластов десятилетий цветным пейзажем. В мельчайших подробностях. Даже озвучен — шелестом крон, шорохом примаемой тремя парами ног травы. Автоматчики в лихих беретах ведут меня кварталом веселых, увитых плющом коттеджей. Вокруг снуют неотличимые от офицеров солдаты, переговариваются, смеются — никакого внимания на конвоируемого советского лейтенанта с печатью продолжительного “сидения” на лице. Ни единого взгляда. Словно фактом

подтверждают известное мнение об английском нелюбопытстве. А я верчу головой на ходу. Сверкают надраенными ботинками, брюки навывпуск. "Ох, не клевал вас жареный петух, не клевал!" — сверлит завистливая мыслишка. А как же? Пороху чуть понюхали; ни голода 33-го, ни мясорубки 37-го. Ни Павлика Морозова, ни "врагов народа". И никакого тебе "преступного интеллектуального сожительства". Бери немочек — хочешь за шоколадку, хочешь — по любви. Хочешь — тут бросай, хочешь — домой вези. Начальство не интересуется. Так и будут себе гулять. А меня сдают на погибель.

Что расстреляет суровая мамаша-родина — сомнений нет. Эта тетка давит чугунной ногой и не за такие дела. Влип.

Конвоиры подсаживают в джип. Выглядят вполне добродушно. Обыкновенное задание — сдать чужого чужим. Может, попроситься? Что им? Ну, посадят на губу на пару суток. А мне — целая жизнь. Неоценимая ценность ценностей. Неповторимое собственное сознание. Итог космического стечения обстоятельств. Вот эти двое могут предотвратить грубое вмешательство в деятельность высших сил. Спасти ценою малых неприятностей. Только на секунду зажмурить глаза. Эти двое просто не знают, что ожидает их подконвойного. Думают, как у них — неделю сортир драить. Нужно объяснить. Как объяснить? Как по-английски "братцы"? Бразерс... бразерс... Разве таким звуком отпросишься? Жестами! Показать пальцем на восток, потом — по горлу, как пилой, потом — на волю, что за бортом, и двумя пальцами перебирать, как бегущими ногами.

Сразу посуровели лица под беретами. Схватили беспечно брошенные до того автоматы. Выставили дула угрожающе. Остаток пути — в гробовой тишине. Блюдут.

Скрип тормозов. Медленное движение под полосатым шлагбаумом. Мальчишка-солдатик призыва сорок пятого года, веревку перекладины не выпуская из рук, всунул курносую деревенскую рожу: "Ага, попался!"

Здравствуй, немытая! Ух, как выплеснуло тебя по Европе, тестом перекишим из квашни!

.....

"...вследствие чего я был осужден по статье 58—1б уголовного кодекса РСФСР (измена родине военнослужащим) на 10 лет заключения в лагерях, с последующим поражением в правах на 5 лет.

Приложение: копия справки об освобождении №..."

.....

Вот так. Несколько слов, и суть, вроде бы, ясна. Мотив тривиаль-

лен: ищи женщину. Следствие, правда, этот мотив не устраивал — не тянул на раздел "Особо опасные против государства контрреволюционные преступления". Следователи по сути не заблуждались, хотя фактами не располагали. Нам, послереволюционному поколению, басен о земном рае хватало лишь на детский сад. Это отцов так зачумил угар пышных словес, что до конца дней не очухались. Они были поколением пустоверия, мы же — поколение безверия в абсолюте. Нас — только принудить. Или купить.

Конец разминки. На чем там остановился? "...вследствие чего я был осужден по статье 58—1Б..."

.....

Суд еще не скоро. Пока — застава. Капитан, командир заставы, всех из комнаты вон и — ко мне: "Слышь, лейтенант, ты, того, не стесняйся. Если позвонить куда — я мигом".

Начитался, что ли, шпионских романов? Или англичане, передавая, бросили: принимайте, мол, своего шпиона? Как бы ни было, моим возражениям не верит. Считает, что перед ним "свой", "погоревший" шпион, которому секретная инструкция не позволяет признаться. Настолько ему хочется, чтобы я лично подтвердил его сообразительность, что не пожалел — выставил на стол банку бычков в томате, из офицерского дополнительного пайка. Жует со мной — и ко мне же, непрерывно: "А то, слышь, лейтенант, я ведь никому, ты не думай..."

Позже не оставляло сознание упущенной возможности. Развалиться бы нога на ногу, бросить небрежно: "Да черт с тобой, капитан, уговорил — звони, давай, генералу такому-то, скажи — лейтенант такой-то с задания прибыл..."

Пока выяснял бы, какой такой генерал, какой такой лейтенант — этак неспеша в будку-уборную, метров за пятьдесят, а оттуда — давай Бог ноги...

Если бы писать, не считаясь с фактами, — обязательно так повернуть сюжет. Какие возможности открываются! А признаваться в несообразительности, в трусости тем более — кому охота?

Остается ссылаться на фатальность судьбы. Да и как на нее ссылаться? В личном преломлении не только незначительные, но и величайшие события, кажется, для того только и происходят, чтобы именно твою судьбу куда-то повернуть. И объяснения этим необъяснимым величайшим событиям в личном преломлении — простые и ясные. Кто ответит, зачем произошла вторая мировая война? Может, через сотни лет, да и то — по-разному. А если бы

воскресить любого убитого, он бы сказал просто и ясно: "Война для того произошла, чтобы меня убили". Я же тогдашний — двадцатилетний, уцелевший, захмелевший первой любовью, сказал бы: "Война произошла для того, чтобы соединить меня с НЕЙ".

Ибо ничто другое не могло так разметать железные занавесы, чтоб смогли соединиться — подданный Сталина с подданной Гитлера.

Кроме катаклизма войны понадобился для этого еще ряд событий. Во-первых, — чтоб хранило Провидение. Как не вспомнить деревню — Мишурип Рог, на правом берегу Днепра, — где Провидение дважды спохватывалось в последний момент? Кто еще мог в последний момент развернуть уязвимым боком наползающую, могильным памятником "Пантеру"?

.....

Вы слышите меня, папа и мама Гросмайеры из города Дрезден? Провидение спасло меня под деревней Мишурип Рог, что на правой стороне Днепра, от вашего сына — водителя "Пантеры". Иначе бы не я рассматривал ваше семейное фото с белокурой девочкой лет восьми — он бы глядел на фото моего отца с матерью. Волею двух сумасшедших фюреров один из нас должен был стать мертвецом, другой — убийцей.

Вы слышите меня, родители лейтенанта Пруписа из Литвы? Ваш сын спас меня там же, первым прыгнув под бомбами "Юнкерсов" в узкий окопчик-могилу, где не было места на двоих...

.....

И конечно же, оно, Провидение, послало зачем-то в тыл среди наступления чумазого танкиста с "Тридцать-четверкой", который, лавируя среди развалин Кюстрина, неповоротливым чудовищем задел батарейный "Студебеккер".

Комбат, капитан Олейник, помахал вслед удаляющемуся танку кулаком — все, чем он мог ему отплатить, — оглядел вверенную ему искаженную технику и заорал:

— Комвзвода один, ко мне!

По колонне волнами перекликалось: "Комвзвода один, к капитану! ...Комвзвода один, к капитану!.."

А комвзвода один безмятежно спал в кабине машины, не предполагая, что в эту минуту для него начинается короткий путь к точке пересечения судеб.

Когда, наконец, разбуженный, я преодолел расстояние от хвоста

колонны к ее началу, на уцелевшем крыле пострадавшего "Стударя" уже была расстелена карта-двухкилометровка.

Я всегда старался подходить к своему командиру с наветренной стороны. Человек я малопьющий, а капитан — в гражданке председатель колхоза, — большой любитель. Каждый из нас был в этом отношении по-своему хорош. Я пить не умел — и не пил, капитан умел — и пил, соразмеряя дозу с ситуацией. Впрочем, ситуаций, совершенно исключающих спиртное, у него не случилось. Возможно, такой ситуацией явилось бы светопреставление.

Напитки капитан предпочитал простонародные: самогон-первач (чтоб горел), да спирт. Трофейных коньяков и вин не жаловал — интеллигентские штучки-дрючки. Даже водку, выдаваемую перед наступлением, пил, только снисходя к ее сорока градусам.

Закусывать капитан предпочитал грубой пищей. В колхозе, должно быть, закусывал луком с селедкой, но здесь, среди завала трофеев, где попадался даже шоколад ("нур фюр панцер унд флигер команде" — "только для танкистов и летчиков"), селедка не попадалась, поэтому всю дорогу, пока шли по России и Польше, от капитана исходил самогонолуковый, а с приходом в Германию — спиртолуковый перегар.

Для встреч с начальством капитанский ординарец, как зеницу ока, хранил в специальном кисете какой-то забивающий запах орешек. Но не тратить же это, не на всякое даже начальство употребляемое средство, на собственного комвзвода!

В общем, капитан, и выпивши, был человеком осмотрительным, с хитринкой. Солдат и технику берег. Иной раз докажет начальству, что другая позиция лучше, иной — смолчит, но так поставит батарею, чтоб было где укрыться да окапываться поменьше. Видно, понаторел в лавировании еще в своем колхозе.

И в благодущии ему не откажешь. Бывало, мне, близко не приближающемуся, говорил без злобы: "Ты что по строевому уставу — за три шага? Здесь устав боевой. Подь ближе — не опьянеешь". А когда наседали офицеры — не мужик, мол, не пьет, — одергивал: "От-ставить! Пацан еще, и нация не позволяет".

В этот апрельский день спиртолуковый перегар шибал в нос, как всегда. Возле комбата стоял комвзвода три, лейтенант Харламов, чью пушку таскала выведенная из строя машина. Исконный россиянин, Харламов тоже не дурак выпить. Только в отличие от капитана меры своей не знал и в пьяном виде часто буйствовал, так что случалось, его даже вязали от греха. Поэтому помком-

взвода, старший сержант Вавилов выполнял строжайший приказ: за меру выпитого непосредственным начальником отвечать. И выполнял его пунктуально, снимая с себя ответственность в тех лишь случаях, когда Харламов пил вместе с капитаном. Выходило, что комвзвода три нельзя было оставить без Вавилова или капитана ни на день, ни на ночь. Тут же вроде представлялся ему случай избавиться от опеки на какое-то время. Вот он и требовал сейчас, чтобы ему разрешили самолично отбуксировать пострадавшую машину в спокойное место.

Капитан Олейник, не обращая внимания на Харламова, будто его и вовсе нет рядом, подозвал меня к карте. Шибанул в нос перегар и показалось, что во всех хуторах, маковым зерном рассыпанных по карте от голубой ленты Одера и дальше за ней, на полную мощность работают спиртоводочные заводы.

— Вот, значит, сюда, — сказал капитан, отмечая крестом приглянувшийся ему хутор, расположенный не очень близко к шоссе. По шоссе бесконечным потоком шла “в логово фашистского зверя” армия, которая могла на ходу, как саранча, “объесть” на запчасти оставленную в поле зрения машину. — Орудие, значит, отцепляй. Битую своим “Стударем” отбуксируй, да по-быстрому. Сам с Егошиным и Савельевым там оставайся. Машина твоя вернется — подцепит орудие, а как на место прибудем, я ее опять же — за вами.

...Вот американцы — народ технически передовой, предусмотрительный. Трос для буксировки искать не нужно — снял крюк лебедки на переднем бампере, зацепился — поехали.

Чуть в сторону — затих грохот катящейся на запад армии. Ухоженное поле направо и налево. Тут и там выглядывают из-за деревьев черепичные крыши тех самых, что на карте — точки, уцелевших хуторов, невероятных в своей целостности после горелого смрада руин Кюстрина и всех пройденных городов-деревень. Вспоминаешь, и кажется, что ничего целого в мире не осталось — на Руси вопиют к небу печные трубы, после — битые кирпичи. А здесь — забытые звуки мирного времени: петушиный крик, мычание коров (откуда горожанину знать, что скотина мычит некормленная!). Даже в небе — жаворонки, а не вой гонящихся друг за другом самолетов.

Только людей не видно. Разве что где-то, на десяток—два домов, увидишь скрюченную фигуру глубокого старика или старухи, от старости равнодушных к жизни и смерти. Это значит — настал черед немцев бросать жилища на милость чужеземной армии и бе-

жать в тыл, которого Германия еще не до конца лишилась. Из-за этого безлюдья, что кругом, огромные плакаты на переправе (указующий: “Вот оно, логово фашистского зверя!” и призывающий — где ребенок тянет ручонки к грозному советскому солдату: “Папа, убей немца!”) получают направленными против этих жалких представителей Германии.

И на хуторе, что капитанским крестом отмечен, людей нет. Но наши здесь уже побывали: из шкафов вывалено на пол тряпье, кругом обрывки бумаг, осколки давнего чужого благополучия.

Савельев — солдат пожилой, хозяйственный, ни одной возможности отправить домой посылку не упускает. Не рассчитывая на удачу, он поковырял ногой тряпье и с сожалением заключил: “Уже славяне порылись...” И вскинув автомат на плечо, вышел во двор. Протрещали две короткие очереди. Савельев вернулся с еще трепещущими курами — по курице в каждой руке.

— Несушки. Поди, каждый день по яйцу. — Он стоял в задумчивости, растопылив руки, чтобы стекающая кровь не запачкала обмундирование. Может, представлял себе, как эти куры хлопочут в его далеком дворе, может, видел, как дочь его входит поутру в избу с полным лукошком свежих яиц.

— Ничего, — добавил он после паузы, словно оправдывая бесхозяйственный свой поступок: двух кур убил на троих. — Ничего, суп наваристый будет...

— Пожалел волк кобылу, — ехидно откликнулся горожанин Егошин. — Кур домой не отправишь. Им пропадать, а он жалеет. Мало вас, деревенщину, трясли — так и не научили. Есть сегодня — жри. Будет день — будет пища...

— Молчи уж, раскулачник! Дотряслись — сами от голоду дохнуть стали. На вот — щипи перо!

На том неантагонистический спор между городом и деревней временно кончился. А меж тем небесные тела, которым плевать на людские катаклизмы, совершали предначертанный им круговорот, и косые лучи солнца уже позолотили черепицу островерхой крыши — пока светло, следовало устраиваться на ночь. А чего тут устраиваться?! Егошина в машину — пусть сторожит первые полночи, Савельев уже расчистил себе место на полу, расстелил шинель, да вещмешок под голову, а я пренебрег широченной постелью в спальне, еще хранящей запах владельцев, и улегся на узком диванчике, удлинив его стулом.

То ли ночной воздух более пронцаем для звуков, то ли с темной пробудилась затаившаяся днем жизнь, только к отдаленному размеренному и успокаивающему ("свои!") гулу шоссе теперь прибавились другие шумы: далекий крик — не понять, на каком языке; предсмертный визг свиньи — должно быть, с близлежащей усадьбы; что-то совсем уж неясное.

"Плвать!" — успелось еще однословно подумать, прежде чем охватил сон без сновидений, которым спят уставшие двадцатилетние парни.

Но в этом безмятежном "нигде" я находился, показалось, не более мгновения. Кто трясет? Мама что ли, в школу? И тут же пробел полупроснувшегося сознания, от школы до немецкого хутора, заполнился всплывшим в памяти грохотом войны. Рука сама метнулась к изголовью, где трофейный "Вальтер" с патроном в патроннике.

— Да ты что, лейтенант, это я, Егошин! Проснись. Слышь, стреляют неподалеку. Может, фрицы?

Егошин — храбрец на батарее известный. Прислушиваюсь, раздумываю в тишине, нарушаемой лишь сопеньем да присвистом мирно спящего Савельева. Но новый выстрел заставляет принимать решение. Немцы? Мало вероятно, хотя — не исключено. Наступали не сплошным фронтом — по главным дорогам. Но если немцы пробираются к своим, то обнаруживать себя хилым огнем не станут; если же их припрут, — патронов не будут жалеть. Нет, тут, вероятней, "дизеля".

"Дизели" — они тебе вроде и "дезертиры", а вроде и нет, короче — солдаты, которых из госпиталя выписали, а в часть свою они не торопятся; вот и тащатся в безвестности между фронтом и тылом, ищут, где пожить, пьют смертным поем, дерутся из-за добычи или просто по пьяному делу. От "дизелей" удирать — позору не оберешься!

— Сходи-ка, Егошин, послушай. Да не дорогой — задами, понял? Вернешься — доложи.

Егошин потоптался с неохотой, потом вышел, хлопнув дверь. Дисциплинка! Зная его, не стал бы и посылать, если б действительно опасность. А так — в наказание, что разбудил. И для очистки совести. Что ни скажет, то и ладно. Не немцы же, в самом деле!

Но Егошин вернулся еще более испуганный, чем ушел:

— Товарищ лейтенант, смываться надо, — фрицы! Сам слышал — гыркочут по-своему, машины при них, мотор работает...

Слишком быстро вернулся. Мотор, впрочем, мог и слышать. Но мало ли трофейщиков рыщет на машинах?! Вот сукин сын — и спать не дал, и панику нагоняет!

— Савельев, пойдешь со мной...

— Да что вы его слушаете, товарищ лейтенант? Это ж паникер. Храбр был только в тридцать третьем по дворам ходить, последний кусок у голодных отнимать...

Савельев выходит за мной, не переставая ворчать. Я уже не вперые присутствую при их "политике", надо осечь от греха.

— Ты, Савельев, полегче с разговорчиками. До опера дойдет — у него другой работы нет: сам загремишь и кто тебя слушал, не донес. Брось!

— Так куда нас, товарищ лейтенант, дальше передовой? А опосля войны, говорят, колхозам конец. Сталин с этим... с Рузвелем договорились...

— Сталин с Рузвельтом и Черчиллем договорились, как мир поделить, а будет ли Савельев горб гнуть в колхозе, в лагере или еще где, им наплевать. Так что помалкивай, на всякий случай...

Это ж надо — двадцатилетний пацан поучает дядьку, побывавшего не то у красных, не то у белых, не то у тех и других. Все ждут, что кто-то наверху придумает, как из дерьма сделать конфетку, да так, чтобы хватило на всех, сколько пожелают.

Теперь шли молча. И ночь вокруг молчала, темная, как в песне, которую все напевали. А вот на подходе выпрыгнула в дыру небесных облаков полная луна, словно приказали ей осветить приближающихся. Двое на открытом поле пригнулись под ее светом, чтоб стать незаметнее, но кожей чувствовали, как выделяются мишенями, и оба враз подумали об одном и том же: если выставили часовых — обязательно заметят! Но торчать на месте еще хуже — поползли к темнеющей полосе забора. Обошлось. Крадучись — часовой мог отвлечься, задремать — стали продвигаться в поисках пролома, прохода — что окажется. Оказались — настезь распахнутые ворота с распахнутой же калиткой. От калитки тянется вымощенная узким кирпичом дорожка, уходит к дому в глубине. Окна дома отражают лунный свет — будто все комнаты за ними празднично освещены. И тишина. И ни души.

К дому пошли более не таясь, только автоматы наизготовку. Чем черт не шутит. Не часть, так немец хоть один. Но и это опасение рассеялось, когда рывком открыли дверь и услышали наверху

ругань. Рассейскую исконную. В родную мать и в долю. С прибавком "в Бога и в душу". Общий пароль: свои, мол, советские.

Тут бы и возвратиться. Сзади постель на остаток ночи. Олейник пришлет машину, и даже во сне не приснится, что могло быть. Но если знать наперед, все равно мой выбор не ясен. Не знаю, что выбрал бы тогда, что выбрал бы теперь. А в пройденном — был всякий: один, когда помирал — другой, когда оживал. Значит, есть в том резон, что выбор не положен. И есть резон в сокрытии грядущего.

На этот раз будущее прикрылось любопытством и злостью за страх. В дверях я зажег фонарик-жужжалку, мы поднялись по крутой лестнице на голоса. На лестничной площадке свисало ногами на ступени тело. Жидкий луч высветил ботинки с высокой шнуровкой, подвернутую под спину руку, голову с разметанными седыми космами. Один глаз трупа широко открыт и направлен в сторону двери, будто мертвая пыталась разглядеть, что за ней происходит.

"Господи, спаси и помилуй", — зашептал мне в затылок Савельев. Чувствую спиной, как он себя осеняет торопливым крестом.

Дальнейшее врезано в память пантомимой судорожных движений и гримас. Оно бессчетно возникает в молчании и с какого-то места взрывается звуками.

3. Не смотрите фотографии убитых

Здесь по углам потолок скошен крышкой гроба. И все залито зловещим светом — луну будто привязали к окну. А они нас не заметили. Возможно — им наплевать. Вцепились оба в автомат — он и барьер между ними, и связь. Вот покачиваются темные силуэты.

Если дерутся за автомат — пахнет убийством. Но у перевязанного за спиной еще один. Мог бы снять.

Короче говоря, мы не комендантские патрули, приключений на свой зад не ищем. Хватит тех, что Бог послал. И сколько времени из госпиталя идут — не знаем. Это знать — не наше дело. Если на то пошло, сам по пустяковой царапине прихватил лишние сутки, а на батарее смеялись, что мало. И подались бы мы досыпать, но за человеком в танковом шлеме оказалась девчонка-подросток. Так привидилось. Съежилась она, что ли, от страха. И дорожка кровавая

по щеке. Скоты! Баб им мало. По шоссе валят домой украинки, польки — многие рады дать победителям. Если эти на шоссе не суются — их забота, а трезвый человек не позволит на глазах терзать ребенка. Но сначала попробовать миром.

— Че с ними говорить, товарищ лейтенант. Родную дочь попользуют. Ишь, гады, запрятались от передовой!

Это Савельев не только прервал меня, но и с силой рванул за автомат на спине того, с бинтом. Он — навзничь. Вместе с ним танкист. Как привязанные. На полу распались, и тот, с бинтом, на четвереньках припустил за отлетевшим оружием. Только на ногах ловче — я схватил первый. Еще успел двинуть каблуком в скулу, но мог бы посильней. Это же не шутки, если на своих хватают оружие.

Тем временем танкист на полу запричитал: "Братцы, мы ж свои. Свои мы, братцы", — и повторял это, не переставая, пока Савельев вытряхивал патроны из их рожков. Пустые швырнул им под ноги, вскинул автомат и гаркнул: "Вон отседова, а то враз скошу!" Но те, кому человека убить, что плюнуть, чувствуют кому не просто. Так и продолжали: один причитает, другой сыпет крученым матом сквозь ладонь, потирает мой подарок. Тогда Савельев грохнул длинную очередь поверх голов и поводил дулом, мушкой в рожи. Даже я подумал: "конец им" — схватил его за руку. Но солдат императорской, белой и красной армий просто знал способ воздействия на "низы". "Верхам" верил, а "низы" знал. Дизелей, как ветром сдуло. Из безопасной тьмы они послали последнее напоминание о себе — камень в окно, так в руинах войны чужого стекла не жалко.

Теперь мы взглянули на трофей. Она и впрямь чувствовала себя трофеем. Как была с ладонями прижатыми к лицу, так и осталась. Без разницы. Сначала двое дрались между собой, потом — двое на двое. Все в звездах должны казаться на одно лицо, как нам в свастиках.

А я думал, что спасти эту девчонку все равно не могу. Не те, так другие. Что я могу? Привести в часть, где трофей подлежит дележу согласно табеля о рангах? Но пока все же, как кошку сняли с крыши горящего дома. А загадывать на войне все равно, что гадать на кофейной гуще. Через минуту могут набрести ее собратья, нас укокошат, свою заберут. Веселый план спасения. Ну, слава Богу, не стаями здесь немцы ходят, а вот наши набредут. Жизни ей максимум до света. И почему, дура, не ушла, как все? Выходит, мы выта-

щили утопленника на поверхность для того, чтоб утонул чуть ближе к берегу. Ладно. Каждый делает не более, чем может. Ухо перевязать могу.

И я отнимаю ее ладони от лица.

Вот это да! Чудесное совпадение с моим представлением о женской привлекательности. Если фрицы таких бросают на наш произвол — конец им.

Савельев, чувствую, тоже разомлел, но по другой причине. Ему наверно дочка вспомнилась в недавней оккупации. Там рыцари были почище этих

— Перевяжи ей ухо, и пошли.

— Нету пакета, товарищ лейтенант. В вещмешке.

Странное дело. Савельев такой запасливый. Без иголки с ниткой, без перевязочного материала по нужде не пойдет. Тут почти в разведку...

— Ты что, как на посиделки...

— Возьмем с собой, товарищ лейтенант. Там и перевежем. Жалко девку. Тыщи кобелей — непременно растерзают.

— Возьмем, возьмем. Твоему другу Егошину на радость.

— Уж я присмотрю. А там, может, где встретим гражданских — отдадим.

Этого поощрения моему рыцарскому достоинству, видимо, не хватало. Или глаза? В детстве видел такие испуганные у телки, перед ударом обуха меж рог. И ножиком. Потом ночные кошмары: хозяин дачи трочит ножик на оселке, ведет. Тетя Глаша держит за уши. А добрыми прикидывались людьми. Подглядел, как вечером в саду шкуру закапывал. "Вот так, Миша-друг, жив человек. Кушать ему надо. Так что с детишками не трепись, а то до сельсовета дойдет". Пока не повзрослел, думал, что помог скрывать убийство. Теперь предсмертных глаз навиделся, а испуганные глаза немки вытащили глупые воспоминания. Без слова взял в свою руку ее горячую ладошку.

На лестничной площадке она руку вырвала и склонилась над телом старухи. Мы постояли молча, потом Савельев поднял ее за плечи, а я подал руку. Чтоб не тащить, пришлось умерить шаг — она плелась чуть позади. Наверно в нашествие татар так плелись за нами русские женщины.

Видел Бог мои старания быть суровым завоевателем. Твердил себе: "Дети этого ангела вырастут врагами моих детей". Слишком абстрактны грядущие дети, а в руке теплая ладонь. Потом моя

пленная скажет: “Рука была бережна — я уже знала, что она не рука мучителя”.

.....

Егошин притаился в темноте. Оpozнав своих, выскочил, выражая бурную радость. Трое — не один.

— Наконец-то! Я, как услышал стрельбу, решил — крышка вам! Ого, а вы и трофеей привели! Чур, по-честному, я тоже тут страху натерпелся.

— Иди в машину!

— Вот еще! Мне дак в машину, а вы с девкой, да? Я полночи отсторожил, теперь пусть Савельев.

Хорошо, пусть Савельев. Даже лучше: будет видеть, что никто к ней не лезет.

— Савельев, смени его.

Савельев кончил перевязку. Расплывшееся улыбкой, шершавое крестьянское лицо и ободряющее журчание пусть и непонятных слов под сноровистую работу даже у напуганного “трофея” должны были рассеять последние сомнения.

— Ничего, дочка, до свадьбы заживет, а сережка — что она? цыганки, вон, всю жисть с одной ходят...

Егошин смотрел на него с выражением презрительной иронии, покачивая головой, потом не выдержал:

— Расквакался, лапоть. Это ж война. Они наших баб — теперь наш черед.

Савельев вышел, не отвечая. И я смолчал, но в обиду твердо решил не давать. Без слов взял за руку — сказать бы, чтоб и третьего не боялась, так ведь языка нет! — отвел в пустую спальню, показал на кровать и вышел, плотно прикрыв дверь.

Ну, вот, теперь и самому можно прилечь. Крыша над головой, диванчик — хоть и коротковат, а все же не тесная кабина машины, не плащ-палатка, не сырой окоп. Егошин возится нарочито медленно.

— Слушай, ты, не пробуй соваться!

И кивком — на закрытую дверь спальни. И на стул с одеждой, поверх которой ремень с кобурой.

— Что, стрелять будете? В советского солдата — за немку стрелять?

Ответить бы коротко: “Пристрелю, как пса” — трус ведь, может, и не полез бы. Так нет, подумалось: разнесет, что из-за бабы оружием грозил...

Но спал чутко. И первый же приглушенный шум в спальне поднял на ноги. Ринулся, и не вспомнив о "Вальтере", — зачем? Не убивать же сволочь на самом деле! Достаточно вмазать, только чтоб до крови, обязательно до крови.

Оторвал от нее в тот уже момент, когда заскорузлой лапе удалось зажать рот. Он сам повернулся ко мне, подставив под удар блин курносого лица. Мне хотелось, чтоб кулак стал железным — расплющить мерзкую рожу. Брызнула из-под удара кровь, опрокинул наземь, а все казалось — мало.

Егошин выплюнул вышибленный зуб и прохрипел:

— Ну, погоди, жидовская морда, поплатишься!

Хорошо, что "Вальтера" под рукой не было — сработал бы раньше, чем мысль о последствиях. Это слово с детства слепило, как ком дерьма в глаза. Заслышав его, уже не соразмерял сил и дорого, бывало, платился. Но здесь — ничтожество под ногами: ступить ногой и раздавить. Я занес ногу. С криком: "Убивают!" — он вылетел за дверь. Когда в дверном проеме появился я — встретила черная дыра подрагивающего дула.

— Иди, иди, сейчас пробуравлю!

"Трус! Не выстрелит!" — пронеслось в мозгу вместе с шагом. Дуло запрыгало и приспустилось. И тут выстрелом грохнула входная дверь — это Савельев распахнул ее ударом ноги: автомат в руках, наизготовку. Егошин от неожиданности повернул в его сторону свой автомат, и тогда в руках Савельева полыхнул огонь. От гулкой — в помещении — очереди заложило уши. Какая-то пуля срикошетила, взвизгнула, изменив направление; тело приняло все остальные. Его швырнуло назад. Егошин осел на колени, глаза его отразили недоумение, потом сосредоточенность на чем-то в себе и тут же стали терять то особенное, что отличает живые глаза. Он покачался на коленях и рухнул навзничь.

Наступила гнетущая тишина. Мы стояли, словно надеясь, что сейчас он поднимется и можно будет объяснить: "Ну, ладно, погорячились, так ведь и ты неправ..." Но мертвые не поднимаются. Потом Савельев сказал, оправдываясь не то перед собой, не то перед судом:

— Не я его — так он меня.

Я повторил:

— Не ты его — так он тебя.

И мы опять замолчали, но теперь уже напряженно шевеля мозгами в поисках выхода. Я только успел его нащупать, как ту же

мысль высказал Савельев. Ничего удивительного — видно, выход был единственный:

— Под суд нам ни к чему, — сказал он, — суд никому не поможет. Немочку, как ихних увидим, отдадим, чтоб не расспрашивали, а сами, пока наши не явились, покойника чин-чином похороним: погиб, мол, на посту геройски. За родину, за Сталина. И нам хорошо, и бабе его хорошо — какую-никакую пенсию получать будет. Так что давайте, товарищ лейтенант, времени дорогого не терять...

Когда мы вытащили тело из дома, Савельев вернулся за автоматом. Еще одна очередь вспорола тишину. Это он вещественно оформлял геройскую смерть солдата Егошина. Треск автомата да звон разлетающихся стекол машины — сойдет за посмертный салют герою.

.....

Савельев роет могилу у дороги. Земля — как бетон. Я ему говорю — в огороде, но он считает — не дело. Перепашут без следа. Как будто тем, кто вернется в эти дома, нужна русская могила у дороги.

Хорошо, меня от копания могил спасают лейтенантские погоны. Я только бросаю в готовые по горсти земли. Первый раз бросил под Белгородом — и пошло-поехало. Когда — горсть на одного, когда — сразу на нескольких.

Зря он у дороги. Цветов не будет. Впрочем, Егошину все равно. Но своих принято закапывать. Где полегче. А вот Савельеву хочется — где сохраннее. Никто не знает, где сохраннее в войну. Да еще на вражеской земле. Мы за порог, а они наши трупы — на свалку. Могилы заравняют, утрамбуют, заливают асфальтом. А Савельеву хочется, где сохраннее. Мало, что свой, так еще и собственноручно убиенный. Так и написано им на доске, которую приготовил вбить в изголовье: "Убиенный раб Божий, солдат Василий Егошин". Выше слов — крест с крестом переключением, пониже — пятиконечная звезда.

Не помогут ни крест, ни звезда. Но трупы своих принято закапывать. Летом трупы чужих тоже кое-как закапывают. Летом трупы воняют одинаково. Любой национальности. Зимой же чужие трупы валяются — до лета. Хорошо, если просто валяются. В похоронных командах встречаются весельчаки. Однажды всю зимнюю дорогу устали закоченевшими трупами в одну шеренгу. Три шага — труп, три шага — труп. Стойма. Кто по пояс в снегу, кто к дереву

прислонен. Черты лиц — сквозь иглы иней. Видели черты человеческих лиц сквозь иней?

Руки в позах, в которых застыли: кто тянет к дороге, кто по швам, кто на груди скрестил. Смешно. Ледяной дом Анны Иоанновны.

Труп моего убиенного остался лежать. Того, что с благообразными родителями и сестренкой-ангелочком на фото.

Дернула нелегкая смотреть. Если бы не фото — может, и забыл бы.

Воины будущих войн! Не смотрите фотографии убитых!

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

готовит к выпуску новые книги:

ДАВИД ТАКСЕР. ИСК

200 стр.

Остросюжетная автобиографическая повесть о судьбе советского офицера-перебежчика, выданного англичанами советским властям, развертывается на фоне оккупированной Германии 45-го года. Предварительная цена 10 долл.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

"КОНТИНЕНТ"

Ежеквартальный литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

Главный редактор Владимир Максимов, зам. главного редактора Наталья Горбаневская, отв. секретарь Виолетта Иверни, зав. редакцией Александр Ниссен.

Редакционная коллегия: Василий Аксенов, Ценко Барев, Николаас Беттелл, Энцо Беттица, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Армандо Вальядарес, Ежи Гедроиц, Александр Гинзбург, Пауль Гома, Густав Герлинг — Грудзинский, Корнелия Герстенмайер, Петр Григоренко, Милован Джилас, Ирина Иловайская-Альберти, Эжен Ионеско, Робер Конквест, Наум Коржавин, Эдуард Кузнецов, Николаус Лобковиц, Эрнст Нензвестный, Амос Oz, Норман Подгорец, Андрей Сахаров, Виктор Спарре, Странник, Сидней Хук, Юзеф Чапский, Карл-Густав Штрем.

Стоимость годовой подписки: 40 западногерманских марок.

Цена номера в розничной продаже: 10 западногерманских марок.

Адрес Генерального представительства: А. NEIMANIS BUCHVERTRIEB Bauerstr. 28, 8000 Munchen 40, West Germany Bankkonto: Bayerische Vereinsbank Munchen Nr. 6304630 Postscheckkonto: Munchen 147391-804.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА

С 1 по 4 июля 1985 года в Тель-Авиве происходила очередная международная конференция по терроризму. На ней обсуждались новые тенденции в терроризме, его состояние и перспективы. В конференции приняли участие свыше 200 человек: эксперты по террору и борьбе с ним, сотрудники правительственных агентств и разведок, ученые и журналисты.

Конференция проходила в дни, когда завершалась драматическая эпопея заложников американского самолета "T.W.A.", захваченного шиитскими террористами в Бейруте. Только недавно был совершен обмен 1150 террористов, находившихся в израильских тюрьмах, на трех пленных израильских солдат. Уже в первую неделю по завершении конференции террористы-самоубийцы в Ливане произвели еще три атаки, в которых погибло множество людей.

Даже этот короткий перечень показывает, что международный терроризм, который то появляется на первых страницах газет, то исчезает с них (и из памяти рядовых людей), чтобы вскоре появиться снова, является хронической — и опаснейшей — болезнью века. Не случайно недавний опрос американских политических экспертов показал, что хотя возможность войны между сверхдержавами заботит их больше всего, угроза терроризма представляется им самой жгучей, опасной и — неминуемой.

Мы предлагаем вниманию читателей материалы тель-авивской конференции.

Д-р Йона Александер,

центр стратегических исследований (Джорджтаун, США), редактор международного журнала "Терроризм".

**ГОСУДАРСТВЕННО-
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ТЕРРОРИЗМ
КАК ОРУДИЕ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ**

"Еще в 1969 году, когда мы обсуждали в Тель-Авивском университете проблему терроризма в ее ближневосточном аспекте, я подчеркивал, что терроризм — это не локальная или региональная, а международная проблема. Сегодня, спустя 16 лет, мы по-

прежнему имеем с ней дело. И я вижу перспективы ее сохранения на повестке дня в последующие десятилетия. Одной из главных причин живучести терроризма является трагическая неспособность общественности и демократических правительств прийти к соглашению о том, что такое терроризм. Отсутствие такого определения порождает политическую и нравственную растерянность перед лицом того или иного акта террора, который порой даже не решаются квалифицировать, как таковой. Когда Ясер Арафат провозгласил, что всякий, кто "борется за правое дело", является "борцом за свободу" независимо от методов, которыми пользуется, и когда другие террористы подхватили этот тезис, они не получили организованного отпора ни со стороны специалистов, ни со стороны правительств. Каждая страна оставляет за собой право определять терроризм, руководствуясь собственными интересами. В результате после убийства Индиры Ганди СССР мог безнаказанно развернуть пропагандистскую кампанию, в которой обвинял Соединенные Штаты в этом "акте государственного террора"!

Недавно в израильском университете Бар-Илан прошла специальная конференция по определению терроризма. На ней "герильей" (партизанской войной) была названа война против колониальных властей, тогда как терроризм был определен как нарушение международного права, не преследующее освободительной цели. Даже здесь осталась путаница и неясность, потому что никто не обратил внимания на основное в терроризме: сознательное использование насилия против гражданских лиц и объектов.

Но насилие не является единственной особенностью и орудием терроризма. Угрозы и действия, направленные на психологическую дестабилизацию общества, порой не менее опасны. Сознательное использование прямого насилия, а также действий по дестабилизации общества, составляющие основу терроризма, в последние десятилетия приобретают уже глобальный характер. Только с 1970 по 1984 год в мире было совершено 22 тысячи террористических актов, в которых погибли 24 тысячи и были ранены еще 24 тысячи человек. В одном лишь минувшем году от террористических действий погибли 9600 человек. Мир находится сегодня, по существу, в самом разгаре необъявленной войны, которую ведет против него глобализирующийся терроризм. Будущие террористические акты могут стать еще кровавее. Тому есть несколько причин. Во-первых, терроризм становится все успешнее — во всяком случае, в изображении прессы, которая широко рекламирует

удачные акты террора и захвата заложников и почти не сообщает о случаях предотвращения таких попыток. Во-вторых, с каждым годом улучшается техническая оснащенность террористических групп. И наконец, все более увеличивается государственная поддержка, оказываемая терроризму определенными странами, прежде всего СССР и Ираном, иными словами все более значительную роль начинает играть государственно-поддерживаемый и прямой государственный терроризм.

Таким образом, современный терроризм обнаруживает две основные тенденции — он становится серьезной угрозой устойчивости демократических стран и жизни отдельных людей; и он все более превращается в оружие достижения определенных, в том числе глобальных, целей определенных государств. Сегодня СССР и другие такие государства сознательно и систематически экспортируют террор, поддерживают его и ведут активную психологическую и пропагандистскую кампанию, поощряющую его. Терроризм стал для тоталитарных режимов орудием своего рода необъявленной войны против демократических стран, на открытое столкновение с которыми они не решаются.

Размах и природа советского участия в международном терроризме не вполне ясны, и поэтому у многих утверждение о советском участии в поддержке террора вызывает скептическое недоверие. Замешательство еще более усиливается тем, что СССР действует одновременно на двух уровнях. На официальном он решительно отвергает всякую связь с международным терроризмом, тогда как практически одобряет, поощряет и использует его для достижения своих стратегических целей. Эта политика вполне соответствует известному марксистско-ленинскому тезису о допустимости революционного насилия в борьбе с буржуазией. Используя террористическое насилие, СССР стремится повлиять на ход событий в соседних странах (например, Иран), втянуть их в свою орбиту (Турция), создать новые подвластные себе страны (поддержка ООП), подорвать инфраструктуру НАТО (связи с Ирландской революционной армией, кампания против размещения американских ракет в Европе, перерастающая в прямой антинатовский террор), инициировать коммунистические движения в отдаленных странах (Намибия), создать трудности для США (терроризм в Центральной Америке) и наконец, ликвидировать неугодных политических деятелей (покушение на папу римского).

Главным помощником СССР в развертывании государственно-

поддерживаемого терроризма является Куба, превратившаяся сегодня в штаб-квартиру международного терроризма. Куба поощряет и планирует все действия, направленные против режимов Центральной и Латинской Америки. В последнее время к этим действиям присоединилось Никарагуа, получающее поддержку не только от СССР и Кубы, но также от ООП, Ирана, Ливии и даже баскских террористов, которые используются для ликвидации политических противников в Коста-Рике и других соседних странах. Главной целью Кубы и Никарагуа является подрыв влияний США и установление советско-кубинского влияния в регионе.

Сирия контролирует действия части палестинских террористов, поощряет экстремистские группы ливанских шиитов и, возможно, стоит за спиной определенных армянских террористических групп.

Иран вдохновляет и направляет шиитский террор в окружающих арабских странах, является базой для тренировки, по меньшей мере, 20 различных террористических организаций всего мира, а в последнее время переходит к прямому использованию террора в государственной практике (создание в рамках иранской армии особой бригады террористов-самоубийц).

Хорошо известна роль Ливии в поощрении международного терроризма и использование ею террористических методов для сведения счетов с политическими противниками.

Акты государственно-поддерживаемого и государственного терроризма становятся все изощренней и опасней; только за последние 2—3 года их было совершено более ста, и можно ожидать, что в будущем их количество и размах будет только возрастать, ибо безнаказанность и доступность делают этот вид терроризма особенно привлекательным как для отдельных террористических групп, так и для самих тоталитарных режимов. Государственный терроризм становится главной угрозой современности.

Что могут и что должны делать в этой ситуации демократические страны? Несомненно, они должны продолжать попытки предотвращения актов террора; но столь же несомненным кажется, что они должны ввести наказания для отдельных террористов и санкции против стран, поддерживающих или использующих террор, как орудие своей политики. Это, однако, требует целостной системы борьбы с международным терроризмом. Успешное проведение такой борьбы требует от демократического сообщества глубокого пересмотра многих из основных понятий. Прежде всего оно обязательно провозгласить свое право защищать себя и свою свободу — в

противном случае оно постепенно станет коллективным заложником международного и государственного терроризма. Демократическое сообщество должно провести четкую грань между терроризмом и национально-освободительным движением. Оно должно понять, что терроризм — это необъявленная война. И это — не “благородная” война “борцов за свободу” против “несправедливой системы”. Современный, международный, государственно-поддерживаемый терроризм — это, в конечном счете, война всемирного тоталитаризма против мировой демократии. Именно общая для всех них враждебность к демократии объединяет в “террористический интернационал столь разные (и преследующие порой разные и даже взаимоисключающие цели) страны, как СССР, Ливия, Иран и Сирия. Поэтому главным условием успешной борьбы с государственным терроризмом, направленным на подрыв демократического общества, является объединение и координация усилий всех демократических стран”.

Тезис д-ра Александера об участии СССР в международном терроризме, был оспорен в докладе профессора Галии Голан, директора центра советских и восточно-европейских исследований Иерусалимского университета:

“В советской печати (предназначенной отнюдь не для западного потребления и, следовательно, не для пропаганды) идет серьезный спор о допустимости терроризма и вооруженного насилия. Высказываются принципиальные возражения против использования террористических методов. Терроризм характеризуется как экстремистская и ошибочная тактика. Критикуется Китай за его призывы к “революционному насилию”, критикуется Куба, критикуются (хотя и осторожно, чтобы не оттолкнуть страны Третьего мира) взгляды Франца Фанона и других теоретиков террора в колониальных странах. Советские теоретики считают, что вооруженная борьба допустима как — и только как — дополнение к политической и притом лишь в ситуации, когда революция уже назрела и необходимо защитить ее от внешней интервенции. Утверждается, что в условиях детанта необходимость в насильственных методах вообще отпадает.

Эта советская позиция, по-видимому, объясняется боязнью эскалации конфликта, что может вызвать западное — прежде всего, американское — вмешательство; той же причиной объясняется, надо полагать, отрицательное отношение СССР к концепции “локальных войн”.

В то же время в определенных военных кругах предлагается иная точка зрения, согласно которой применение силы считается возможным и желательным (утверждается, что в случае Альенде это могло бы предотвратить его падение; Никарагуа приводится, как пример успешного применения силы). Однако, преобладающая концепция (в том числе в кругах специалистов, которые являются консультантами ЦК по вопросам международной политики) по-прежнему отрицает вооруженную борьбу и эскалацию конфликтов. Даже в апогее советского вмешательства в такие конфликты (в Анголе, например) господствующее мнение гласило, что политические решения предпочтительнее вооруженных и насильственных. А после 1981 года (приход к власти Андропова) советское вмешательство стало спадать и фактически.

Поскольку, однако, национально-освободительные движения, как правило, прибегают к вооруженной борьбе, СССР настаивает, чтобы эта борьба сочеталась с политической, со стремлением к мирному разрешению конфликта. А если вооруженная борьба неизбежна, она должна вестись регулярными методами; террор же характеризруется как побочная форма, как крайности партизанской борьбы. Но СССР не одобряет и партизанскую войну. Он принимает ее лишь, как переходный этап к обычной войне обычными средствами. Партизанская армия, в советском понимании, это, прежде всего, крестьянская армия, тогда как марксистская теория требует борьбы пролетариата в крупных городах.

Эта основная советская установка проявляется в постоянном стремлении СССР преобразовать партизанские отряды в регулярную армию. СССР пытался сделать это с ООП в Ливане, с отрядами Нкомо в Родезии и СВАПО в Намибии. В каждом из этих случаев он пытался преобразовать партизанские силы в регулярную армию, ведущую конвенциональную, обычную войну. Именно этим, можно думать, объясняется неподготовленность СССР к партизанской войне, с которой он столкнулся в Афганистане”.

Г. Голан приводит примеры осуждения южноафриканских (черных) и североирландских террористов в советской печати и применения терроризма Организацией Освобождения Палестины в секретных переговорах с лидерами ООП (отчет об этих переговорах был захвачен израильскими войсками в Ливане). Говоря об ООП, она отмечает, что эта организация, по ее мнению, ни в коем случае не является послушной марионеткой СССР и что внутри ООП группы, более склонные к террору (Абу Нидаль, Жорж Хабаш и др.), вплоть до 1979 года не имели прямых контактов с СССР (положение изменилось только после Кемп-Девид). Не существует “прямых свидетельств”

советских связей с корсиканскими, баскскими и североирландскими сепаратистами; в тех же случаях, когда такие связи установлены (например, с итальянскими "Красными бригадами"), они являются отражением советских попыток проникнуть в эти организации и подчинить их своему контролю:

"Действительно, СССР пользуется существованием террористических групп, пытается проникнуть в них, подчинить своему влиянию, приобрести выгоды от их деятельности. Но дело в том, что советские успехи в этом направлении оказались на деле ничтожны. СССР не создает подобные группы, он их не контролирует, он испытывает огромные трудности в попытках в них проникнуть и особенно — в своем стремлении направить их деятельность в определенные каналы, которые кажутся "положительными" советским лидерам. Главным из этих каналов является преобразование таких групп в регулярные части, которые отказались бы от неразборчивого террора, как основного метода своей борьбы. Я думаю, что это стремление СССР объясняется тем, что террор, по мнению советских руководителей, является слишком анархичным, не поддается контролю и грозит эскалацией. Поэтому даже если СССР и тренирует будущих революционеров и пытается сохранить с ними контакты, чтобы через них влиять на их организации, это не означает, будто СССР создает и направляет международный терроризм".

В реплике сотрудника центра советских исследований Иерусалимского университета доктора Михаила Агурского была поставлена под сомнение надежность источников Г. Голан. "Специалисты", на мнение которых она ссылалась, в действительности не играют особой роли в процессе принятия советских политических решений; их публикации в советской прессе имеют чисто теоретический характер; к тому же не всегда возможно понять, каким критерием руководствуется Г. Голан, считая одни советские официальные публикации "пропагандой", а другие — заслуживающими доверия. Фактом остается, что СССР предоставляет международному терроризму "политический зонтик", срывая в ООН все попытки определения и осуждения террора и предоставляя террористам таким образом защиту, покровительство и поощрение.

Второй доклад о советских связях с терроризмом сделал сотрудник центра стратегических исследований при Тель-Авивском университете Шломи Элад:

"Сенсационный процесс, идущий сейчас в Риме, демонстрирует сложность явления, именуемого международным терроризмом. Турецкие мафиозо и правые террористы совместно с агентами болгарской разведки обвиняются в сговоре с целью убийства папы римского — поляка на итальянской земле. Такое открытое обвинение восточно-европейской страны и — как следствие — Советского

Союза в пособничестве терроризму является необычным событием. Если обвинение будет доказано, оно впервые за все годы даст основание догадкам о роли СССР в международном терроре. Оно впервые поможет проникнуть сквозь завесу секретности, которая скрывает механизм советских связей с террористическими организациями во всем мире”.

В докладе подчеркивается, что советская поддержка не означает, будто КГБ, ГРУ или другие советские разведслужбы контролируют террористические группы во всех деталях; это было бы и невозможным, и ненужным. Важнейшая роль СССР и его сателлитов состоит в обеспечении террористов инфраструктурой.

“Террористическая инфраструктура включает все те средства, которые обеспечивают успех террористических акций. Первым и главным из них является подготовка самих террористов и снабжение их оружием. Начиная с конца 50-х годов, СССР и его сателлиты проводят подготовку представителей различных стран для будущих террористических действий и партизанской войны. Советские перебежчики показали, что такая подготовка была организована КГБ и ГРУ в Чехословакии, Северной Корее, Вьетнаме, на Кубе, в Южном Йемене, а также в лагерях ООП. Тысячи студентов были индоктринированы в марксизме-ленинизме в ходе обучения в советских и восточно-европейских университетах, а затем завербованы в террористические организации и направлены для соответствующей тренировки в эти лагеря и базы. На этих базах проходят подготовку также тысячи уже завербованных членов террористических организаций Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Западноевропейские террористы тренируются, главным образом, на Ближнем Востоке и никогда — на собственно советской территории. Баски -- на Кубе, северо- и южноамериканские террористы — на Кубе и в лагерях ООП на Ближнем Востоке, африканские террористы — в странах-сателлитах СССР.

Вторым видом помощи является снабжение оружием. Само по себе использование террористами советского или восточно-европейского оружия не является прямым доказательством его поставок. Гораздо важнее тот факт, что террористы преимущественно используют именно это оружие — даже в тех странах, где имеется собственное военное производство. Советское оружие стало столь популярным среди террористов, что, например, “Калашников” считается сегодня общепринятым символом “борца за свободу”.

На основании имеющихся данных можно утверждать, что СССР

избегает снабжать террористов напрямую и действует преимущественно через Кубу, Корею, Вьетнам, Мозамбик, Анголу, а главным образом — через ООП. Но поскольку снабжение оружием служит достижению советских целей и интересов, то можно без всякого риска считать, что нет особой разницы между прямыми поставками и поставками через посредников.

В дополнение к этому собрано большое число данных о других видах советской помощи террористам: предоставление каналов связи и путей укрытия после осуществления террористических актов; поставки оперативной информации; распространение пропаганды с целью поощрения диверсий, саботажа, партизанской войны и террористической активности; и наконец — предоставление политической поддержки на международных форумах.

Весь объем полученных сведений дает широкую картину советской поддержки международного терроризма и его использования в своих специфических целях. Если еще остаются сомнения в отношении связей СССР с той или иной конкретной группой, то нет сомнений в отношении принципиальной позиции советских лидеров в этом вопросе. Хотя СССР не является единственной страной, поощряющей международный терроризм, размах и систематичность его поддержки делает его страной, имеющей наиболее широкие связи с терроризмом и наиболее широко использующей эти связи”.

Какие факторы определяют характер и объем советской помощи тем или иным террористическим группам?

“По всей видимости, самым важным является фактор географический. СССР оказывает более прямую поддержку террористам Третьего мира, оставляя помощь европейским на долю своих сателлитов. Главные виды помощи СССР европейским группам сводятся к поставкам разведывательной информации и пропаганде. Очевидная причина такой осторожности — страх ответных действий европейских правительств. Хотя Латинская Америка тоже относится к Третьему миру, она является весьма чувствительной областью для США, поэтому в поддержке тамошних террористов главную роль играют Куба и Никарагуа. Их положение на континенте делает эту их поддержку как бы внутренним региональным делом; СССР же, напротив, избегает почти всякого прямого вмешательства, чтобы не быть обвиненным в нем.

Иная ситуация в Африке, где СССР и его сателлиты действуют почти открыто. В Азии, после падения Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, СССР избегает прямой поддержки оставшихся террори-

стических организаций; по еще непонятным причинам этого избегают также Северная Корея и Вьетнам, так что эта задача ложится, главным образом, на ООП и арабские страны.

Другим важным фактором, влияющим на степень советской поддержки, является мера признания того или иного движения национально-освободительным. Признанное международной общественностью национально-освободительное движение имеет значительную степень легитимности и может рассчитывать на большую советскую помощь, даже независимо от идеологии. Строго говоря, в нынешнюю постколониальную эру почти нет истинных национально-освободительных движений, борющихся с этнически чуждой властью; такими являются, пожалуй, только ООП на Ближнем Востоке, СВАПО и НСА в Южной Африке и еще несколько мелких групп. Из них только ООП получает прямую и открытую советскую помощь; такие группы, как ИРА и ЕТА, получают ее через третьи и — редко — вторые руки (поскольку их легитимность меньше, чем у ООП).

Легитимность того или иного движения зачастую определяется специфическим стечением политических обстоятельств. Такие обстоятельства во многом решают, признает ли СССР то или иное движение национально-освободительным и какую поддержку он ему окажет. Политический прагматизм заставляет СССР оценивать различные движения по степени их возможной способности принести быстрые практические результаты в дестабилизации негодных политических режимов или в захвате власти. Поэтому на шкале приоритетов такие группы, как западногерманская РАФ или итальянские "Красные бригады", занимают низкое место и получают помощь, в основном, через ООП и арабские страны.

Чрезвычайно интересен учет идеологического фактора. Как правило, террористические группы, поддерживаемые СССР, имеют левую ориентацию, хотя не все они являются марксистско-ленинскими; наиболее показательным примером может служить та же ООП. В некоторых случаях можно обнаружить рост левой ориентации движения *после* того, как оно начало получать советскую поддержку (как в случае ИРА, ЕТА или сандинистов Никарагуа). Можно считать, что идеологический фактор является надежным указателем возможной советской прямой или косвенной помощи.

Ведущий принцип советской помощи — стратегически-утилитарный. Это прагматический подход, а не жесткая догма. Он не означает одинаковой поддержки всем без исключения антизападным

движениям. Природа и размах советской помощи диктуются, прежде всего, политическими соображениями; ее границы, грубо говоря, совпадают с границами терпения западных стран и степенью ответа, на которую они в каждом случае готовы.

В какой степени СССР напрямую управляет деятельностью террористических организаций? Как правило, он позволяет им развиваться в соответствии с их собственной динамикой и преследовать собственные цели. СССР оказывает им поддержку, руководствуясь своими политическими соображениями и надеждой поживиться плодами их будущей деятельности.

В какой степени Кубу и другие просоветские, а также арабские страны можно считать слепо проводящими советскую политику? В то время, как советский контроль над странами восточной Европы и Кубой почти абсолютен, этого нельзя сказать об арабских странах, как Ливан или Южный Йемен. В ряде случаев они оказывают помощь терроризму без предварительного уведомления СССР, — если это прямо служит интересам этих стран. Сирия не нуждается в советском разрешении, чтобы помогать палестинским террористам. Труднее объяснить эту помощь, когда такой прямой связи интересов нет. Только глобальные соображения связывают, например, Южный Йемен с поддерживаемой им японской “Красной армией”, баскской ЕТА или немецкой РАФ. И хотя нельзя говорить, по-видимому, о существовании организованной и жесткой системы международной поддержки терроризма, можно выделить группу стран, которые поддерживают его в масштабах, далеко превосходящих их узкие собственные интересы. Это явление может быть объяснено только в свете глобальных общих интересов этих стран и всего советского блока — дестабилизации западных государств в частности и всей демократической системы в целом”.

Важной разновидностью государственно-поддерживаемого терроризма, по мнению доктора Йорама Швейцера из центра стратегических исследований при Тель-Авивском университете, является нынешний шиитский терроризм в Ливане:

“Приход Хомейни к власти в Иране дал толчок так называемой “шиитской революции”, осуществляемой различными средствами, включая также организованный террор. Хомейнистская идеология дала легитимацию использованию террора в борьбе с государствами, которые рассматриваются как “изменники делу ислама” (Ирак и др.) или как его главные враги (Соединенные Штаты). Эта идеология оказала большое влияние на неудовлетворенные своим

положением шиитские массы Ближнего Востока. Благожелательный отклик масс позволил иранскому правительству перейти к прямому поощрению, созданию и использованию террористических групп, оперирующих в соседних странах и поддерживающих иранские интересы.

Ливан — одна из таких стран. Шиитский терроризм в Ливане направляется шиитскими фундаменталистами и поддерживается не только Ираном, который использует его для распространения хомейнистской идеологии и борьбы с США, но также Сирией, которая рассматривает Ливан как плацдарм для борьбы с Израилем. Израильское вторжение в Ливан позволило Ирану и Сирии направить недовольство шиитов против "внешнего врага", представив в его роли, прежде всего, Израиль и США. Шиитский терроризм стал органической частью ливанской ситуации. Разжиганию этого терроризма способствовала непривычка израильских войск к такого рода войне и отсутствие внутри самого Израиля единства мнений по поводу вмешательства в ливанскую ситуацию. В этих условиях шиитские фундаменталистские группы взяли на вооружение организованный террор и выдвинули ряд его новых форм. Эти формы направлены на причинение максимального человеческого ущерба как самим актом террора, так и его раздуванием в прессе. На этом пути шиитский терроризм достиг впечатляющих успехов. Он впервые применил метод использования террористов-самоубийц на машинах, нагруженных большим количеством взрывчатки. Взрывы таких машин рассчитаны привлечь максимальное внимание, их главная мишень (не считая, разумеется, самих объектов взрыва) — западное общественное мнение. Именно в результате таких актов шиитские террористы приобрели славу непреклонных борцов и мстителей, против которых, якобы, бессильны даже великие державы. Следует, однако, заметить, что в описании этого вида террора были допущены большие искажения и преувеличения. Не было понято, что они являются, в первую очередь, формой психологической войны и отнюдь не так распространены, как порой кажется в изображении прессы. На сегодняшний день их было совершено всего двенадцать, причем достоверно известно, что по крайней мере два из них были выполнены членами **нерелигиозных** террористических организаций, связанных с так называемой Сирийской социалистической партией Ливана. (От ред. — к моменту публикации еще три акта самоубийственного террора в Ливане были совершены членами этой **просирийской** партии.) Несомненно, большой пропаганди-

стский эффект этих актов побуждает другие группы имитировать такие методы”.

Другие методы шиитских террористов включают захват самолетов, похищение иностранных и местных граждан в Ливане (в том числе членов ливанской еврейской общины), взрывы и политические убийства. В большинстве актов похищения самолетов шиитские террористы направляли затем похищенные лайнеры в Иран или Ливан, где пользовались почти открытой поддержкой иранских и сирийских властей. В последнем случае — с американским самолетом “T.W.A.” — цели террористов непосредственно совпадали с интересами Сирии и Ирана: вбить клин в американо-израильские отношения, подорвать репутацию США, сорвать возможные палестинские переговоры. Одновременно с ростом активности растет и география шиитского террора:

“Террористическая активность шиитов стала расширяться и на другие страны, преимущественно европейские, причем Иран использует здесь свои дипломатические и культурные связи для прикрытия этой активности. Недавно иранский культурный атташе был изгнан за это из Испании. К слову сказать, Испания стала излюбленным театром операций поддерживаемого Ираном шиитского терроризма. Там были арестованы 4 члена группы “Движение за исламскую революцию”, планировавшие захват саудовского самолета; та же группа взяла на себя ответственность за нападение на американское посольство в Мадриде; организация “Исламский джихад” провела взрыв в ресторане в окрестностях Мадрида, который часто посещают американцы (в этом акте было убито восемь и ранено несколько десятков человек) и два нападения на оффисы американской и иорданской авиалиний. В Италии и Швейцарии были арестованы семь членов той же группы, готовившие самоубийственную атаку на американское посольство в Риме. Та же группа взяла на себя ответственность за недавние покушения на еврейские и израильские объекты в Париже; в последнем случае была замешана также французская группа “Аксон директ”, что указывает на сотрудничество шиитских террористов с левыми террористическими группировками в Европе. Турция и Греция тоже стали в последнее время местами операций шиитских террористов. Однако главным театром их активности по-прежнему остается Ближний Восток”.

Перспективы шиитского терроризма, по мнению докладчика, неоднозначны:

“В странах, окружающих Иран, он, несомненно, будет продолжаться, подчиненный, главным образом, шиитскому руководству Ирана. Его размах будет во многом зависеть от исхода ирано-иракской войны. В случае ее затягивания, расширение поддерживаемого

Ираном терроризма может оказаться заменой обычных форм войны. В Ливане существование шиитского терроризма в его нынешней форме будет зависеть, главным образом, от того, возникнет или не возникнет здесь сильная центральная власть. Распространение шиитского терроризма на другие страны будет обусловлено тем, сумеют ли демократические правительства, в первую очередь — Израиль, США, Франция и др. — скоординировать свои усилия для его подавления”.

По мнению другого эксперта, **доктора Поля Джурейдни из “Аббот ассошиэйтс” в США**, перспективы шиитского терроризма внушают самую серьезную тревогу, поскольку религиозный фундаментализм грозит подчинить себе всю шиитскую общину Ливана:

“Конечно, не все шииты — фундаменталисты и религиозные фанатики. Можно думать, что 90% из них находятся вне фундаменталистского движения. Но шиитская община Ливана находится сейчас в состоянии брожения и фрагментации. Поэтому она не защищена от проникновения фундаментализма. Сегодня центром шиитского фундаментализма является Бейрут. Но я полагаю, что главное сражение за будущее шиитской общины предстоит в Южном Ливане. Шииты Южного Ливана претерпели за последние годы много трансформаций — сначала под влиянием палестинской оккупации, а затем — израильского вторжения. Они утратили своих традиционных лидеров. Правительственное влияние не существует. Поэтому южноливанские шииты вернулись к тому единственному, что у них осталось — к мечети и муллам. Говоря о шиитах, мы обычно концентрируемся на движении Амаль во главе с Наби Берри и упускаем из виду два других явления, которые, на мой взгляд, гораздо более существенны. Одно из них состоит в растущей роли местных мулл, которые организуют не только духовную, но и всю общественную жизнь в южноливанских деревнях, добывают и распределяют продукты, воспитывают молодежь и так далее. Второе связано со сложностью самого движения Амаль. Та часть его, которая находится в подчинении Берри, привлекает, в основном, секулярные образованные шиитские круги из среднего городского класса. Но есть еще Амаль Южного Ливана, где контроль Берри не так очевиден. Здесь есть и другие лидеры, которые действуют как местные феодалы — иногда в союзе с Берри, иногда самостоятельно. И есть, наконец, третий Амаль, который глубоко пронизан влиянием групп “Хецбола” и “Исламский джихад”.

Переходя к этим группам, мы немедленно сталкиваемся с систе-

мой, которую чрезвычайно трудно понять и в которую, по-видимому, невозможно проникнуть постороннему человеку. Начать с того, что здесь нет никакой организации, известных лидеров, офисов и представительств, как в случае ООП и других по-европейски организованных движений. Здесь мы имеем дело с мрачным и загадочным миром. Здесь каждый знает каждого и быть принятым имеет шансы лишь тот, кто является шиитом и хорошо известен своей общине. В этом мире центральную роль играют не столько главари террористических групп, сколько религиозная верхушка, которая управляет деревнями и их окрестностями и связана в некую весьма неформальную систему духовного руководства и наставничества. Именно эта верхушка рекрутирует новобранцев в террористические группы. Это не обычное рекрутирование, когда человека официально принимают в организацию и объявляют ему его обязанности. Все происходит исподволь и в высшей степени неформально. Муллы занимаются воспитанием молодежи в фундаменталистском духе и при этом обращают особое внимание на самых фанатичных и преданных исламу, специфически склонных к традиционному вообще для шиитов добровольному мученичеству и самопожертвованию. Таких людей они еще более укрепляют в их вере, постепенно готовя их к совершению самоубийственного акта террора во имя ислама. И лишь затем, когда они совершенно готовы на роль террористов-самоубийц, иногда — буквально накануне операции, они получают конкретное задание от “Хецболы” или “Исламского джихада”. Эти группы, таким образом, напоминают аморфные структуры, которые приобретают организованные формы только в момент планирования и проведения очередной операции, а затем снова распадаются до муравьиного уровня обычной общинной жизни. Выследить такую организацию, а тем более проникнуть в нее, чтобы нанести “решающий” удар, практически невозможно. Это делает ее неуязвимой и потому особенно опасной.

Говоря о перспективах шиитского терроризма, нужно говорить в первую очередь об Иране. Исход ирано-иракской войны будет иметь решающее значение для судеб шиитского терроризма и не только в Ливане. Вопреки распространенному мнению, я не думаю, что эта война зашла в тупик. Напротив, я полагаю, что если Иран предпримет сознательное “отступление”, передышку, чтобы реорганизовать свою армию на регулярной основе, его превосходство в людских и материальных ресурсах окажется достаточным, чтобы нанести Ираку решающее поражение. В этом случае образуется

единый фронт шиитского фундаментализма, включающий Иран, Ирак и Ливан. Несомненно, первым объектом экспансии этого фронта явятся Кувейт и эмираты Персидского залива, а далее — Саудовская Аравия. Цель этой экспансии очевидна — отнять у Саудовской Аравии ее ведущую религиозную роль в арабском мире. Я не вижу у этих государств способности защититься собственными силами, если только им не придет на помощь западный блок, жизненным интересам которого такой сценарий угрожает. В случае осуществления такого сценария, угроза шиитского фундаментализма, на острие которого будет самоубийственный шиитский террор, нависнет над Израилем и всем Ближним Востоком. Я убежден в реальности этого варианта развития событий. В этом смысле я настроен весьма пессимистично”.

Важнейшей темой конференции были различные аспекты борьбы с терроризмом. Основные сообщения по этой теме были сделаны американскими и израильскими специалистами.

Брайан Дженкинс,

*руководитель исследований
национальных конфликтов
при “Рэнд корпорэйшн”,
США.*

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ

“В последние годы международный терроризм стал едва ли не главной угрозой американским интересам на Ближнем Востоке, в Центральной Америке и Западной Европе. Не случайно государственный секретарь Шульц в ряде выступлений подчеркивал, что оборонительная реакция, которой до сих пор ограничивались США, может оказаться недостаточной и придется перейти к более активной и жесткой политике борьбы с террором.

Рассматривая тенденции в международном терроризме за последние 10—15 лет, можно отчетливо видеть определенный парадокс — несмотря на растущие усилия отдельных правительств бороться с терроризмом, он продолжает непрерывно расти. За эти 10—15 лет антитеррористические действия различных стран стали более активными и эффективными, их правительства все чаще занимали жесткую, неуступчивую позицию перед лицом террористического шантажа, возросла физическая безопасность потенциальных мишеней террора, улучшились технические средства защиты и отражения атак,

активизировалась разведывательная служба, внесли свой вклад в понимание психологии терроризма бихевиористские науки, государства все более искусно использовали амнистии и помилования для переманивания террористов, наметилась международная кооперация. В результате тысячи террористов оказались в тюрьмах и многие группы исчезли из списка действующих, а во многих других начались дискуссии о целесообразности и допустимости террора.

И тем не менее, несмотря на эти несомненные успехи, общий объем международного терроризма продолжает расти. Более того, имеет место также качественный его рост — число акций, вовлеченных в них людей и смертельных исходов. Эти показатели не уменьшаются даже после вычета ливанского терроризма, хотя Ливан и вносит определенный вклад в абсолютные цифры. Таким образом, терроризм в целом действительно является международным явлением и его успехи растут в международном масштабе.

Тактика терроризма несколько изменилась: уменьшилось число захватов зданий с заложниками; зато участились нападения на посольства и убийства дипломатов; если раньше все взрывы производились с помощью бомб, то теперь все чаще используются автомашины, груженные взрывчаткой. Особенно опасным стал в 80-е годы рост государственного терроризма: данные американской разведки показывают, что группы, поддерживаемые различными государствами и разведками, провели за пять последних лет в 8 (!) раз больше террористических актов, чем независимые организации и группы, и что все эти акты были более опасны по своим масштабам и результатам. Поддерживаемые группы используют более совершенную (а потому более опасную) технику, легче проникают к своим целям, труднее уловимы, лучше организованы в международном масштабе. Можно предвидеть, что в ближайшем будущем независимый и государственный терроризм будут сосуществовать поддерживая и питая друг друга, и война, став, быть может, менее разрушительной, будет более хаотической, образуя ту "область тени" между обычной войной и миром, о которой говорил государственный секретарь Шульц. По данным Рэнд-корпорэйшн, в ближайшие 10—15 лет можно предвидеть до 400 (!) нападений на американских граждан и американские объекты, из них 8—10 — с кровавым исходом и 3—4 — с серьезной угрозой общеамериканским интересам. (Эти предсказания были сделаны еще до 1984—85 г.г. с их известными нападениями на американское посольство в Бейруте, базу "маринз" и последнего захвата самолета.)

В борьбе с терроризмом США находятся в трудном положении. Они могут рассчитывать на последовательную поддержку всего четырех государств — Франции, Великобритании, Израиля и Турции. Подчеркнем: против США и этих четырех стран (а также пяти других западных государств) направлено 90% всех террористических акций последних лет; на долю всех остальных приходится лишь 10%! Понятно, что остальные страны не видят в терроризме “своей” проблемы. В ООН можно видеть устойчивое распределение: небольшой группе стран, выступающих против террора, противостоит почти столько же стран, активно поддерживающих и защищающих террор, в то время как вся остальная масса остается равнодушной ко всей проблеме вообще. Это распределение не меняется уже много лет, что говорит о малой вероятности организовать сколько-нибудь многочисленную антитеррористическую кооперацию в масштабах всего мира.

Но аналогичное явление можно проследить и в американском обществе. В промежутках между эффектными эпизодами внимание общества отвлекается к другим, “более близким” проблемам. Кроме того эффективной борьбе с терроризмом препятствуют политические, конституционные и другие ограничения. И хотя США уже с апреля 1984 года объявили, что готовы применить силу в этой борьбе, они ее до сих пор не использовали. Это увеличивает ощущение американской импотенции, беспомощности перед лицом международного терроризма. В данном случае можно видеть существенную разницу между американской и израильской реакцией. Израиль считает себя в состоянии фактической войны с международным терроризмом и давно прибегает к тактике возмездия и превентивным мерам, не очень считаясь с международным мнением. Эта тактика принесла Израилю ощутимые успехи (хотя нельзя сказать, что она окончательно решила проблему терроризма).

США более чувствительны к общественному мнению. Американские школы, гостиницы, автобусы не подвергались захвату или нападению, поэтому мнения американцев в вопросе о применении силы разделены. Многие считают, что оно должно быть ограничено военными возможностями, международными законами, гарантиями успеха, степенью общественной поддержки и другими соображениями. Удовлетворить всем этим требованиям могла бы, пожалуй, только третья мировая война, и поскольку, к счастью, ее нет, возможность одобренного общественным мнением применения силы против терроризма становится все более сомнительной.

США имеют дело с двумя фронтами терроризма. На одном им противостоит рутинный террор относительно независимых антиамериканских и прочих групп. За последние 10 лет эти группы совершили нападения на американских граждан почти в 70-ти странах мира, но в целом их центр находится в Западной Европе, где местные правительства, как правило, оказывают помощь в борьбе с терроризмом и потому американская тактика сводится, преимущественно, к пассивной обороне. Второй фронт — это массовый, поддерживаемый государствами террор, с которым США сталкиваются, например, на Ближнем Востоке. Здесь местные правительства не только не помогают борьбе с террором, но зачастую сами являются его частью. И именно здесь необходима сила.

Однако именно на Ближнем Востоке США особенно уязвимы. Они находятся здесь на пределе своих разведывательных возможностей, на пределе своих военных возможностей, имеют дело с советскими интересами и советскими клиентами типа Сирии, а также с интересами своих европейских союзников, зависящих от арабской нефти.

Но может ли американская сила вообще решить вопрос? Думается, что нет. Терроризм вербует своих людей из огромного резервуара, их трудно обнаружить, их еще труднее уничтожить, не причиняя ненужного ущерба.

Что же тогда может дать применение военной силы?

Оно может частично отвратить арабские страны от использования или поощрения террора; оно может отчасти восстановить репутацию США; оно, несомненно, может организовать общественное мнение.

Против кого должна быть обращена эта сила? Легче всего оправдать перед общественным мнением операции непосредственного возмездия; для них однако мало целей, эти цели легко возместимы, их уничтожение неэффективно. Значительно легче поразить страны, поддерживающие террористов: здесь несравненно больше потенциальных целей для нанесения удара; но такие удары чреваты международными осложнениями.

Любой вариант использования силы имеет свои плюсы и минусы. Главный минус — возможные потери. Американское общественное мнение чувствительно к потерям даже больше израильского. Поэтому, например, Сирия сразу же исключается из списка возможных мишеней. Иран менее опасен в смысле потерь, но удар по нему затруднен зависимостью ряда европейских стран от иранской нефти.

Проще всего было бы поразить Ливию, но там находится слишком много западных граждан (включая американских, не внявших повторному предостережению своего президента) .

Все эти соображения толкают к использованию скрытых методов. Открытые операции имеют то преимущество, что о них точно известно, что это — американское возмездие. Но у них есть очевидные недостатки: возможные потери в людях и утрата авторитета в случае неудачи. В скрытых операциях этого нет, но они требуют большего времени для подготовки, плохо поддаются контролю и непопулярны в глазах общественного мнения.

Сводя воедино эти "за" и "против", многие ратуют за третий возможный путь: не делать ничего. Это именно то, чем Соединенные Штаты заняты все последние годы. Но этот путь ведет к росту терроризма. Стало быть, что-то делать все равно надо, и это "что-то", скорее всего, должно быть сочетанием всех возможных путей. Однако такое сочетание требует координации различных служб: разведки, армии, флота, авиации, госдепартамента и т.д. — а в американском государственном аппарате до сих пор нет механизмов такой координации.

В любом случае, американская борьба с терроризмом, даже самая решительная, никогда не сможет руководствоваться принципом "удара за удар". Если Соединенные Штаты решатся использовать силу, они будут сознавать, что у них есть не более одной—двух возможностей такого использования, и вынуждены будут действовать с учетом пропорций.

Все сказанное говорит о том, что международный терроризм, скорее всего, будет продолжаться и рецепт эффективной борьбы с ним еще лишь предстоит выработать".

Израильский взгляд на проблему был представлен тремя ведущими практиками борьбы с терроризмом.

Меир Амит,

генерал в отставке, бывший глава израильской военной разведки.

**ПЕРЕД ЛИЦОМ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ШАНТАЖА**

"Я не намерен обсуждать, каким образом государство может оказаться в террористической ловушке. Но не могу удержаться от

некоторых замечаний. Точнее говоря, мои замечания касаются того, как **избежать** попадания в такую ловушку. Я понимаю растущую трудность этой задачи, особенно теперь, с появлением новых опасностей типа террористов-самоубийц и полуофициальных похищений. Но эта трудность, как мне кажется, проистекает больше из того, что жертвы похищений и шантажа оказываются слабы, чем из того, что похитители и шантажисты оказываются сильны. Именно потому, что мы чаще видим слабость защищающихся, чем силу нападающих, мы не можем пожать плоды всех тех превентивных мер, о которых здесь только что говорилось.

Это, однако, лишь общее замечание. Моя тема состоит в том, как вести себя, уже попав в ситуацию террористического шантажа. И я полагаю, что в таком случае ключевым словом является **неуступчивость, упорство, несогласие на шантаж**. В этом смысле я весьма огорчен речью министра обороны Рабина, произнесенной на открытии данной конференции. (От ред. — Рабин сказал, что в случае необходимости Израиль готов на переговоры с террористами.) Мне представляется, что даже простое обнародование этой речи является прямым приглашением к действию для похитителей, террористов и им подобных. Я согласен, что в отдельных редких случаях необходимо идти на переговоры. Но я убежден, что самая важная наша задача состоит в том, чтобы довести до сведения террористов (как это давно уже сделали прежние израильские руководители), что в принципе мы не вступаем с ними ни в какие переговоры — это исключено!”

Чисто технические аспекты поведения в ситуации террористического шантажа включают: создание “дымовых завес” вокруг своих планов; публикацию дезинформации; обеспечение непрерывного притока оперативных сведений; планомерность и организованность нажима на террористов; единоначалие всей операции; привлечение экспертов; подготовку общественного мнения и т.п. Все эти аспекты должны быть подчинены главной задаче — попытке освободить заложников силой:

“Теперь я хочу остановиться на самом деликатном вопросе — о применении силы. Министр Рабин в своей речи заявил, что мы пойдем на переговоры лишь в том случае, если не будет возможности военной операции, то есть применения силы, для освобождения заложников. Я не хочу сказать, что принципиально расхожусь с министром обороны, но, на мой взгляд, **существует лишь крайне ограниченное число ситуаций, в которых нет возможности освободить заложников силой**. Однако когда я говорю об освобождении силой, или — что то же — путем военной операции, я имею в виду не только

простую, прямолинейную операцию типа: “пришел—увидел—освободил”, как было в Энтеббе. Это был лобовой подход. Я убежден, что существует множество непрямых подходов. Я называю их “бильярдными”: вы ударяете по промежуточному шару, чтобы с его помощью ударить по нужному вам. Вот почему я говорю, что практически не знаю таких ситуаций, в которых была бы совершенно исключена “военная возможность”. Порой эта возможность чрезвычайно сложна и опосредована, но ведь и сама ситуация требует нестандартного подхода. В таких ситуациях ставкой является голова: либо вы ее используете, либо вы ее теряете.

Если вы, подобно мне, отдаете предпочтение военным операциям, то это означает, что вы должны готовиться к таким операциям заранее. Вы обязаны заранее и в международном масштабе наметить возможные цели террористов, разработать варианты своих ответных ударов и их возможные последствия. И вы должны быть готовы взять на себя коллективную ответственность. Всегда остается возможность, что военная операция потерпит провал, и правительство должно быть готово взять на себя коллективную ответственность и за успех, и за поражение.

Наконец, есть еще вопрос о возмездии. Я против возмездия ради реванша или мести, возмездия как такового. Я понимаю возмездие в том единственном случае, когда оно может помочь предотвратить повторение подобных ситуаций в будущем. Израиль неоднократно применял эту тактику и с большим успехом.

Возвращаясь теперь к вопросу о перспективах международного терроризма, я должен признать, что настроен весьма пессимистически. Даже если будут применены все перечисленные методы и принципы, мы не добьемся существенных успехов, пока не возникнет поистине международное сотрудничество в этом вопросе. Я не вижу шансов на это. Число стран, заинтересованных в таком сотрудничестве, крайне мало — пять, семь, от силы десять. Остальным глубоко наплевать. Но даже заинтересованные страны не могут прийти к согласию. Недавно, во время беседы с министром одной из западно-европейских стран, я сказал ему, что случай, подобный захвату самолета “T.W.A.”, не мог бы произойти сейчас на израильских авиалиниях. Да, согласился он, но какой ценой вы этого достигли? Вы ограничили свободу пассажиров!!

Что ж, если мы боимся немного ограничить так называемую “свободу пассажиров” — значит, нам придется мириться с похищениями, шантажом, вымогательством и прочими прелестями современного терроризма...”

Общие предпосылки успешной борьбы с терроризмом были предметом выступления генерала запаса Рафаэля Варди, бывшего координатора израильских действий в Иудее и Самарии:

“В ходе этой конференции мне довелось услышать немало крайне пессимистических утверждений относительно нашей способности подавить терроризм. Я бы сказал, что эти утверждения, в сущности, сводились к тому, что мы должны научиться “жить с терроризмом”, уживаться с ним. Я готов принять эту точку зрения — но лишь в том смысле, что мы не должны позволять террористам нарушать нашу обычную, нормальную жизнь. И израильтяне, я полагаю, — отличный пример того, как народ может научиться “жить с терроризмом”, то есть продолжать строить свою страну, не позволяя войне с террором нарушать нормальное течение жизни.

Но я не могу принять фразу “жить с терроризмом” в том смысле, что ничего или почти ничего не может быть сделано против терроризма. Я убежден, что многое может быть сделано, но при определенных условиях, и важнейшим из них является уже упоминавшаяся здесь международная кооперация, способная пресечь террористический шантаж еще прежде, чем он начнется. Но я весьма скептически отношусь к шансам наладить такую кооперацию в ближайшем будущем. Видимо, понадобятся, к сожалению, новые трагические уроки, прежде чем такое сотрудничество станет реальным.

Другое важнейшее условие успешной борьбы с терроризмом — это непрерывность такой борьбы, ведение ее всегда, везде, любыми способами, чтобы вынудить террористов постоянно находиться в обороне, в бегстве, в страхе перед уничтожением и таким образом ограничить свободу их действий.

Третье условие связано с вопросом об уступках террористам. Ко всему, сказанному здесь о речи министра Рабина, я хочу добавить, что его слова о необходимости переговоров для спасения заложников расходились с его делами, как министра израильского правительства. Это правительство фактически уступило требованиям террористической группы Джабриля еще до того, как они были предъявлены. Еще до начала переговоров с этой группой, правительство Израиля согласилось на все ее условия — не налагать “вето” ни на одну фамилию и разрешить освобождаемым террористам остаться в Иудее, Самарии и Газе, если они пожелают. О чем после этого оставалось вести переговоры?

Неверно, будто существуют только две возможности: никаких уступок и переговоров — и полная капитуляция. Область перегово-

ров лежит именно между двумя этими крайностями, и их задача состоит в том, чтобы добиться максимальных уступок — но только от террористов.

И наконец, о демократии. В выступлении уважаемого редактора газеты “Давар” прозвучала тревога, что требования, предъявляемые борьбой против терроризма к средствам массовой информации, могут означать ущемление демократии и ограничение права людей знать. Я — за право людей знать, но я не за право людей знать в се! Средства массовой информации должны осознать свою ответственность в вопросах освещения терроризма. Речь идет не только о жизни тех или иных заложников, что само по себе уже достаточно серьезно; речь идет о судьбе всей демократической системы. Если для спасения демократии ее нужно немного ограничить, то это нужно сделать без демагогических разговоров об “ущемлении свободы”. Лучше временно потерять немного, чем навсегда потерять все”.

Израильский опыт борьбы с терроризмом был обобщен на заключительном заседании специальной пленарной сессии.

Ариель Мерари,

руководитель проекта “Терроризм” в центре стратегических исследований Тель-Авивского университета.

ИЗРАИЛЬСКИЙ ОПЫТ ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ШАНТАЖА

“Я хотел бы остановиться на вопросе о “гибкой” политике” в вопросе о террористическом шантаже. Мне кажется, что израильский опыт в таких ситуациях имеет более широкое, международное значение.

В действительности в мире есть только одна страна, которая публично заявила, что не намерена идти ни на какие уступки террористам. Это Соединенные Штаты Америки. Израиль никогда не провозглашал принцип: “Никаких уступок”. Израиль неоднократно заявлял, что будет проводить жесткую политику в отношении террористов, но он ни разу не провозгласил политику: “Никаких уступок террористическому шантажу” (равно как, впрочем, он не провозглашал и никакой иной политики). Да, Израиль приобрел облик

страны, не идущей на уступки террористам, но он приобрел этот опыт не благодаря декларациям, а благодаря своим практическим действиям на протяжении многих кровавых лет, начиная с 1968-го года. Следует однако заметить, что этот облик не был вполне заслужен. В одном мистер Рабин был справедлив, — когда сказал в своей речи, что недавний обмен тысячи ста пятидесяти террористов на трех израильских пленных был не первым таким случаем в израильской истории.

В 1968 году, когда израильский самолет был захвачен группой Хабаша, его экипаж и несколько пассажиров были освобождены в результате переговоров (при посредничестве Алжира) в обмен за освобождение шестнадцати террористов, содержащихся в израильском плену. Эта тактика была повторена в 1969 году, когда два израильтянина, захваченные той же группой и переданные Сирии, были освобождены в обмен за двух сирийских пилотов. В 1970 году отряд Фатх захватил в Метуле израильтянина Шмуэля Розенвассера и в течение целого года держал его в плену в Ливане. В конце концов он был обменен на одного (!) террориста. Этот обмененный, Махмуд Хиджази, был, кстати первым палестинским террористом, которого израильский суд приговорил к смертной казни. Нужно однако отметить, что Хиджази не был убийцей, он никогда не убивал, и поэтому смертный приговор был, в конце концов, заменен пожизненным заключением, после чего он и был обменен на Шмуэля Розенвассера в отношении один к одному.

Я бы мог продолжить этот перечень; были и другие аналогичные случаи; но я хотел бы сейчас изменить исходный вопрос. Я хочу спросить: возможно ли отказаться от любых уступок? возможно ли сказать однозначное "нет" в ситуации, когда террористы удерживают заложников? возможно ли отказаться от переговоров, когда никакая военная акция не осуществима? И я хотел бы поправить мистера Рабина, сказавшего, что в случаях, когда такие акции были возможны, Израиль всегда прибегал к их использованию. Увы, это было не всегда.

Итак, возможно ли полностью отказаться от уступок? Ответ, на первый взгляд, очевиден: существуют такие обстоятельства, когда определенные уступки неизбежны. Даже Соединенные Штаты, провозгласившие лозунг "Никаких уступок", на деле не отказываются от уступок — разница в том, что эти уступки не являются прямыми. Даже Соединенные Штаты идут в определенных обстоятельствах на переговоры с террористами, но эти переговоры обычно ведут за них

третьи стороны или лица. Такова обычная американская практика.

Таким образом, в общем виде следует сказать, что уступки в определенных обстоятельствах неизбежны. Но это не снимает вопроса: как уступать и сколько уступать? Абсолютно неверно, будто “уступка есть уступка”, и точка! Есть уступки и уступки. Есть принципиальная разница между обменом Махмуда Хиджази на Шмуэля Розенвассера в 1970 году — и обменом семидесяти шести террористов тоже на одного израильского заложника, Авраама Авраими, в 1979 году. Эти 76 террористов были приговорены в общей сложности к 2900 годам тюремного заключения (если считать каждое пожизненное заключение за 30 лет). Среди них были убийцы, среди них были захватчики самолетов. Есть большая разница, на мой взгляд, между этими двумя случаями.

История обмена 1979 года является классическим примером справедливости гегелевского закона перехода количества в качество. И этот переход происходил по многим путям. Трудно даже представить себе, как быстро снижались требования террористов к Израилю в те годы, когда они понимали, что Израиль практически отказывается от уступок. В 1972 году террористы похитили самолет авиакомпании “Сабена” с израильскими пассажирами на борту. В тот раз они потребовали в обмен 317 своих соратников, находившихся в израильских тюрьмах. Как известно, Израиль не пошел на уступки. В том же году, во время мюнхенского инцидента, от Израиля потребовали освобождения уже всего 200 террористов. Израиль снова не подчинился, и несколькими месяцами спустя, когда группа “Черный сентябрь” захватила израильское посольство в Бангкоке, требования снизились до 36-ти. В 1975 году произошел следующий инцидент с участием Фатха — захват отеля “Савой” со многими заложниками. Фатх потребовал освобождения всего десяти пленных. Наконец в 1979 году, во время захвата пассажирского автобуса с женщинами и детьми на приморском шоссе, террористы потребовали всего пятерых! Отряд Фатха, выполнявший эту операцию, получил от самого Абу Джихада, второго человека в организации, инструкцию — требовать всего пятерых. Почему? “Чтобы Израиль быстрее согласился...”

Так падали требования террористов в ответ на твердую политику израильского руководства. Сегодня мы можем видеть обратную картину. Происходит эскалация требований. В 1979 году мы освободили 76 террористов за одного нашего пленного. В 1983 году мы

освободили около 100 людей Фатха за шестерых наших солдат, захваченных арафатовцами (я не говорю сейчас о пленниках Ансара, но лишь о реальных террористах, захваченных на месте тяжелых преступлений). И теперь — 960 (1150 за вычетом оправданных) — за троих. Почему? Требования растут, потому что **видят, что мы платим.**

Это означает, что уступки влекут за собой новые уступки. Они влекут за собой также **готовность** к новым уступкам и в глазах нашего собственного правительства. Ибо в чем, в сущности, состояла аргументация Рабина? Рабин сказал: “Ну что ж, не я, в конце концов, был первым, кто начал уступать, это было еще при предыдущем правительстве...” Есть оправдания повышенным требованиям, есть оправдания повышенным уступкам. Это путь к новым и новым шантажам. Это подрывает наше право требовать от других стран твердой политики. Это подрывает наши собственные стратегические и политические позиции”.

На конференции было зачитано свыше 40 докладов. Большинство из них было посвящено анализу особенностей различных террористических групп в разных странах. Три сообщения израильских специалистов были связаны с проблемой т.н. “еврейского подполья”, процесс над членами которого только что завершился в Израиле (отчет об этих сообщениях будет опубликован в следующем номере “22”). Доктор Хоршем из ФРГ охарактеризовал историю взлета и падения западногерманской группы РАФ, в последние годы перешедшей к сотрудничеству с французской “Аксион директ” и бельгийской “ССС”; две последние группы выдвинулись на роль марксистского террористического авангарда в Западной Европе, тогда как РАФ сдвинулась к самоубийственной тактике “камикадзе”. Майк Аккерман из США дал анализ латиноамериканских террористических групп (Монтонерос в Аргентине, “Революционные силы Колумбии” и М—19 в Колумбии, “Народная революционная организация” в Гватемале), подчеркнув тенденцию этих организаций в случае военного поражения переходить на путь чисто уголовной активности. Доктор Хименец из Испании говорил об эволюции баскской ЕТА; он отметил, что эта левомарксистская организация не пользуется поддержкой большинства населения провинции (докладчик оценил эту поддержку в 20—30%) и зачастую направляет свой террор против собственных соотечественников; по мнению д-ра Хименеца ЕТА — один из ярких примеров поддерживаемого извне терроризма, направленного на дестабилизацию демократического режима. Доктор Робертсон из Великобритании пытался оценить перспективы североирландской ИРА; он указал, что чисто военная кампания британского правительства, при всех ее успехах, недостаточна для подавления организации, так как не учитывает политических аспектов ситуации; он предсказал дальнейший рост терроризма в Северной Ирландии.

Общие перспективы международного терроризма в ближайшем будущем были темой заключительного доклада на пленарном заседании конференции.

"Предсказывать будущие тенденции терроризма — трудная задача. Вообразим, что эта конференция происходила бы 15 лет назад, в июле 1970 года. К тому времени на счету террористов было "всего" 106 похищенных самолетов и два случая взрыва авиалайнеров (со значительным числом жертв в обоих). Вообразим, что мне было бы поручено тогда сделать обзор ближайших перспектив терроризма. Как восприняли бы собравшиеся мои предсказания, что в ближайшие 15 лет террористы попытаются похитить или убить: премьер-министра Испании, премьер-министра Великобритании, премьер-министра Италии, премьер-министра Индии, президента Египта, президента Соединенных Штатов, папу римского; что они сумеют похитить сотни заложников во всем мире; что они получат сотни миллионов долларов в виде выкупа (60 миллионов долларов в одном только случае сразу); что число похищенных самолетов будет исчисляться многими сотнями и для защиты от этих похищений придется ввести детекторы металлических предметов, проверку багажа рентгеновскими лучами и личный досмотр пассажиров, и все это в окружении вооруженной охраны и в каждом крупном аэропорту мира; что террористы сумеют захватить почти сто дипломатических посольств в разных странах мира; что они сумеют ворваться в штаб-квартиру ОПЕК в Вене и взять заложниками министров нефти всех арабских стран; что шоферы-самоубийцы на грузовиках с тысячами фунтов взрывчатки будут взрывать здания посольств, жилые дома и военные базы и что для защиты от этой новой разновидности терроризма придется возводить бетонные укрепления вокруг всех дипломатических зданий планеты (а также вокруг Белого дома, Пентагона и Госдепартамента); что израильские командос сумеют освободить заложников, вывезенных в Уганду, немецкие — в Могадишо, а американские — попытаются и не преуспеют в освобождении своих заложников, удерживаемых в американском посольстве в Тегеране; что Франция будет бомбить Ливан в отместку за террористические акции, а США объявят терроризму войну, угрожая применением своей армии и флота...?!

Несомненно, это было бы воспринято как пересказ научно-фантастического романа. Но это не фантастика — это реальные итоги международного терроризма за последние 15 лет.

Каким будет терроризм в следующие 15 лет? Этот вопрос распах-

дается на ряд подвопросов, и я попытаюсь ответить на каждый из них.

Будет ли терроризм продолжаться?

Да, будет. Политическое насилие в той или иной форме сопровождает всю человеческую историю. Первые волны терроризма в начале нашего века были прерваны первой мировой войной; они возобновились в 20—30-х годах, чтобы снова быть прерванными второй мировой войной; они опять возобновились в послевоенный деколонизационный период и продолжались до 60-х годов нашего столетия; некоторые из этих антиколониальных движений, взявшие на свое вооружение террор, дали “модель действий” последующим, уже чисто террористическим группам. С тех пор “индивидуализация” террора продолжалась уже непрерывно. Все эти факты говорят за то, что волна политического насилия будет продолжаться и впредь.

Будет ли международный терроризм существовать в его нынешней форме?

Я полагаю, что да — и по ряду причин. Нынешний терроризм возник не только в силу определенных политических обстоятельств, сложившихся в 60-е годы (разочарование палестинцев; попытки латиноамериканцев повторить успех Кастро; подъем молодежного протеста в Западной Европе, США и Японии); он отразил также рост технологических возможностей. Наличие авиалиний обеспечило террористов глобальной мобильностью; радио, телевидение и спутники связи дали им почти мгновенный доступ к общепланетной аудитории; развитие индустрии оружия сделало боеприпасы доступными всякому, кто может их купить; усложнение технологии породило огромное количество высокоуязвимых мишеней. Таким образом, наряду с политическими факторами (которые еще долго останутся с нами), технологические возможности также определили облик современного терроризма и заложили гарантии его дальнейшего роста. Существенно и то, что первое поколение террористов создало общую модель для всего международного терроризма. Сегодня тактика этих групп и организация стала почти рутинным способом привлечь мировое внимание к той или иной проблеме и оказать давление на правительство. С каждым годом в мире появляется все больше проблем и все больше групп, посвящающих себя какой-либо одной-единственной проблеме: защита окружающей среды, борьба с абортными, с вивисекцией, с атомными реакторами, за права инвалидов, черных, желтых, коричневых, женщин и

многое другое. В своем стремлении привлечь внимание к своей проблеме, каждая из этих групп имеет сегодня возможность взять на вооружение готовую модель поведения, разработанную современным терроризмом, и мы еще можем увидеть террористические акты, совершенные во имя свободы абортотворения или равенства женщин. Экономические причины также поощряют рост терроризма. Похищения и угрозы расправы с последующим требованием выкупа стали рутинным способом добычи денег для финансирования растущего движения. Мы видим также появление полупостоянной инфраструктуры, поддерживающей любой терроризм, независимо от его идеологической направленности; координация действий, оперативная связь, взаимные услуги связывают организации террористов в единую всемирную сеть. Государства признали в терроризме полезное орудие достижения своих целей; в определенном смысле международный терроризм превращается в признанную институцию; он все более ожидаем, все более терпим, он в известной степени стал легитимным. Все эти причины говорят, что терроризм, каким мы его знаем сегодня, скорее всего сохранится и впредь — как способ выражения политических настроений и форма псевдвойны между государствами.

Итак, он будет продолжаться. Но на каком уровне? Увидим ли мы больше или меньше террористических акций? Возрастет или уменьшится его размах?

За последние 17 лет число террористических акций возросло в среднем на 12—15% в год. Если эта тенденция сохранится, то к концу нынешнего столетия в мире будет происходить от 800 до 900 акций ежегодно, то есть вдвое больше, чем в 1984-м году. Это не такое невероятное предположение: в 1984-м году количество террористических акций было вчетверо выше, чем в 1972-м, в год мюнхенской трагедии. Увеличение размаха международного терроризма сопровождалось непрерывным расширением его географических границ. Хотя по-прежнему основными мишенями остаются несколько демократических стран, на долю которых приходится больше половины всех террористических акций, общее число стран-мишеней в минувшем году достигло 60-ти. Наконец, происходило увеличение числа террористических групп, и хотя ряд старых организаций исчез и многие из них уменьшили свою активность, рост международного терроризма перестал зависеть от небольшой кучки давно известных групп. По мере превращения планеты в единую "мировую деревню" или "мировой город", по мере роста мигриру-

ющих масс населения земного шара все больше локальных конфликтов будет выходить на международный уровень с помощью террористических методов. Примером тому являются действия молуккских террористов в Бельгии или шиитских в Испании. Перечисленные факторы говорят за то, что в будущем мы должны ожидать роста, а не уменьшения размаха терроризма.

Будет ли возрастать число жертв?

Простое убийство множества людей редко является целью террористов. Терроризм оперирует на основе принципа минимального необходимого количества жертв, ведущего к нужной цели. Лишь 15–20% террористических акций влекут за собой смертельные исходы и из них две трети — лишь одну смерть. Десять и более смертей в одном инциденте отмечены только в 1% всех террористических акций, а случаи множества смертей являются крайней редкостью. К сожалению, как мы видели в последнее время, ситуация меняется. Террористическая активность возросла не только по количеству акций, но также по количеству жертв. Если в начале 70-х годов террористы концентрировали большинство своих атак против собственности, то в начале 80-х, по данным американского правительства, более половины этих атак были направлены против людей. Количество террористических акций со смертельными исходами драматически возросло. 80-е годы засвидетельствовали ряд случаев массового, неразборчивого террора и запланированного убийства множества людей (машины со взрывчаткой, бомбы в трюме авиалайнеров и т.п.). Есть несколько причин этой эскалации смерти. Как солдаты, долго находящиеся в окопах, террористы стали менее чувствительны к смерти. Убийства стали приниматься все легче и проще. Общественное мнение стало привыкать к терроризму, и сегодня необходимо большее число смертей, чтобы вызвать тот же уровень внимания. Терроризм стал более оснащенным технически, появились более совершенные методы убийства. Изменился состав террористических групп — по мере того, как от них отходили сомневающиеся в целесообразности массового террора, начали преобладать люди, нацеленные прежде всего именно на такие акции. В терроризме появился религиозно-фанатичный аспект, толкающий в сторону массовых убийств. Поддержка государств, снабжающих террористов более совершенными средствами разрушения и более мощным оружием, делает возможным более высокий и разрушительный уровень насилия.

С другой стороны, есть факторы, работающие против такой эскалации. Это, во-первых, определенные самоограничения, о которых

мы будем говорить дальше. Это, во-вторых, наличие предела технических возможностей. Если терроризм не перейдет к новым методам, он имеет тенденцию к насыщению. Количество жертв в самых крупных террористических акциях достигает нескольких сот, что, грубо говоря, равняется их количеству в самых крупных случайных катастрофах; большее число жертв достижимо уже только в стихийных бедствиях. Чтобы превзойти этот предел, терроризм должен получить доступ к большим запасам отравляющих веществ или к атомному оружию. Третий ограничивающий фактор — меры безопасности. Терроризм может преодолеть их, только перейдя к нападениям с воздуха или к более доступным мишеням. Учитывая сказанное, можно думать, что хотя акции с сотнями жертв, вероятно, станут в будущем более частыми, такие акции по-прежнему останутся верхним пределом террористических возможностей.

Изменится ли тактика террористов?

Я полагаю, что мы не увидим особых новшеств. Террористы предпочитают ограниченный репертуар, который мало меняется с годами. Можно указать несколько тактик, которые ответственны за 95% всех террористических акций. Грубо говоря: террористы взрывают объекты; они убивают людей; они захватывают заложников. Все остальные тактики являются вариантами или комбинациями этих основных. Если одна тактика оказывается ненадежной или встречает растущие трудности (так было с захватами зданий, когда правительства перешли к их контратаке), террористы переходят к другой или просто меняют цели. Поскольку запас таких целей практически неограничен, у террористов нет потребности в тактических новшествах. И это приводит нас к следующему вопросу: какие изменения произойдут в спектре мишеней?

Самое большое преимущество террористов состоит в безграничности спектра мишеней. Они могут атаковать любой объект, в любом месте, в любое время, будучи ограничены только оперативными соображениями. Натываясь на защищенные объекты, они переходят к менее защищенным. На протяжении ряда лет результатом этой стратегии было непрерывное расширение списка атакуемых террористами объектов. Он последовательно включал в себя: посольства, авиалинии, аэропорты, туристские оффисы, метро, железные дороги, вокзалы, почтовые ящики, автобусные остановки, автобусы, электростанции, гостиницы, рестораны, библиотеки, школы, церкви, редакции газет, журналистов, дипломатов, бизнесменов, священников, военных, миссионеров, ученых, мужчин и женщин, взрослых и детей.

Есть ли такие объекты, которые террористы пока не атаковали?

Пока что они ни разу не атаковали ядерные реакторы. За исключением некоторых групп, террористы не имеют технических средств для нападений на корабли и танкеры. Террористы поджигали компьютерные установки и выводили из строя компьютеры, но еще ни разу не пытались использовать их для сколько-нибудь сложной дезорганизации хозяйственной жизни страны.

Каковы могут быть будущие мишени террористов?

Я полагаю, что в основном те же, что и сегодня.

Будут ли они пытаться атаковать крупные технологические объекты?

Мы можем увидеть отдельные инциденты такого рода, однако в целом небольшие группы лишены технических возможностей, необходимых для таких атак; тем не менее государственная помощь может сделать невозможное сегодня доступным завтра.

Увидим ли мы более изощренный, так сказать — “беловоротничковый” терроризм — атаки на телекоммуникации, информационные системы и прочие объекты, позволяющие вызвать широкую дестабилизацию общества?

Вероятно, да, хотя и редко, поскольку такие атаки не дают немедленного и видимого эффекта.

Какое оружие будут употреблять террористы?

Сегодня они используют то, что доступно. Если они будут продолжать атаковать те же мишени, у них не будет потребности в новом оружии. Взрывчатые вещества, возможно, станут более изощренными и эффективными, если будет продолжаться государственная поддержка, однако здесь также имеется технический предел. Для преодоления охраны могут быть пущены в ход минометы, гранатометы и ракеты.

Применят ли террористы химическое или бактериологическое оружие? Станет ли терроризм ядерным? Недавний опрос тысячи с лишним американских политических экспертов показал, что хотя, по их мнению, война между сверхдержавами является по-прежнему предметом наибольших забот, возможность катастрофического ядерного инцидента с участием террористов представляется большинству самой реальной и непосредственной опасностью. Если под ядерным терроризмом понимать использование похищенного или приобретенного ядерного оружия, то такой инцидент не исключен, хотя и мало вероятен. Возможность террористов создать собственное ядерное устройство весьма преувеличена. Данные технической

экспертизы показывают, что такое устройство может быть рассчитано, но не сконструировано; его изготовление влечет за собой огромный риск, детонация будет ненадежной, а результаты — непропорционально малыми. Но кроме технической имеется также иная сторона проблемы. Как я уже сказал, убийство множества людей не является самоцелью террористов. Террористы могли бы сделать больше уже сейчас; тем не менее они этого не делают. Почему? Представляется, что тут действуют определенные самоограничения, которые проистекают из моральных и политических расчетов. Многие террористы видят своего врага не в людях, а в правительствах. Многие террористические организации изображают из себя некие “правительства в изгнании”, а свои действия — как борьбу с политическими узурпаторами власти. Их репутация пострадает от применения ядерного оружия. Оно восстановит против них их сторонников, общественное мнение, полицию и правительства.

Что можно сказать о химическом или бактериологическом оружии?

Если не считать отдельных случаев, это оружие не удовлетворяет требованиям террористов. Их атаки рассчитаны на немедленный драматический эффект. Их операции имеют четко ограниченную временную протяженность. Они атакуют, они взрывают или захватывают заложников, они сохраняют контроль над ситуацией. Использование бактериологического оружия означает операцию, которая затягивается во времени и над которой невозможно сохранить контроль. Поэтому такие атаки могут совершаться только чисто уголовными элементами. Напротив, химическое оружие не может быть исключено, поскольку в перспективе ближайших лет можно предвидеть его растущее использование правительствами таких стран, как Иран, Ирак и Сирия; отсюда оно может перейти в распоряжение террористов.

Как будет терроризм вписываться в картину общемирового конфликта?

Государственная поддержка терроризма будет продолжаться; классические “малые” войны и международный терроризм будут сосуществовать и, возможно, расширяться одновременно. Иранская революция и ее распространение на Ливан могут дать модель для революционных движений в Третьем мире, точно так же, как кубинская модель вдохновила поколение подражателей в Латинской Америке. Мы можем увидеть превращение международного терроризма в новую форму мировой войны, в которой различные

террористические группы будут совершать координированные вылазки в разных частях света, избегая прямого военного столкновения с западными странами, в то время как специальные антитеррористические армии будут охотиться за ними по всем континентам. Будут учащаться мгновенные нападения в западных столицах, похищения с доставкой заложников в дружественные террористам страны; и если ирано-иракская война действительно приведет к падению соседних арабских режимов, то весь Ближний Восток станет своего рода джунглями планеты, где будут скрываться и откуда будут выходить на свою охоту организованные во всемирную армию террористы.

И наконец, — какое развитие произойдет в мерах безопасности?

Будет увеличиваться внимание к внутренней безопасности, то есть к охране собственных государственных границ; одновременно с пролиферацией террористических групп будет происходить растущая передача проблемы безопасности в руки частных агентств и отдельных людей; если несколько лет назад в США расходовалось 40 миллиардов долларов в год на все виды безопасности, а сегодня — столько же лишь на частные меры, то в ближайшие годы эта цифра, по-видимому, возрастет до 50–60 миллиардов в год.

Попробуем суммировать. Несомненно, терроризм будет продолжаться; вероятно, он увеличится; широкие террористические акции станут более обычными; однако терроризм вряд ли овладеет сложной технологией или оружием массового уничтожения; в отношении мишеней, тактики и видов оружия он останется — в обозримом будущем — продолжением сегодняшнего; государства будут продолжать практику использования терроризма в своих политических целях; мы можем вступить в период затяжной всемирной террористической войны; будут кризисы; мы вынуждены будем тратить все больше и больше ресурсов на борьбу с терроризмом; и будет все больше компромиссов...

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Как заметил кто-то, хорошо, что эту историю истребления народов написал немец, ибо всякий иной автор навлек бы на себя обвинение в германофобии. Не думаю, что так обстоят дела. Для нашего антрополога немецкое происхождение "окончательного решения еврейского вопроса" — второстепенная деталь процесса, который не сводится ни к "немецкости" убийц, ни к "еврейскости" жертв. Неприятные вещи о современном человеке говорили уже не раз. Наш автор решил однако разделаться с ним раз и навсегда, пригвоздив его так, чтоб уж не поднялся. Асперникус, фамилия которого ассоциируется с Коперником, задумал (подобно своему великому предшественнику в астрономии) произвести переворот в антропологии зла. Читателю самому судить, удалось ли ему это.

Первый том, как и подобает столь обширному замыслу, открывается анализом отношений в животном мире. Автор начинает с хищников, которые убивают инстинктивно, чтобы выжить. Он подчеркивает, что хищник, особенно крупный, никогда не убивает больше, чем требуется ему и его свите (ибо, как известно, каждый вид хищников имеет такую свиту из животных послабее, которые

Станислав Лем

ПРОВОКАЦИЯ

подъедают за ним остатки). Травоядные животные становятся агрессивными только в период течки, редко, однако, бывает, что борьба самцов за самку кончается смертью соперника. Бескорыстное убийство — явление, среди животных весьма нечастое. Уж чаще его можно обнаружить среди одомашненных животных.

Иначе у человека. Как отмечают хроники, войны с давних времен перерастали в массовое избиение побежденных. Причины тому были, как правило, практические: ликвидируя также потомство побежденных, победитель гарантировал себя от будущей мести. Такая резня была в древних культурах явлением открытым, даже демонстративным, коль скоро корзины с отрезанными конечностями и гениталиями фигурировали в триумфальных процессиях, как символы военного успеха. Опять же — никто в древности не ставил это право победителей под сомнение. Они убивали побежденных или уводили их в рабство, руководствуясь соображениями своей личной выгоды.

Асперникус на обширном материале показывает, как правила войны постепенно обставлялись ограничениями, зафиксированными в рыцарских кодексах, хотя ограничения этими и пренебрегали в гражданских войнах, поскольку недобитый внутренний враг был куда опаснее врага внешнего (чем объясняется, почему католики преследовали катаров суровей, чем сарацинов).

Постепенный рост ограничений привел к соглашениям типа Гагской конвенции. Сущность их в том, что военный успех и избиение побежденных предполагалось навеки разделить. Первый ни в коем случае не должен был влечь за собой второго. В этом разделении усматривали прогресс военной этики. Избиения народов случались и в современности, но им была чужда как архаичная демонстративность, так и подчеркнутая корысть исполнителей. Тут Асперникус переходит к анализу рациональных причин, которыми в разные времена пытались оправдать такие избиения.

В христианском мире эти оправдания стали явлением обычным. Впрочем, нужно заметить, что ни вывоз африканских рабов, ни более раннее освобождение Святой земли, ни разгром южноамериканских индейских государств не начинались с намерения истребить целые народы, ибо речь всегда шла о дешевой рабочей силе, о крещении иноверцев, о завоевании заморских земель, а истребление аборигенов было лишь устранением препятствий на пути к цели. Но в хронологии геноцида можно увидеть постепенное **уменьшение корыстного элемента** как одного из мотивов в общей сумме оправ-

даний, иными словами рост духовных выгод над выгодами материальными. Прообраз гитлеровского геноцида Асперникус усматривает в армянской резне, устроенной турками во время первой мировой войны, поскольку в ней уже наличествовали все развитые признаки современного массового истребления: она не принесла туркам никаких ощутимых выгод и в то же время ее мотивы были фальсифицированы, а сама она утаена от окружающего мира. Ибо наш автор считает, что не само по себе массовое истребление людей составляет знамение XX века, но массовое убийство с полностью фальсифицированным объяснением, ход и результаты которого скрыты от мира как можно надежнее. Материальные выгоды — скажем, от ограбления жертв — были, в общем-то, ничтожны или же дело оборачивалось, как в случае евреев и немцев: в общенациональном балансе истребление евреев обернулось для Германии материально-культурным ущербом, что было доказано немецкими авторами после войны на обширном фактическом материале. Таким образом, в ходе истории произошло точное обращение исходной ситуации: что военная, что материальная выгоды геноцида из реальных стали мнимыми и это побудило искать совершенно новые оправдания массовых истреблений. Если бы эти оправдания приобрели силу обязательных, то совершаемых в соответствии с ними массовых казней не нужно было бы скрывать. А поскольку их повсеместно скрывали, эти оправдания, видимо, не казались убедительными даже самим энтузиастам геноцида. Асперникус считает этот вывод обескураживающим, но — в свете фактов — неопровержимым. Как показывают сохранившиеся документы, гитлеризм соблюдал в геноциде следующие градации: тем из побежденных народов, которые подлежали прореживанию, как славяне, о некоторых экзекуциях сообщали открыто, зато группам, которые уничтожались полностью, как евреи и цыгане, о таких экзекуциях не сообщали ничего. Чем более абсолютным было уничтожение, тем большая секретность его окружала.

Асперникус исследует совокупность этих явлений методом последовательных приближений, которые ведут ко все более глубоким причинам геноцида. Сначала он показывает на карте Европы вектор, идущий с запада на восток, от полной секретности к полной открытости, или, в моральных категориях, от стыдливого убийства до бесстыдного уничтожения. То, что в Западной Европе немцы делали локально, тайно, в отдельных случаях и постепенно, то на востоке они совершали в растущих масштабах, яростно, все

более бесстыдно и откровенно, причем по мере удаления на восток геноцид все более становился нормой для немедленного исполнения: евреев часто убивали прямо в их домах, не тратя времени на изоляцию в гетто или перевозку в лагеря уничтожения. Автор считает, что эти различия свидетельствуют о лицемерии убийц, которые не решались делать на западе то, что делали на востоке, где уже не заботились об условностях.

План "окончательного решения еврейского вопроса" с самого начала таил в себе возможность различных вариантов с разной степенью жестокости, хотя и с одинаковым концом. Асперникус справедливо замечает, что был осуществим и бескровный вариант, в то же время более выгодный для Третьего рейха в военном и экономическом отношении, по которому мужчины отделялись от женщин и изолировались в отдельных гетто или лагерях. Уж если немцы не учитывали при выборе вариантов этические факторы, им следовало бы учесть хотя бы фактор **собственной выгоды**, несомненной в этом варианте, поскольку он освобождал значительную часть железнодорожного транспорта (который перевозил евреев из гетто в лагеря уничтожения) для военных потребностей, уменьшал численность войск, направленных на уничтожение (надзор за гетто потребовал бы куда меньшей численности) и снимал перегрузку с промышленности, которой приходилось производить крематории, мельницы для перемалывания человеческих костей, циклон и другие средства уничтожения. Разделенные евреи вымерли бы самое большее в течение сорока лет, если учесть, с какой скоростью население гетто таяло от голода, болезней и принудительного труда. Темпы такого косвенного уничтожения были известны штабу "окончательного решения" уже в начале 1942 года, и когда это решение принималось, штаб этот еще вполне мог рассчитывать на немецкую победу, так что в пользу кровавого варианта не говорили никакие факторы, кроме воли к убийству.

Как свидетельствуют сохранившиеся документы, немцы исследовали также пригодность других методов, например, стерилизации с помощью рентгеновского облучения, но в конце концов остановились на уничтожении. Для истории Германии, говорит Асперникус, для оценки ее вины, для мировой послевоенной политики конкретный вариант геноцида не имел никакого значения, потому что Третий рейх был и без того отягощен такими военными преступлениями, которые заслуживали высшей меры. Опять же, тот, кто уничтожает какой-либо народ с помощью принудительной

стерилизации или разделения полов, ничуть не меньший преступник, чем тот, кто этот народ душит в газовых камерах. Но для психосоциологии преступления, для понимания гитлеровской доктрины, для теории человека тут принципиальное различие. Гиммлер оправдывал геноцид перед своими подчиненными необходимостью уничтожить евреев, чтобы они никогда больше не могли угрожать немецкому государству. Но если принять такую угрозу на веру, вариант косвенного истребления оказывается самым экономным экономически, технически и организационно. Гиммлер лгал своим подчиненным, а может быть, и самому себе. Весь этот вопрос был позже заслонен другими событиями, когда немцев начали донимать поражения, пришлось отступать и одновременно замечать следы массовых экзекуций, сжигая извлекаемые из рвов трупы. Если бы кровавый геноцид начался тогда, можно было бы еще поверить в подлинность утверждений гиммлеров и эйхманов, будто их побудил на убийство страх перед местью победителей. Но поскольку дело обстояло не так, Гиммлер лгал и тогда, когда сравнивал евреев с паразитами, которых нужно уничтожать, поскольку паразитов не уничтожают с заранее обдуманном намерением причинить им максимальные муки.

Короче, речь шла не только о выгоде от преступления, но и об удовлетворении, которое получаешь от самого его исполнения. Еще в 1943 году (а может, и позже) Гитлер и его штаб могли тешить себя верой в победу Германии, — а “победителей не судят”. Поэтому очень трудно объяснить, почему массовые истребления не были открыто признаны уже в то время, когда они совершались, почему даже в самых секретных документах их маскировали криптонимами, вроде “переселения”, тогда как речь шла об уничтожении. Асперникус думает, что в этом двуязычии можно видеть попытку доказать недоказуемое. Немцы должны были быть одновременно благородными арийцами, первыми среди европейцев, героическими победителями — и убийцами беззащитных людей. Первое они провозглашали, второе делали, и отсюда пошел объемистый словарь переименований и фальсификаций вроде “Арбайт махт фрай”, “переселение” или то же “окончательное решение”, как синонимов массовой резни. Именно эта ложь обнаруживает, по мнению автора, что Германия, вопреки стремлениям гитлеризма, осталась частью христианской культуры, ибо она так была пропитана ею, что при всем желании выйти за рамки Евангелия уже не всегда могла это сделать. В кругу этой культуры, говорит наш автор, хотя

и все уже можно делать, не во всем еще можно признаться. Эта культура — необратимый факт, ибо будь оно иначе, немцам ничто не мешало бы называть вещи своими именами. Первый том работы Асперникуса, озаглавленный “Окончательное решение как Страшный суд”, содержит обзор предпринимаемых в последнее время попыток объявить правду о геноциде фальшивкой и ложью, с помощью которой победители якобы хотели морально добить побежденную Германию. Но разве такие попытки — отрицать все то, что доказано горами документальных кадров, показаний, архивов, грудами волос, обстриженных с женских голов, протезов убитых инвалидов, игрушек уничтоженных детей, очков, поленицами трупов — разве эти попытки представляют собой что-либо большее, чем проявление безумия? Может ли человек в здравом уме назвать непроверяемые доказательства преступления — фальшивкой? Если бы проблема сводилась к психиатрической, если бы адвокаты гитлеризма были безумцами, не нужен был бы труд Асперникуса, который обратился к исследованиям американской гитлеровской партии, чтобы привести их заключение, что неонацистам нельзя отказывать в психической полноценности, хотя психопаты и попадают среди них чаще, чем в остальной популяции. Стало быть, проблему нельзя перечеркнуть, словно она относится к сфере психиатрической профилактики, и потому анализ ее становится задачей философии человека. Тут читатель подходит к обвинению, которое Асперникус адресует уважаемым философам вроде Хейдеггера. Наш автор не обвиняет Хейдеггера в принадлежности к нацистской партии, из которой тот вскоре вышел, ибо считает смягчающим обстоятельством тот факт, что в тридцатые годы людоедские выводы гитлеризма еще не легко было распознать. Ошибки простибельны, если влекут за собой пересмотр ошибочной позиции и соответствующие этому пересмотру действия. Асперникус называет это требование минимальным этическим постулатом. Он не говорит, что Хейдеггер или ему подобные обязаны были выступить в защиту преследуемых и что их нужно осудить за недостаток мужества; не все способны на героизм. Суть в том, что Хейдеггер был философом. Тот, кто изучает природу человеческого бытия, не может молча пройти мимо гитлеровских преступлений. Если он это сделал потому, что отнес эти преступления к разряду “низших”, то есть чисто криминальных, выделяющихся только масштабами, до которых их подняло участие государства, и не подлежащих обсуждению по тем же причинам, по которым философия не обсуж-

дает обычные преступления, ибо не занимается тем, чем занимается криминология, если Хейдеггер рассуждал именно так, он был либо слепцом, либо лжецом. Если он не заметил сверхкриминального значения этих преступлений, он был умственно слеп, то есть глуп, а какой из глупца философ, даже если он способен волосинку на четыре расщепить?! А если он промолчал, потому что солгал, то он предал свое ремесло. Так или иначе он становится соучастником преступления; конечно, не его планирования или осуществления, обвинять его в этом было бы возмутительным лицемерием. Он становится его соучастником в силу умолчания, ибо он это преступление умалил, преуменьшил, отстранил на периферию якобы более важных проблем, выделил ему в иерархии бытия несущественное место, если выделил вообще. А ведь врач, который счел несущественными признаки смертельной болезни, который замалчивает ее саму, ее симптомы или последствия, — либо никудышний врач, либо союзник болезни, третьего не дано. Кто занимается человеческим здоровьем, не может относиться легкомысленно к смертельной болезни и исключать ее из сферы исследований, а кто занимается человеческим существованием, не может исключить из него проблему геноцида. Если он так поступает, он тем самым сводит на нет свою работу. Тот факт, что человеку по имени Хейдеггер вменили в вину поддержку, которую он оказал гитлеровской доктрине лично, но не обратили это обвинение против его книг, замалчивающих всю эту проблему, свидетельствует, по мнению нашего автора, о существовании сговора соучастников. Соучастники тут все, кто согласен умалить значение этого преступления в иерархии человеческого существования.

Гитлеризм сподобился множества объяснений. Автор "Геноцида" упоминает три из них, как самые распространенные: гангстерское, социально-экономическое и нигилистическое. Первое приравнивает этот геноцид к обычному убийству с ограблением, и именно оно оказалось в центре общественного внимания в результате Нюрнбергских процессов, ибо судьям, которых назначили победители, легче всего было разобраться в обвинениях, основанных на традиционной схеме обычных преступлений, а вдобавок горы чудовищных вещественных доказательств самим своим существованием толкали судебную процедуру на такой именно путь. Социально-экономическое объяснение называет слабость Веймарской республики, хозяйственный кризис, соблазн, которому поддался крупный капитал, попавший в клещи между "левыми" и "правыми", той

совокупностью причин, которая позволила Гитлеру захватить власть.

Наконец, трактовка национал-социализма как торжествующего нигилизма особенно привлекала великих гуманистов, вроде Томаса Манна, который видел в нем “второй голос” немецкой истории, мотив дьявольского искушения, и в “Докторе Фаустусе” проследил его эволюцию от средневековья через вероотступничество Ницше до XX века. Эти объяснения лишь частично справедливы. Гангстерское обходит в гитлеризме его неотделимость от лжи. Гангстеры в своих делах не прибегают к эвфемизмам или фальсификациям, облагораживающим преступление. Социально-экономическое объяснение не берется объяснить разницу между итальянским фашизмом и гитлеризмом, совсем не мизерную, коль скоро Муссолини не стал инициатором геноцида. Наконец концепция Манна слишком абстрактна в своем сравнении Германии с Фаустом, а Гитлера — с дьяволом. Нацист, как гангстер, — слишком тривиальная банальность, а как слуга дьявола — банальность, приподнятая на котурны. Правда о гитлеризме не так примитивна и не так возвышенна, как в этих двух противоположных объяснениях. Понимание гитлеризма запуталось в лабиринте частично согласующихся, частично противоречащих трактовок, потому что его преступления на первый взгляд тривиальны, но в более глубоком смысле потаенно лицемерны. Этот глубинный смысл не вдохновлял руководителей движения, пока они были кучкой политиканов-выскочек, и не был осознан ими и потом, когда они овладели машиной огромного государства. Эти выскочки, карьеристы и корыстолюбцы, пошедшие за Гитлером, не были способны к самопознанию. Известно, что кого боги хотят погубить, того они лишают разума. Захватнический план Гитлера не был безумным изначально — он стал таким со временем, ибо должен был таким стать. Как известно, генеральный штаб не хотел войны с Россией, но даже если бы Гитлер победил на Западе, конечная катастрофа Третьего рейха была бы еще страшнее. Вообще говоря, оценка политических альтернатив — дело весьма ненадежное, но положение на шахматной доске мира таило в себе тогда такую логику неизбежности, которой вынуждены были бы подчиниться все игроки. Успехи Гитлера на Западе подтолкнули бы американцев нанести Японии серию атомных ударов, чтобы победить ее раньше, чем она получит немецкую помощь. Рассекреченное этим ядерное оружие втянуло бы, в свою очередь, межконтинентальных антагонистов, Германию и Америку, в ядерную гонку, в которой

американцы, имея большую фору, получили бы начальное превосходство и попросту вынуждены были бы его использовать, превратив Германию в радиоактивную пустыню уже в 1946 или 1947 году, то есть до того, как немецкая теоретическая физика, обезглавленная Гитлером, успела бы снабдить его арсенал ядерным оружием. Раздел мира на два мировых лагеря оказался бы невозможен, поскольку на сцену вышла бы атомная бомба и поскольку американцы, находясь в состоянии войны с Германией, поступили бы самоубийственно, оттягивая употребление атомных бомб до их появления у немцев. Если бы удалось покушение 20 июля 1944 года, масштабы разрушения Германии были бы меньше, чем оказались в действительности после капитуляции в 1945-м, а если бы она не состоялась тогда, то в 46-м или в 47-м году Германия обратилась бы в радиоактивный прах. Ни один американский президент не сумел бы воздержаться от таких ударов, ибо ни один не вступил бы в соглашение с противником, так нарушающим соглашения, как Гитлер, и в то же время владеющим ресурсами Европы и Азии. Это означает, что немецкая катастрофа оказалась бы, в конце концов, тем страшнее, чем больше был бы поначалу немецкий военный успех. Эта катастрофа была изначально заложена в гитлеровских планах, ибо их экспансионизм не знал реальных границ, и превращение стратегии победоносной в стратегию самоубийственную было только вопросом времени. Насмешливый рок побудил Гитлера изгнать из Германии тех физиков, мозгом и руками которых было создано американское атомное оружие. Это были либо евреи, либо так называемые "белые евреи", то есть люди, преследуемые за свои, несовместимые с гитлеризмом убеждения. Как видно из этого, расистский и последовательно приведший к геноциду элемент доктрины не был нейтрален или случаен по отношению к краху Германии, ибо именно он превратил ее экспансию в самоубийственную. Определив, таким образом, место геноцида в рамках всей второй мировой войны, Асперникус обращается к его имманентной стороне.

Преступление, утверждает он, если не является случайным нарушением норм, а правилом, определяющим жизнь и смерть, приобретает собственную автономию, подобно культуре. В силу своего масштаба оно требовало производственных мощностей и производительных орудий, стало быть нуждалось в своих специалистах, инженерах и рабочих, образующих профессиональное сообщество палачей. Пришлось изобрести и создать это на пустом месте, потому

что никто доселе не делал этого с таким размахом. Этот размах невозможно охватить. Перед лицом поставленного на конвейер убийства совершенно беспомощными становятся традиционные категории преступления и наказания, памяти и прощения, сострадания и мести, о чем все мы втайне знаем, ибо никто из убийц, как и никто из невинных не способен мысленно проникнуть в смысл слов: "миллионы, миллионы, миллионы убитых". И в то же время нет ничего страшнее, ничего, что наполняло бы сознание большей пустотой и грызущей скукой, чем чтение показаний свидетелей преступления, ибо они неустанно повторяют один и тот же затертый мотив, этот путь в ров, в печь, в газовую камеру, в яму, на костер, и сознание отказывается наконец воспринимать нескончаемые колонны теней, воскрешаемых книгой за миг до конца, ибо никто не может представить это воочию. Отчаяние наступает не из-за недостатка сострадания, а из-за полного бессилия, из-за отупляющей монотонности того, что, будучи **убийством**, никоим образом, ни под каким видом не должно быть монотонным, размеренным, деловитым, скучным, как созерцание ленты конвейера. Нет, никто не может осознать, что это значит — истребление миллионов беззащитных людей. Это остается загадкой, как всегда бывает с тем, что превосходит физические или душевные возможности человека. И все же нужно углубляться в этот жуткий мир, и не столько ради памяти жертв, сколько для пользы живущих. Наш немецкий ученый, антрополог и историк, так говорит в этом месте: "Читатель, тебе грозит рутинка. Тот, кто говорит, как я, рискует прослыть моралистом. Рискует быть обвиненным в том, что он будоражит совесть, дабы она никогда не успокоилась, дабы культура не затянулась бесчувственным защитным рубцом, отделавшись для приличия ежегодными днями повиновения", а значит добродетельный автор обязан расцарапывать струп в надежде, что это поможет предотвратить новые всеожжения. "Я, однако, не так экзальтирован и не так возвышен в духе, чтобы тешиться такими наивными надеждами. Реакция немцев после поражения была тройкой. Одни, потрясенные тем, что совершил их народ, полагали, как Томас Манн, что стена позора на тысячелетия отделит Германию от человечества. То был голос немногочисленных единиц, преимущественно эмигрантов. Большинство пыталось отмежеваться от преступления, спрятаться за каким-нибудь алиби, подчеркивая ту или иную меру неучастия, несогласия с убийством, незнания, а те, кто почестней — полузнания, парализованного страхом. В этих голосах все звучало

на ноте "не": не знали, не хотели, не участвовали, не могли, не сме- ли — все сделал Кто-То Другой. Наконец немногие обратились к покаянию, чтобы вымолить, выпросить прощения за достойные сожаления дела, чтобы хоть как-то заплатить за причиненное зло, побрататься с уцелевшими жертвами в столь же отчаянном, сколь и ошибочном убеждении, будто тут вообще кто-то имеет право от- пустить грехи, будто какой-то человек, какая-то организация или правительство могут стать посредником между Германией и ее пре- ступлением. Впрочем, это благородное безумие заразило и кое-кого из уцелевших.

А что стало с самим преступлением, пока одни его клеймили, другие от него открещивались, а третьи хотели искупить? Оно оста- лось так и не проанализированным до конца. Смерть уравнивает всех погибших. Жертвы Третьего рейха не существуют точно так же, как шумерийцы и амалекитяне, ибо умершие вчера становятся тем же "ничто", как те, что умерли тысячелетия назад. Но геноцид сегодня означает нечто иное, нежели тогда; и меня интересует тот человеческий смысл абсолютного преступления, который не исчеза- ет вместе с телами жертв, который остается с нами и который мы обязаны распознать. Это понимание является нашим долгом, даже если оно не окажется эффективным средством профилактики пре- ступления, ибо человек обязан знать о себе, о своей истории и при- роде больше, чем ему выгодно и удобно в чисто практических интересах. Поэтому я взываю не к совести, а к разуму".

Затем Асперникус обращается к неогитлеризму. Если бы неогит- леризм, говорит он, заявлял о себе совершенно откровенными дек- ларациями, это не показалось бы, в конечном счете, чем-то удиви- тельным сегодня, в нашу сверхлиберальную эпоху, примирительно равнодушную к любому эксцессу и любому богохульству. И грех жаловаться на недостаток экстремистских деклараций и программ. Уж если де Сад отваживался во времена окостенелых норм в оди- ночку провозглашать убийства и пытки средствами достижения полноты существования, почему бы не появиться сегодня группе или крайней фракции, которая провозгласила бы аналогичную программу в отношении целых народов? Тем не менее геноцид не стал предметом откровенной похвалы. Никто не заявляет, что создает движение, которое займется совершенствованием челове- чества с помощью массовой резни, что речь идет о том, чтобы тех или иных людей, вредителей, эксплуататоров, паразитов, заклея- менных расой, верой, собственностью, лишить свободы, изолиро-

вать, а потом сжечь, отравить, зарезать, причем вместе с грудными младенцами, всех до единого — во всем нашем мире, переполненном экстравагантностей, переходящих в безумие, нет таких программ, провозглашаемых открыто. Тем более никто не провозглашает, будто акт лишения свободы и уничтожения доставляет приятные ощущения, а поскольку приятные ощущения нужно умножать, то эти действия будут так идеально организованы и усовершенствованы, чтобы как можно большее количество жертв мучить как можно большее время. Ни один анти-Бентам не выступил перед нами с таким лозунгом. Но отсюда не следует, будто такие стремления не таятся в умах. Геноцид, как и преступление, совершаемое будто бы бескорыстно, якобы не приносящее участникам никаких сиюминутных выгод, не может уже обойтись без лицемерия. А поскольку лицемерие, как маскировка убийства, многолико, нужно прежде всего вскрыть лицемерие Третьего рейха и притом так, чтобы выявить его ответвления в современности.

Гитлеризм был выскочкой в политике, нуворишем, жаждущим непрерывного подтверждения достоинств, которых нахватался, а поскольку никто так не заботится о приличиях, как нувориш, пока он на виду, то аналогично вел себя и гитлеризм. Это видно по его лидерам. Но чтобы оценить их по достоинству, их нужно рассматривать на фоне их преступления. Гитлер был его официальным аскетом, отказавшимся от чувственных утех власти, вегетарианцем и любителем животных, отшельником в штаб-квартире, а точнее не столько был, сколько становился таким по мере того, как действительность расходилась с его фантазиями. На самом деле он верил только в себя, а о Провидении говорил, подчиняясь условностям, от которых, как всякий парвеню, никогда не мог освободиться. Он представлял собой, вообще-то, довольно редкую комбинацию особенностей, потому что искренне презирал гнусные делишки своих прихлебателей, хотя и потакал им, что мог себе честно позволить, потому что сам лишен был низкой склонности к интригам, не ведал чувственных удовольствий, не находил наслаждения в мерзостях — но таким ординарным порядочным человеком он был только в личном кругу: в борьбе за власть и в развязанной им войне он был лжецом, интриганом, шантажистом, садистом и убийцей, и именно эта несочетаемость его черт по сей день невероятно затрудняет задачу его биографам. Он был действительно добр к собакам, секретаршам, слугам, шоферам, зато собственных генералов велел вешать на крюках, как кабанов, позволил уморить голодом милли-

оны людей. Это было не так уж необъяснимо, как полагают, ведь каждый знает, как он себя ведет, на что он способен по отношению к другим людям в узком кругу повседневности, но кто скажет, как он себя поведет с глазу на глаз с целым миром? Это не означает, что в каждом притаился Гитлер, но лишь означает, что Гитлер забывал о личной порядочности, когда речь шла об истории; это была очень деланная порядочность, обывательская и, как таковая, непригодная для политики, здесь он не считался ни с чем, потому что тамошняя его добродетель проистекала всего лишь из приличий, а не из моральных принципов. Принципов он не имел или не считался с ними, когда речь шла о его грандиозных планах, которые один за другим оборачивались горами трупов... Гиммлер был школьным учителем преступления и одновременно его автодидактом, поскольку в школьном курсе еще не было предмета "геноцид". Он верил в Гитлера, в предвестия, приметы, предзнаменования, в тяжкую необходимость истребления евреев, в дело выращивания нордических героев, в обязанность демонстрировать личный пример, поэтому он и родственника отправил на смерть, ибо так было нужно, и посещал лагеря смерти, хоть его мучило от этого, и хотел ликвидировать Гейзенберга, потому что ему на миг показалось, что так надо, но потом все как-то обошлось. Люди этого покроя, как правило, — довольно тупые, циничные, зачастую не осознающие собственного цинизма, поднявшиеся из низов, с вечной периферии, лишённые специфических способностей, ничем не выделяющиеся, то есть ординарные, но бунтующие против своей ординарности, получили при гитлеризме небывалый шанс пожить, как им и не снилось. Им помогли в этом уважаемые институты тысячелетнего государства, его учреждения, суды, кодексы, министерства, административная машина, шеренги трудолюбивых чиновников, железный генштаб, из всего этого они скроили себе мундиры и знаки отличия и поднялись так, что с достигнутой высоты убийство стало казаться выражением исторической справедливости, грабеж — военной доблестью, каждую низость и мерзость можно было укрыть от наказания и облагородить подобным переименованием, и фокус этой подмены безотказно срабатывал 12 лет подряд. Если бы гитлеризм победил, говорит Асперникус, он стал бы "Ватиканом геноцида", приписав себе уже не подлежащую ничему суду непогрешимость в вопросах жизни и смерти.

В этом и состоит соблазн, застывший на дне бомбовых воронок, в которых погиб гитлеризм. Там и в пепле крематориев таится

ть, влекущая очарованием величайшего удовлетворения, какое может испытать человек. Не лихорадочная судорога потаенного убийства, но убийство как справедливость, как святой долг, тяжкий труд и высшая доблесть. Поэтому необходимо было отбросить все бескровные варианты "окончательного решения". Поэтому гитлеризм не мог пойти ни на какие договоры, ни на какие соглашения, ни на какие компромиссы с покоренными народами. Неприемлема была даже диктуемая тактическими соображениями умеренность или сдержанность. Речь, следовательно, шла не "только" о "жизненном пространстве", не "только" о том, чтобы славяне служили победителям, чтобы евреи попросту исчезли, были изгнаны, вымерли без потомства. Убийство должно было стать государственной необходимостью, орудием государственной политики, незаменимым ничем иным, и это произошло: оно им стало. Не хватило лишь крайней последовательности в расшифровке общих мест и угрожающих намеков, содержащихся в программе движения, чтобы практика получила полное обоснование в теории. Это оказалось невозможным из-за отсутствия симметрии между добром и злом. Добро никогда не ссылается в свое оправдание на зло, зато зло всегда оправдывает себя каким-либо добром. Потому-то во всевозможных утопиях полным-полно конкретных деталей, потому-то Фурье подробно расписывает устройство своих фаланстеров, зато в сочинениях гитлеровских ортодоксов нет ни слова об устройстве лагерей смерти, о газовых камерах, крематориях, печах, мельницах для перемалывания костей, циклоне и феноле. В принципе можно было бы обойтись без преступления — так твердят те, кто сегодня успокаивает Германию и весь мир книгами, объясняющими, что Гитлер не знал, не замечал, не хотел, не имел времени заняться, забыл, не был правильно понят, пренебрег, отложил, замышлял, что угодно, только не массовое убийство.

Миф о добром тиране и подчиненных креатурах, которые извращают его намерения, поразительно живуч. Если между мыслью Гитлера и состоянием, в котором он оставил Европу, существует хоть какое-то соответствие, то он хотел, знал и приказал. Впрочем, спор о его знании или незнании деталей геноцида не имеет никакого значения. Каждый великий замысел, добродетельный или злобный, отделяется в истории от своего создателя и осуществляется в коллективном действии по своей внутренней логике. Зло более многообразно, чем добро. Существуют теоретики убийства, сами неспособные убить муху, и практики, убивающие из любви к искусству,

хотя и лишённые способности первых: оправдывать преступления. Гитлеризм объединил в своей иерархии тех и других, потому что он нуждался во всех. Как инициатор современного геноцида, он опирался в своей лжи, как на две опоры, на **этику зла** и **эстетику китча**.

Этика зла, как известно, никогда не занимается самовосхвалением: зло всегда предстает в ней средством достижения какого-либо добра. Это добро может быть притянутым за волосы, но фигурировать в программе оно должно обязательно. Мы живем в эпоху политических доктрин. Времена, когда власть обходилась без них, времена фараонов, тиранов, императоров, прошли безвозвратно. Власть без легитимации невозможна. Доктрина национал-социализма уже с колыбели страдала интеллектуальной немощью ее авторов, путанная даже в своем плагиате, но психологически она была продумана чрезвычайно точно. Наше время не знает иных владык, кроме добрых. Добрые намерения победили во всем мире — по крайней мере, в декларациях. Нет уже Чингиз-хана — никто не рекламирует себя: “Атилла, бич Божий”. Но эта официальная доброта навязана нам исторически; противоположные стремления затаились и ждут своего шанса. Им необходима какая-то легитимность, ибо лишь тот, кто убивает собственноручно и для собственной выгоды, может сегодня не оправдываться. Гитлеризм давал такую легитимацию. Своим лицемерием он отдавал должное официальной добродетели, заверяя, что он лучше, чем его изображают, хотя был хуже, чем признавали в партийных кругах. Впрочем, теоретические рассуждения должны быть столь же крайними, как экзекуции, которым они посвящены. В “120 днях Содомы” де Сада граф де Бланже, обращаясь к женщинам и детям, которых ожидала мучительная смерть во время его оргий, избрал — со 150-летним упреждением — тот же тон, в котором были выдержаны суровые обращения гитлеровских лагерных комендантов к новоприбывшим узникам, ибо он предсказывал им горький удел, но не конец, угрожая смертью лишь как наказанием за возможные проступки, а не как вынесенным уже приговором. Хотя на деле Третий райх занимался уничтожением евреев, в его программах никогда и нигде не появлялся параграф, возвещающий: “Всякий еврей да будет уничтожен”. Граф де Бланже тоже не объявлял жертвам, что их судьба уже решена, хотя ему ничто не мешало, поскольку они были в его полной власти. Де Сад разве что наделил своего чудовищного героя большим красноречием, чем то, на которое способны были

эсэсовцы. Какой-нибудь лагерный комендант обращался к ново-прибывшим с заведомой ложью, зная, что они ухватятся за эту ложь, как за спасение, потому что она обещала им хоть и трудное, суровое, но какое ни на есть существование, а значит — жизнь.

Принято считать, что комедия, которую сразу после этого разыгрывали палачи, направляя узников в так называемые “бани”, где их душили циклоном, была продиктована чисто практическими соображениями: надежда, возбужденная обещанием вполне естественной для новоприбывших бани, усыпляла их подозрительность, предотвращала отчаянные действия и склоняла к прямому сотрудничеству с палачами. Поэтому они торопливо выполняли приказ раздеться догола, вполне понятный в инсценированной ситуации. И только в силу этой инсценировки толпы, вываливающиеся из очередных эшелонов, шли на смерть обнаженными. Объяснение это кажется столь очевидным, что все исследователи геноцида принимали его, даже не пытаясь искать иной причины обнаженности жертв, совершенно избыточной в рамках предуготовленной инсценировки. И все же, говорит Асперникус, хотя порномахия де Сада была очевидным извращением, а нацистский геноцид, как убийство, поставленное на конвейер, до самого конца подчеркивал свое административное пуританство в отношении к жертвам, и там, и тут они должны были умирать обнаженными — и совпадение это не случайно. Неправда? Тогда почему же даже самые бедные из бедных, даже еврейская гольтьба из галицийских местечек обязана была снимать свои лохмотья и обнажаться догола над общей могилой? Ведь эту толпу, которая ожидала автоматной очереди, уже нельзя было обмануть никакими рассказами о бане. Не так поступали с заложниками или захваченными с оружием в руках — те падали в ров в залитой кровью одежде. Только евреи должны были встречать смерть обнаженными. Говорят, что бережливым немцам и тогда жаль было портить одежду. Это вторичное, лживое объяснение. Дело было не в одежде — сваленная горами на складах, она часто ветшала и гнила там.

Даже как-то странно: евреи, захваченные в бою, как, например, в Варшавском гетто, не обязаны были раздеваться перед расстрелом. И еврейские партизаны могли умереть одетыми. Обнаженными умирали беззащитные, старики, женщины, калеки, дети. Обнаженными уходили в ров, как обнаженными пришли на свет. Убийство становилось подчас суррогатом справедливого и заботливого приговора. Палач предстал перед толпой обнаженных

людей, уже готовящихся к смерти, не то отцом, не то любовником, он уделял им справедливую смерть, как отец уделяет сыну розги, как любовник, всматриваясь в наготу, уделяет ласки. Возможно ли? Допустимо ли говорить тут о каком бы то ни было соответствии с актом любви, пусть даже чудовищно спародированном?

Чтобы понять, почему это происходило именно так, говорит Асперникус, следует обратиться ко второй, после этики зла, опоре гитлеризма, каковой является китч.

Это понятие Асперникус ограничивает следующим образом: нечто, созданное впервые, не может быть китчем. Китч всегда подражание тому, что некогда сверкало в культуре своей подлинностью, но повторялось и вылизывалось так долго, что в конце концов сошло на нет. Это поздняя версия, вроде дешевой копии гениального образца, подправленной тупыми подражателями, которые убивают линии и цвета оригинала, кладут все больше красок и мазков, следуя все более дешевым вкусам, ибо китч преднамеренный, гордящийся собой, утонченный — это обычно уже конец пути, это старательно отработанная, продуманная во всех деталях деградация, это структура в состоянии схематичного окостенения. Так называемый дурной вкус проявляется в китче непредумышленной комичностью напыщенной до предела символики. Китч, как основу гитлеровского стиля, можно обнаружить во всех его начинаниях. В архитектуре он проявляется в монументализме навтыяжку, в пузатых, точно на сносках, пантеонах, в правительственных зданиях, устрашающих своей громадностью, в дверях и окнах, рассчитанных на великанов, в барельефах, изображающих обнаженных силачей и обнаженных богинь, стоящих по стойке "смирно", ибо этот китч должен был внушать людям если не страх, то униженное восхищение, как основу их поведения, а потому, внутренне пустой, он и заявлял о себе с такой напыщенностью. Образцы можно было заимствовать из Греции, из Рима, из гюисмановского Парижа, но в деле массового истребления китчу нечем было поживиться, ибо если и можно с великодержавной помпезностью подражать почтенным стилям прошлого, то где взять образцы для массовой резни? Поэтому тут на первый план вышла техническая сторона побоища, и орудия смерти стали функциональными, ибо не стоило вкладывать особые средства в совершенствование техники, коль скоро можно было заменить ее сотрудничеством самих жертв, часть которых, пока они еще оставались в живых, приспособливали для перевозки, досмотра и закапывания трупов. И все же китч проник в

лагеря и вкрался в драматургию конвейерной смерти, хотя никто этого не замышлял.

Де Сад, будучи потомственным аристократом, не должен был приукрашивать описываемые им оргии, поскольку имел врожденное чувство собственного достоинства и потому, в соответствии со своим кредо либертинца, смело лгал и пренебрегал внешними признаками аристократизма, подсознательно уверенный, что знатности его ничто не может повредить: даже если бы ему была суждена гильотина, на ней погиб бы маркиз Донат Альфонс Франциск, сын графа де Саде, по матери происходящий из побочной ветви королевского дома Бурбонов. Но завоевание власти гитлеризмом было взлетом люмпенов, простолюдинов, ефрейторских детей, помощников пекарей и третьесортных писателей, которые жаждали возвышения, как спасения, между тем как личное участие в резне, к тому же непрерывное, казалось, затрудняло им этот подъем. К какому же образцу они могли стремиться, как подражать и кому, чтобы, пусть и по колено в крови, не забыть за ней о своих горних устремлениях? Самый доступный для них путь, китча, повел их далеко — к самому Господу Богу... конечно, к суровому Богу—Отцу, а не к этому растяпе Иисусу, Богу сострадания и искупления.

В каком виде должны люди предстать на Страшный суд? Обнаженными. Это и был Страшный суд: всюду простерлась долина Иосафата. Обнаженные, уничтожаемые, они должны были сыграть роль осужденных в спектакле, где все было фальсифицировано, от доказательств их вины до мнимой беспристрастности суда — за исключением приговора. Но эта ложь тем не менее оборачивалась правдой, поскольку им действительно предстояло погибнуть. А так как их судьбы находились в руках убийцы, тот зачастую испытывал ощущения садистского удовольствия и божественного всеислия одновременно. Разумеется, в таком описании сразу видна омерзительная фарсовость этой мистерии, которая разыгрывалась в десятках мест, день за днем, в течение многих лет. Конечно, — драматургия претерпевала изменения, была зыбкой, кое-где церемониал экзекуции упрощался до лапидарного минимума. Воистину трудно было играть роль Бога—Отца в этой пьесе, разыгрываемой в грязных декорациях барачных и проволочных заграждений, трудно было выступать весной, летом, осенью, пропуская мимо себя миллионы, слишком однообразно, уныло, скучно было бы играть такую роль без небрежных сокращений, без растущего пренебрежения, поэтому удовлетворялись фрагментом, каким-нибудь эпизодом Страшного

суда, генеральной репетицией — лишь бы финал был подлинный. Исполнение становилось все расхлябанней, трупы не хотели гореть, из гробов проступала кровь, летом смрад сжигаемых тел доносился даже до расположенных поодаль домов лагерной obsługi — но по крайней мере смерть никогда не бывала мнимой. Этот раздел “Окончательного решения как Страшного суда” Асперникус завершает словами:

“Я знаю, что никто из участников этих событий, ни палачи, ни жертвы, не сумеют мне поверить и сочтут мои выводы порождением безответственной фантазии. Тем более, что погибшие уже ничего не скажут, и хоть уже сорок лет отделяет нас от их гибели, до сих пор не появились воспоминания палачей, которые — пусть бы и анонимно — описывали свои ощущения. Чем объяснить это абсолютное молчание, столь противоречащее естественному человеческому стремлению запечатлеть ярчайшие из жизненных впечатлений, не каждому выпавшие на долю, это абсолютное отсутствие даже псевдонимных исповедей, которые должны были, в конечном счете, вытеснить литературные апокрифы, если не равнодушием актера к давно отыгранной роли? Согласимся, читатель, что эти актеры были всего лишь марионетками, ибо абсурдно и глупо было бы думать, что они понимали, что творят, что они сознательно воплощались в роль Бога, справедливо отнимающего жизнь. Ведь это был чудовищный китч, а первейшая особенность и первейший принцип китча состоят в том, что для своих участников он является не китчем, а тем, за что они его субъективно принимают: серьезной живописью, подлинной скульптурой, истинной архитектурой — и потому тот, кто усмотрел бы в своем творчестве признаки китча, не стал бы ни продолжать его, ни завершать.

Я утверждаю нечто совершенно иное — лишь то именно, что люди ни поодиночке, ни в массе не могут шагнуть, поздороваться, совершить поступок, не следуя какому-либо образцу, какому-нибудь стилю и примеру. Стало быть, какой-то образец, какой-то стиль попросту должны были заполнить беспрецедентную пустоту массового уничтожения людей в нашу промышленную эпоху, и заполнили ее те, что были самыми знакомыми, впитанными с детства — образцы и символы христианства, от которого они отказались, придя к гитлеризму, но которое так и не смогли вытравить из себя окончательно. Ведь ни в СС, ни в СА, ни в партийном аппарате не было мусульман, буддистов, даосистов, как не было, наверняка, верующих христиан на лагерном плацу, и потому там возник кровавый китч, ибо что-то должно было восполнить отсутствие стиля, и его восполнило то, чем палачи располагали как бы инстинктивно, поскольку ни “Майн кампф”, ни “Миф XX века”, ни вся прочая гитлеровская писанина не содержали ни единого слова, инструкции, заповеди, способной наполнить эту пустоту конкретным содержанием. Тут вожди предоставили их самим себе, и потому возник этот кощунственный китч. Разумеется, его драматургия была жалким упрощением, заимствованным из школьного учебника, остатками стершихся воспоминаний, вынесенных с уроков закона Божьего, не только бессознательным, но и бессмысленным его повторением, поэтому в нем сохранились лишь отрепья

первоначальных символов: всемогущество, высшая справедливость — да и то, скорее, как образы, а не понятия. Это косвенно подтверждается и тем, что оккупационные власти ни в чем не были так заинтересованы, как в том, чтобы убийство выглядело как справедливый распорядок вещей. Обычно считается — и сегодня с этим согласны все исследователи гитлеризма, — что евреи были “идефикс” Третьего рейха, которой Гитлер самоубийственно заразил свое движение, а потом всю Германию, что она представляла собой манию преследования в агрессивной форме, истинную социальную паранойю, ибо все зло усматривали в евреях, а для тех, кого никак нельзя было к ним отнести, изобрели термин “белые евреи”, применявшийся со всей систематичностью несмотря на всю его абсурдность. Но из этого следует, что сутью еврейства не была, вопреки каноническим догмам гитлеризма, **раса** — ею было **зло**, а его частным воплощением в особо концентрированной форме оказались евреи. Поэтому они стали для рейха проблемой номер один, личным делом национал-социализма, их уничтожение — исторической необходимостью, и так был осуществлен этот план. Главное место в традиционном преследовании евреев занимают погромы, но немцы не прибегали к ним почти никогда. Они совершали их в момент захвата власти, когда нужно было выйти на улицы и увлечь за собой колеблющихся, а решительным дать возможность “показать себя”; но гитлеризм окрепший, победоносный, к погромам прибегал крайне редко, разве что когда побежденные армии отступали, а в оставленные города входили немецкие авангарды, да и то не всегда. Можно думать, что они воздерживались от этого потому, что погромы с их грабежами и хаотическим уничтожением еврейской собственности — это кровавое месиво, сродни **обычному преступлению**, а для них преследование евреев было не преступлением, а его диаметральной противоположностью — воздаянием наивысшей справедливости. Евреев должно было постигнуть то, что им справедливо и по закону надлежало. Это замечание объясняет, почему немцы избегали погромов, но не объясняет, почему они, всегда готовые противопоставить русским партизанам перевербованных дезертиров и пленников, вроде власовцев, всюду создававшие отряды СС из “нордических добровольцев”, никогда не использовали иноплеменников при ликвидации евреев, кроме исключительных случаев, продиктованных сиюминутной необходимостью или недостатком собственных сил. Такое действительно случалось, но крайне редко, и в каждом отдельном таком случае, можно, опираясь на документы, доказать, что решение задействовать в акциях истребления не-немцев было вызвано суровой необходимостью. Это показывает, в какой степени геноцид был для немцев “личным делом”, сведением окончательного счета, который никто вместо них не имеет права сводить. Иными словами, в понимании самих исполнителей геноцид вышел за рамки провозглашавшихся ими категорий воздаяния и мести и стал чем-то большим: их исторической миссией. Что же означала эта миссия в конечном счете? Никогда не называвшаяся открыто, она образует неясную область, в которой сквозь технологию и социографию геноцида проступает иудео-христианская символика, преобразованная для целей убийства. Словно будучи не в силах убить Бога, немцы убивали его “избранный народ”, чтобы занять его место и благодаря этому кровавому восшествию на престол — в чужом обличье — стать самозваными избранниками истории. Антисеми-

тизм Третьего рейха в основе своей был, следовательно, предлогом: его идеологи не были настолько безумны, чтобы посягнуть на теоцид, отрицание Бога словом и циркуляром их не удовлетворяло, церковь можно было преследовать, но нельзя было до конца уничтожить, это было еще преждевременно. И тут под боком оказался народ, который породил из себя христианство, и уничтожить его означало приблизиться к покушению на самого Бога настолько, насколько это вообще в человеческих силах. Геноцид был Анти-Искуплением: с его помощью немцы освобождались от завета с Богом. Но освобождение это должно было быть полным, оно не могло ограничиваться переходом из-под Божьей опеки под опеку противоположного знака. Оно не могло быть жертвоприношением Дьяволу, — но должно было стать бунтом против всех, что черных, что пламенных небес. И хотя во всей империи никто никогда ТАК не говорил, молчаливое понимание сверхчеловечности задачи было коллективной тайной преступного сговора. Ненависть к жертвам имела оборотной стороной привязанность, как это продемонстрировал один высокий эсэсовский чин, когда, стоя у окна поезда, шедшего через заросшие чахлыми сосенками пески, сказал собеседнику: “Здесь лежат МОИ евреи”. МОИ евреи! Его связало с ними их убийство. А простодушным исполнителям трудно бывало порой понять, почему вместе с матерями должны гибнуть и дети, и они задним числом изобретали отсутствующую детскую провинность: когда матери, только что прибывшие в лагерь, пытались отречься от своих детей, чтобы попасть на работу и выжить (только бездетных направляли на работу), их тут же отправляли в печь вместе с детьми — недостойные матери получали заслуженное наказание, а то, что вместе с ними гибли их дети, уже не трогало “возмущенную совесть” исполнителей. Я не утверждаю, будто среди этих справедливо разгневанных убийц были читатели маркиза де Сада, который ста пятьюдесятью годами раньше уже описал аналогичную комедию, вплоть до символического убийства Бога. Эсэсовцы не были плагиаторами. Умиляясь на детей, черепа которых они разбивали несколькими минутами спустя в “праведном” гневе, лицемерность которого тут же и обнаруживалась, они бессознательно демонстрировали верность затаенной цели геноцида как суррогата Богоубийства..”

(окончание следует)

ОЧЕРКИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Из выступления на пресс-конференции, посвященной открытию V Международных Сахаровских Слушаний, 9 апреля 1985 года.

Хотел бы сразу уточнить, что Фонд помощи политическим заключенным и их семьям (фонд Солженицына) является лишь частью явления, называемого помощью узникам совести Архипелага ГУЛаг. Даже не удаляясь далеко в историю, нельзя не вспомнить, что уже начиная с 60-х годов, в Союзе стихийно собирали "по трешке" на посылки, передачи и поездки родных в лагеря — это мне и многим сидевшим в мое время, лет за десять до создания Фонда, хорошо известно и памятно. В Литве, среди распространявшихся через меня средств, добровольные частные пожертвования составляли примерно 20 процентов.

Это имеет принципиальное значение. По моему убеждению, кроме основной задачи — помочь физически выжить несправедливо преследуемым — у Фонда всегда была другая, быть может, не менее важная. Это — задача создать вокруг себя атмосферу доброты, участия и доверия, единственного, быть может, средства против эпидемии равнодушия и безразличия, распространяемой советским

Валерий Смолкин

ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ

тоталитаризмом. Дело милосердия всегда стояло на добровольных безымянных помощниках, делающих его скромно и без огласки, и я здесь хочу сказать им огромное спасибо.

И еще я хотел бы взять на себя смелость посоветовать всем — читайте списки политзаключенных и узников совести ГУЛага. Задумайтесь, почему многие фамилии вам неизвестны, почему об этих людях ничего не говорится? Может быть, они стоят вашего упоминания наряду с теми, о ком вы вспоминаете чаще? Думаю, нам не нужны памятники безымянным жертвам, живые должны помнить и живых тоже.

“КОЛОКОЛЬЧИКИ”

Никак не скажешь, что о ленинградской группе “Колокол” ничего не известно. В первом выпуске сборника “Память” опубликован приговор и краткая, но содержательная статья Н. Пескова. Особая ее ценность — в резюме несохранившихся печатных материалов группы: книги Валерия Ронкина и Сергея Хахаева “От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата” и номеров издававшегося ими журнала, именем которого группа названа. Вышли на Западе также воспоминания адвоката Ронкина Ю.И. Лурьи. О деятельности молодых марксистов говорится в них вполне уважительно к немалым — по мнению автора — размерам того, что они успели сделать за два с лишним года — с конца 1962-го до ареста в июне—августе 1965-го. Да и в книгах они упоминаются — и у Людмилы Алексеевой, и у Михаила Геллера и Александра Некрича*.

Но главное — не затерялись они в потоке жизни за эти 20 лет, а проявляют себя разнообразно. И талантливо. Ронкин и Хахаев продолжают писать и публиковать на Западе социально-экономичес-

* К сожалению, в книге последних “Утопия у власти” — ч. 11, стр. 354 — коротенькое упоминание о группе грешит — как бы это мягче сказать — небрежностью, что ли. Сергей Мошков назван там Юрием Машковым. К семи годам лагерей строгого режима (и к трем годам ссылки в придачу) приговорены были не все участники группы, а только В. Ронкин и С. Хахаев, остальные отделались меньшими сроками. Да и “Союза коммунаров” никогда не существовало, разве что на обложке “Колокола”, в чем легко можно убедиться, прочтя приговор, а уж КГБ меньше всего стремился преуменьшить наши антисоветские заслуги.

кие статьи*^{*}, а Борис Зеликсон, к примеру, хорошо известен среди кардиологов как создатель оригинального аппарата “искусственное легкое”. И, несмотря на своеобразие путей и несхожесть натур, все они считают, что тогда, в 65-м, им крупно повезло. Конечно, не сразу ощутили они этот поворот судьбы, как счастливый. Первое чувство после посадки было — будто что-то треснуло и непоправимо поломалось в жизни. Но скоро выяснилось, что жизнь продолжается и — более того — повернулась к ним такой по-человечески важной стороной, о которой, не случись беды, они бы не имели никакого представления. Судьба их сложилась счастливо еще и потому, что им, правда, приходилось терять случайных приятелей, но число друзей — множилось. Они-то и называли их ласковым именем “колокольчики”.

...Валя Чикатуева срисовала в Публичке шрифт с титула герценовского журнала и сделала по нему клише. Нумерация ленинградского “Колокола” продолжала герценовскую. Они не сомневались, что наследуют русскую демократическую традицию... У “колокольчиков” была политическая программа — демократическое плюралистическое общество с уравнительными тенденциями. Основной вывод “От диктатуры бюрократии...” почти дословно совпадает с выводами Милована Джиласа в “Новом классе”. Но к моменту знакомства с книгой Джиласа весной 65-го, брошюра Ронкина и Хахаева ходила по России уже года два — по десяти областям и среди сотен людей. По теперешним масштабам — капля в море, но самиздат тогда еще только учился ходить, да и потом не капля важна, а важно, видна ли в ней радуга. Прибавьте к этому читателей журнала да листовки — кто знает, в скольких руках они побывали.

Я — единственный из группы — перебрался на Запад. Мне дано лишь право вспоминать прошлое, радоваться, что все мои друзья живы-здоровы, писать им и надеяться на ответ. Но отказаться от попытки объяснить — хотя бы самому себе — откуда мы пошли и почему — не в силах.

Рубикон — дело Синявского и Даниэля, мы счастливо совпали с ним по времени, — отделил нас от последующей генерации, для которой контакт со свободным миром стал смыслом и надеждой. Поди тут разберись — где начала, а где концы: самиздат и тамиздат, “Хроника текущих событий”, возвращающаяся домой в издании “Хроника-пресс”, Декларация Прав Человека и Хельсинкские соглашения, давшие толчок целому движению, а то — в свою очередь — Сахаровским слушаниям и другим регулярным собраниям на Западе. Процесс восстановления десятилетиями вырубаемой Памяти становится едва ли не главным достижением времени. Пишется история, вчерашняя —

* См., напр., Ронкин Валерий. Хахаев Сергей. Прошлое, настоящее и будущее социализма. — В “Поиски”, Париж, изд-во “Поиски”, 1981, с.с. 7—30.

заново, новейшая — по-новому. Это уже взгляд на прошлое — извне, свободный и свежий, пристальный и как бы свысока.

Мы же еще жили в этом “прошлом” и даже его активном отрицании питались его соками. Ленин был для нас законным отцом бесчеловечной системы, но Маркс, особенно ранний, принимался без возражений. Хрущевские полукровения не затронули тоталитарных основ и потому не исключили рецидива сталинизма. Реабилитация и первая лагерная литература приоткрыли завесу над кошмарами ГУЛага, но великой книги Солженицына мы еще не знали.

Короткая оттепель в искусстве была нами, конечно, замечена, однако несравненно большее влияние оказали бурные события в науке. Возрожденные генетика, кибернетика, теория относительности, квантовая физика — вся эта мифология середины XX века — пьянила нас, но и требовала не менее радикального пересмотра общественных идей. Научно-технический бум и поставленные кажущимся всемогуществом науки этические проблемы имели, кажется, решающее значение в смене лириков на физиков на общественной арене: признание, пусть относительное, прав личности, творца в науке и технике, не могло не привести к осознанию приоритета прав человека над правами государства.

Если пытаться одним ключевым словом определить символ нашей социалистической веры, то это будет, по-моему, слово “справедливость”.

Миллионы пострадавших от репрессий правы хотя бы в силу принятых на себя страданий, и потому главная эмоция, толкавшая нас к сопротивлению, — сострадание. К прошлым неисчислимым жертвам и к возможным жертвам будущим. Казалось важным в интересах будущего раскрыть социальную причину трагедии, видевшуюся нам в трансформации идеи бесклассового общества в классово-бюрократический строй тотального угнетения и бесправия. Жаркие споры о вреде и пользе уравниловки не прекращались в нашей среде. Нас, признаться, смущал жесткий рационализм основных посылок, но иррациональность, случайность казались нам еще менее надежными. Ведь и великий Эйнштейн до конца дней не принял победившей в науке вероятностной картины мира и пытался найти для нее более устойчивое научное обоснование, чем игра в кости. Во всяком случае, мы не были слепыми и твердокаменными ревнителями будто бы открывшейся нам “абсолютной истины”, а наоборот, видели в “я знаю, как надо”, — наибольшее из зол.

Как выяснилось по окончании следствия, “большой дом” устроил настоящий конкурс на попадание в группу “Колокол”, а значит и в лагерь. Претендентов было еще не менее 15-ти — у стольких друзей-товарищей арестованных, бывших студентов-технологов, обнаружил КГБ “состав преступления”: три человека на место, почти как при поступлении в их институт. Дискриминации по “пятому пункту” в этом конкурсе не было — более трети группы оказались евреями, что выгодно отличало его от вступительных в хорошие ленинградские вузы. У КГБ, похоже, были свои резоны не переходить границы первого десятка — не группа тогда уже была бы, а чуть ли не массовое движение технарей.

Еврейская проблематика никогда нами не педалировалась; национальные чувства не играли существенной роли в нашем выборе пути. Но вот ставшая

легендарной историей. Сережа Хахаев студентом был членом институтского комитета комсомола. Как-то на одном из заседаний он встает и говорит: “Когда же покончат в институте с антисемитизмом? За все время существования физико-химического факультета, на котором я учусь, туда не был принят ни один еврей. Не говорите мне, что еврейские ребята не выдерживают конкурса, вы ведь и сами в это не верите. Поймите, мы теряем на этой дискриминации лучших, наиболее способных студентов”. — Не знаю, только ли благодаря Сережиному выступлению, ставшему мгновенно известным всему институту, но на следующий год на этот “закрытый” факультет был принят первый еврей...

Почти все мы были активными комсомольцами. Кто заседал в разных комсомольских комитетах, кто отличился в борьбе с уличным хулиганством и охранял спокойствие на танцах в окраинных рабочих клубах, кто просто был заядлым туристом. Комсомольского своего детства многие стыдятся. По-моему, глупо — стыдиться детства. Значительно здоровее для взрослой души его любить: не к лицу отворачиваться от истоков, замутнять их или скрывать. А вот по какому руслу плыть дальше — это уже выбор. И одна из заслуг нашего поколения — то, что дети наши научились раньше нас выбирать себя. Всему свое время, и хорошо бы не перекрашивать его задним числом.

Первый свой раунд — следствие — группа “Колокол” провела не без потерь. Конечно, на той стороне — пытки одиночной камерой и многочасовыми допросами, когда они наваливаются на тебя всей сворой. И огромное количество изъятых при обысках материалов... Ох уж эта конспирация. Печатание книги “О диктатуре бюрократии...” особых следов не оставило — отходами фотобумаги растапливали печи. Журнал “Колокол” делался весной и в начале лета, печка уже не топилась, копирка и плохо отпечатанные листы аккуратно в нее складывались, откуда кагебисты их и выгребли... Но факт остается фактом — составить обвинительное заключение особой трудности не представляло, не было недостатка не только в уликах, но и в признаниях. Сильно мешал им найти верный тон их марксизм. Куда как скверно, когда у палача и у жертвы — одна доктрина: поди докажи, кто ренегат. Твердость и воля к сопротивлению обретались не вдруг и не на почве идеологии. Но и на следствии, когда другу грозила опасность, они наперегонки пускались брать всю вину на себя. Бесполезное это было занятие.

Как ни бились настырные следователи, не могли выяснить — Ронкин или Хахаев были авторами седьмой главы книги: каждый из них брал ее на себя, ведь именно в ней был усмотрен “подрыв власти”. Она предлагала сокрушить диктатуру бюрократии методами, весьма схожими с революционной тактикой ленинской книжки “Что делать?”, неудачной калькой с которой эта глава и была. (Ох и крепко досталось бы уважаемому автору “Что делать?”, попадись он с этакой литературой лет этак через... дцать, не то что в старое

доброе время.) Бились-бились гебешники и решили, естественно, разделить и авторство, и "вознаграждение" поровну:

Предчувствия меня не обманули — в революционеры я не вышел изначально. Сколько страху натерпелся, когда вместе с Люсенковой Климановой выпало нам расклеивать листовки на историческом факультете университета в ноябре 64-го — не передать. 20 лет прошло, а как вспомню — в дрожь бросает. Будто вот сейчас кто-то сзади положит тяжелую руку на плечо и тихо, почти шепотом скажет: "Пройдете с нами". И — конец, и в пропасть головой. До сих пор не понимаю, как тогда обошлось, видимо, Люся хорошо меня прикрывала. Наклеили мы несколько листовок на стендах — шли занятия, в коридорах редкий студент пробегал. А оставшиеся положили пачкой в раздевалке на столик возле зеркала, где девушки сумочки свои и перчатки кладут, когда прихорашиваются. Положили и пошли к наберезной — главное, не бежать и не оборачиваться, — медленно пошли, под ручку, будто парочка влюбленных. Ну прямо, как в кино про революцию...

Или этот эпизод с гектографом. Сделать его так и не успели, хотя все было готово, даже дефицитную желатину раздобыли. Правда, пришлось для этого Ронкину заказать ее для своей исследовательской работы по стабилизации каучуковой крошки. При нашей-то свободе печати множительная техника, как известно, большой криминал, а за приоритет в ее разработке спорят и спорят на следствии и на суде Иофе, Смолкин и Мошков.

Тут к месту вспомнить, как стал нашим поделником мой лучший друг Сергей Мошков. Сейчас, знаете ли, нет смысла открещиваться, но в то время, как в моей отдельной квартире печаталась книга "От диктатуры бюрократии...", да часто и в то, когда делался журнал, я пропадал в филармонии — любители музыки помнят, какие удивительные концерты были в начале 60-х в Москве и в Ленинграде. Два билета так и остались неиспользованными — были они на 15-е июня, а 12-го меня арестовали. Ходил я вечерами на концерты, а у друга моего были свои ключи от моей квартиры — он частенько ночевал у меня, если допоздна работал на кафедре генетики у проф. Лобашева, благо жил я на Васильевском, недалеко от университета. На этот раз в квартире было темно, но из маленькой комнаты слышны были знакомые голоса и виден странный красноватый свет в щели под дверью. Сережа вошел и застал тезок наших Ронкина и Хахаева за печатанием. Познакомились. "Что это вы здесь, ребята, делаете?" — поинтересовался Мошков. — "А вот книгу печатаем, так-то и так-то называется". — "Отлично, — говорит Мошков и — на правах хозяина, — давайте перерыв сделаем, чайку попьем — с утра ничего не ел. Вы мне расскажете, а потом я вам помогу, опыт в фотографии имею". Так вошел в компанию технологов единственный биолог.

Суд был "открытым", кроме гебешников и партработников на него пустили и родственников подсудимых. Настроение на суде — скорее сочувственное. Не было ни одного знавшего их свидетеля, который не давал бы своим товарищам самой лестной характеристики. Однажды судья не выдержал: "А что-нибудь плохое о подсу-

димом вы сказать можете? Нет, так прекратите, это мы уже слышали". Аплодировать приговору не решился никто. Он был воспринят как суровый, хотя только лидеры получили по "десятке". Остальные отделались сроками не более 4-х лет, что по теперешним меркам совсем не страшно. Во дворе суда друзья пели любимую студенческую песню:

Веселее, друзья, идите,
Первым делом — не унывать.
От студенческих общежитий
До бессмертья — рукой подать.

В "воронке" ее подхватили:

Нам останется вечно дорог
Этот круг молодых ребят.
Старость нас не застанет в 40,
Чуть покажется в 60...

Везли их всех вместе больше двух недель по пересыльным тюрьмам Пскова, Горького, Рузаевки и Потьмы. Все ждали — когда же они друг другу горло перегрызут, выясняя, кто что сказал на следствии и почему. И разговор об этом шел в дороге, и они постигали в нем главную житейскую мудрость — прощать. Их счастье было в том, что трудно было намеренно собрать вместе столь разных по темпераментам, интересам, вкусам людей. Единство возможно только, когда нет единообразия, и трехмерность мира не превращается в линейность позиции.

Как всякая жизнь под замком, этап оставляет по себе анекдоты. Герой одного из них — Боря Зеликсон, балагур и выдумщик, изобретатель лучшей в мире системы тюремного перестукивания и создатель вечно живой философии — халдабурдизма. В горьковском центре на прогулке из соседнего сектора попросили покурить. Стали мы бросать вверх сигареты, но они либо падали обратно, либо застревали на сетке, которой затянут сверху прогулочный дворик. И тогда Боря предложил мне: "Ты — самый легкий. Забирайся ко мне на спину. Быстро!" Мне удалось под радостную матерщину урок перебросить им несколько сигарет, как заскрипела дверь загона и меня увели в камеру. Борька же без тени улыбки убеждал надзирателя: "Наклонился это я шнурки завязать, вдруг кто-то — прыг мне на спину, а тут и дверь открылась". И мент ушел, не заметив, что у Зеликсона — новенькие хромовые сапоги под брюками навывпуск.

...Они вошли в 11-ю политзону в Явасе в ясный теплый весенний день в марте 66-го. Семеро молодых людей (двух девушек — Люсю Климанову и Валю Чикатуеву — они видели в последний раз только на суде), шли гуськом по дороге от вахты к штабу в спортивных

костюмах, пальто и штормовках, с рюкзаками за спиной, кто в кепке, а кто и в шляпе — турпоход да и только. Плотной толпой окружили лагерники новоприбывших: этап в лагере, особенно такой большой — событие. Обычные вопросы — кто такие, откуда, статьи, сроки. Недоверчивых больше, чем доброжелательных: а, марксисты... И — за спиной, а то и в лицо: сосучатся, будут бегать на вахту друг на друга доносить, знаем мы этих краснопевцевых и меньшековых. (Московские марксисты Краснопевцев, Меньшиков и Рендель заканчивали свою "десятку" скверно. Первые два сотрудничали с лагерным начальством, так сказать, по идейным соображениям, не гнушаясь доносов на своих "не ставших на путь исправления" бывших товарищей, среди которых был и Леонид Рендель.)

Реакция у ребят на прогнозы была спокойной. Они верили в дружбу и считали себя "политиками", а кто из уважающих себя "политиков" вступает с тюремщиками в сотрудничество?

Два дня ходили они по лагерю стайкой: это было слишком праднично, а потому не могло скоро не кончиться. На третий — четвертый отправили в 1-ю зону, через девять месяцев снова перетасовали. Но они знали друг о друге все, вначале благодаря свиданиям, а потом, когда стали освобождаться, — из переписки. Испытанные приемы посеять рознь не дали желаемых результатов.

Вербовать в стукачи меня пытались вскоре после приезда в лагерь. И сразу стало ясно, что определили меня на работу в смоляной цех не случайно — там было чисто, тепло, вольные лаборантки рядом работали, — пряником в их игре был этот смоляной цех. Все шло по принятым стандартам — вызов в штаб будто за бандеролью, разговор: экивоки в сторону моего комсомольского прошлого, заверения, что ни на подельников, ни на Юлия Даниэля стучать не придется — мало ли в лагере настоящих врагов и убийц еврейских детей. Призывы подумать, хочу ли я вернуться в Ленинград или — прощай, любимый город... Отбивался как мог, но безуспешно, надо было послать их куда следует, да не смог. И вдруг осенило: "Дело, — говорю, — серьезное, пойду посоветуюсь с ребятами".

Гибешник озверел, требовал неразглашения, грозил карами, убеждал, что мне все равно не поверят, буду до конца дней в стукачах ходить. Но игра уже была не его, и я понял — спасен. Тогда мы были в зоне с Валерой Ронкиным и Вадиком Гаенко. Вечером устроили чаепитие в каптерке. Веселились, кто-то сказал — соглашаться надо было, и там свои люди нужны. В ту же неделю меня из смоляного цеха выкинули, да и в своей любимой квартире на острове Голодай больше никогда жить не пришлось.

Никто, кроме них самих, не верил в долговечность их спайки. Испытание лагерем, его рабством и его свободой мало какая группа выдерживала. Это может показаться странным, но идейный

спектр в лагере по-настоящему широк, прямо как на Западе. (Советский лагерь как школа свободы — не правда ли, неплохая тема для диссертации?) Но воспитанные в атмосфере идеологической стерильности и живущие в постоянном страхе перед всемогуществом гебешной слежки, лагерники, увы, не всегда успешно учились в этой школе, превращая порой идейные споры в потасовку, а то и опускаясь до глухой ненависти и страшных взаимных обвинений. Почему этого не произошло с “колокольчиками”? Да очень просто и банально — они любили друг друга:

Да будем мы к своим друзьям пристрастны,

Да будем верить, что они прекрасны.

Терять их страшно.. Бог не приведи.

Удивительная атмосфера создавалась тогда в политлагерях и вокруг них. Жены, матери, друзья политзаключенных держались вместе. Возвращение со свидания кого-либо одного ожидалось с нетерпением всеми. Надзирательницы на выходе из дома свиданий раздевали женщин донага, ощупывали каждую складку — информация уходила, открывая новые факты и новых людей. Все дороги в Мордовию — из Ленинграда, Прибалтики, Украины, с Кавказа — сходились в Москве. Москва стала главпочтой политлагерей и их главпосылцентром. Депеши шли во все концы страны и пересекали границы большой зоны. Искусство обходить казалось бы бесконечные и непреодолимые запреты и ограничения на продуктовые передачи в лагерь достигло своего совершенства в знаменитых во всех зонах печенках из бульонных кубиков. Низкий поклон женскому сердцу — это оно приоткрыло ворота политлагерей 60-х годов, и от этого лагеря перестали быть замогильно-страшными. Это их, женщин, самоотверженность и смелость -- у истоков правды о после-сталинских преступлениях режима, которая оказалась сильнее всей лжи советской пропаганды и стала действительной Хроникой “реального социализма”.

Конец 60-х по темпам духовных перемен был временем необыкновенно сгущенным. Группа “Колокол” — один из ручейков, влившихся в общий поток движения за гражданские права, среди деятелей которого “колокольчики” были своими. Кроме симпатий человеческих, общим было ощущение неутолимой личной боли за все, что произошло и происходит, и невозможности не сопротивляться лжи. Ибо если не ты — то кто же?

О МОЕМ ДРУГЕ

В поселке Индустриальном Омсукчанского района Магаданской области, где после пермских лагерей отбывает пятилетнюю ссылку Антанас Терляцкас, один из активнейших литовских общественных деятелей, умер летом 84-го года самый старый житель — ему было 59 лет. Теперь старейший — Антанас, ему — 56. Невеселые мысли лезут в голову. Неужели ему так и придется сгнуться на Колыме? Не шутка — четвертый уже арест с того дня, как — 16-летнего — поставили под расстрел. Срок продлить по новой лагерной статье — невелика работа, сколько уж было за последний год этих лагерных сроков. В таком настроении написал недавно Антанас далекому другу: “Хотелось бы встретиться, но это неосуществимая мечта. Остается лишь надежда встретиться в том, лучшем мире...”

* * *

Везли его в ссылку из Магадана на север в “воронке”. 600 километров, декабрь, сорокаградусный мороз с ветром. Запихнули в глухую кабинку, не повернуться, ног не размять: большой, крупный, железо со всех сторон обжигает. 14 часов по ухабам и рытвинам, закованный в ледяное железо. Как выжил — сам не понимает. Наверно, теплое белье, что жена успела в лагерь выслать, спасло. Тогда и заработал остеомиелит, от которого теперь страдает. Приехал на место глубокой ночью. Участковый ждет, горячим чаем, почти как друга молодости, встречает. Еще бы, со времен сталинской “Будь проклята ты, Колыма”, был Антанас первым политическим в его владениях — одни уголовники вокруг. Почти 30 лет ждал участковый своих старых знакомых политиков — дождался. Праздник души, можно сказать.

Письмо Антанаса с этим рассказом читала мне Аля, его жена, у них дома на самой окраине Вильнюса, посреди леса. Я любил там бывать. Квартира в деревянном старом доме, всегда блещущая какой-то особой бедной, почти нищей чистотой, зимой то жарко натопленная, то холодно-промозглая, хоть валенки надевай. Чего греха таить — и при Антанасе и — ясное дело — после его арестов все хозяйство — на Алиных плечах: Антанасу всегда не до этого. Детей трое. Теперь дети подросли (младшему, Антанасову любимцу Рамунасу, когда отца в последний раз арестовали, было 10 лет), так от старших — по внучке, а мама пожилая, больная. Попробуйте

в Вильнюсе в наше время уголь достать для отопления. Сначала талоны надо раздобыть, потом сколько раз надо на угольный склад ездить, пока получишь не пыль какую-нибудь, а более или менее для топки пригодный. Да и какое ни есть — хозяйство: куры, суровый индюк-страшила, собака, участок, пусть и не большой, а овощи на часть зимы — свои. Помню, как в 77-м в августе, когда Антанаса задержали вместе с Викторасом Пяткусом, гебисты весь участок перепахали в поисках подпольной литературы — Антанас и Аля очень потешались: даже и от них польза.

Я любил этот дом и эту семью и люблю, и то, что сейчас не могу забежать к ним на часок, — одна из душевных невосполнимых потерь. Иногда мне приходилось дожидаться Али, и мы беседовали с ее мамой. Всплакнет, пожалуется на здоровье, попереживает за Антанаса, за дочку. Сразу после ареста мужа выгнали и Эляну Терляцкене из техникума, где она многие годы преподавала, спроводили на пенсию по указке гэбэ — не может жена многолетнего политзэка преподавать в советской школе. Как-то теперь, переживала мама, семья будет сводить концы с концами. Но с другой стороны, — полегче будет: мотается, с ног валится, совсем уж дочка поседела... Но вот и хозяйка пришла, Рамунас прибежал из школы, — будем чай пить...

При Антанасе дом был не такой — шумный, громкий, жаркий от споров. Неугомонный, взрывной его темперамент всегда притягивал людей. И отталкивал. Больше притягивал, поэтому Антанас всегда был в их окружении. И с его арестом весь Вильнюс, кажется, поблек и поутих — не было в нем второго такого бродила. Один Антанас Терляцкас — уже литовская общественная жизнь, сложная, противоречивая, бурная. Терляцкас известен на Западе активной защитой Пяткуса и Гинзбурга, Ковалева, Гаяускаса и Рагайшиса, протестами против карательной психиатрии, его подпись — среди 45-ти прибалтийцев — под документом, посвященным 40-летию позорного пакта Риббентропа—Молотова, положившего конец независимости прибалтийских республик. Любая статья в литовской подпольной прессе вызывала его бурную, то одобрительную, то возмущенную реакцию. Об одной такой полемике, мало кому известной, я хочу рассказать. Мне кажется, в этом эпизоде — весь Антанас.

Было это в начале осени 78-го. Антанас ворвался ко мне красный и злой, хоть водой отливает: "Посмотри, что он пишет!" — И бросил на стол последний, девятый номер подпольной "Аушры",

открытый на статье некоего Жувинтаса — явно псевдоним — “Литовцы и евреи. Открытое письмо Томасу Венцлове”. Возмутил его и тон статьи, и основная ее мысль: погромы 41-го года, прокатившиеся по всей Литве — это кара евреям за то, что советских оккупантов встречали с цветами, что пособничали им, были среди карателей-чекистов, — и то, что для вызвавшей полемику статьи Венцловы “Евреи и литовцы” в журнале места не нашлось и тем нарушены законы честной журнальной борьбы. Возмутился, а потом принес мне почитать свой ответ Жувинтасу — “Еще раз о евреях и литовцах”.

Есть в статье Антанаса и исторические возражения и личные довоенные мальчишеские воспоминания: “Таурагские евреи Мятинас и Корка, как только заворачивали в наш Кривасалис, отпускали свою лошаденку, и она сама плелась от хаты к хате. Пока они ходили по домам, скупая щетину и тряпье, кривасальцы сами забирали с лошади приглянувшийся им товар и относили к себе. Рассчитывались вечером. Никогда не возникало конфликтов из-за расчетов или неуплаченного долга. Подобные отношения были повсюду в литовской деревне”.

В этом-то, по мысли Антанаса, вся и трагедия: среди погибших евреев большинство были вот такие бедные жители местечек, далекие от политики, мало что смыслившие в фашистской угрозе или в красном от нее — якобы — спасении и уж, конечно, не входившие в число членов литовской компартии или евреев-эмгембистов. Антанас вспоминает, что в его родном селе не было литовцев, участвовавших в еврейских погромах, но от этого ему не легче.

Казалось бы, зачем он все это вспомнил? Человеку, всего себя положившего на борьбу за сохранение литовского национального духа, литовского самосознания, в дни, когда идут повальные аресты, гребут лучших — по второму, третьему разу, когда снова за решеткой Викторас Пяткус, Балис Гаяускас, общий лагерный срок которому определен советской сатрапией в 40 лет, когда — он это чувствовал — и ему недолго гулять на свободе и надо бы поберечь силы, — к чему этот исторический экскурс? Да в том-то и дело, что Антанас Терляцкас о прошлом думает и пишет потому только, что заглядывает в будущее.

“Литовскому народу, — пишет Антанас в этой статье, — выпало немало страданий — такова уж воля Провидения. Заботясь только о будущем своего народа, мечтаю о том, чтобы никогда литовцы не стреляли в невинных и беззащитных. Мир не гарантирован от еще

более страшных катастроф. Убереечь литовцев от участия в погромах (на этот раз уже не евреев) можно, только безоговорочно осудив убийство мирного населения”.

Именно об этом статья Антанаса Терляцкаса, идеал которого, как он сам о себе писал, — “свободный человек в свободной и независимой Литве”. Независимость — но не любой ценой. И не может быть свободен человек, осквернивший душу свою убийством слабого и беззащитного. Поэтому так больно отзывается в сердце литовского католика страшная эта страница истории.

Мне известно, что в день Поминовения 1 ноября 78 года Антанас Терляцкас возложил свой венок на братскую еврейскую могилу у себя на родине. Собирался он сделать это и на будущий год, да только ему не дали. Он был схвачен КГБ за день до скорбного этого праздника — 30 октября 1979 года.

* * *

Хочется верить — освободится Антанас вовремя. По себе знаю — чем ближе освобождение, тем тяжелее. Как же дальше-то жить? Времена суровые, неужели снова — посадка, неужели опять маячит умереть в застенках?

Антанас, дорогой! Были времена, прибегал ты ко мне за советом. Не могу похвастать, что часто принимал их, да и не претендую. Но выслушивал и, если считал возможным, если позволял взрывной темперамент (а еще говорят, что литовцы — холодный народ!) — старался исполнить. Помнишь, как мы с тобой вместе дрались за восстановление на работе, когда тебя генерал-от-оперы экс-певец Виргилиус Норейка выгнал? С какой работы — дежурного пожарника в литовской опере: а где еще работать человеку с двумя дипломами? И ведь выиграли суд, пришлось ему тебя восстановить. Правда, ненадолго — гэбэ быстро нашел способ с тобой расправиться, но тогда, тогда была наша победа...

Теперь советовать тебе из своего безопасного далека не имею права. Семью твою и теперь в покое не оставляют. Опять приходили с обыском, опять все перерыли. Чего уж тут советовать. Были моменты, когда ты ошибался, но больно от этого было только тебе и твоим близким. Главное ведь, в сущности, оставаться верным себе, своему прошлому, никогда не забывать его и не предавать. Дай Бог тебе сохранить себя, мой вспыльчивый, добрый, совестливый Антанас.

К ГОДОВЩИНЕ СУДА НАД ВАЛЕРИЕМ РЕПИНЫМ

С момента суда над Валерием Репиным минуло 2 года. Полицейско-пропагандистским результатом дела Репина явилось обвинение Русского общественного фонда помощи политическим заключенным и их семьям. Обвинение в сотрудничестве с иностранными разведывательными службами. Чтобы оповестить мир об этом "открытии", КГБ совместно с ленинградским телевидением организовал 1 марта 1983 года 40-минутное выступление Валерия Репина из застенков "большого дома" — так еще со сталинских времен зовется здание КВД—КГБ в Ленинграде. К тому времени Репин провел в камере 15 долгих месяцев.

Расчет КГБ был понятен — смертельно запугать всех тех, кто осмелился помогать гонимым самым нормальным и человеческим способом: морально и материально поддерживая ни в чем не повинных членов их семей — стариков и детей, жен, сестер и братьев. Пожалуй, трудно найти в последние годы наиболее яркий моментальный снимок с лица режима, чем преследование благотворительности и ее волонтеров.

Сергей Ходорович, главный распорядитель фонда, сказал по этому поводу 7 марта — до его ареста оставался ровно месяц: "Похоже, что КГБ — это единственная спецслужба в мире, которая интересуется фондом помощи политзаключенным". Интерес, надо сказать, специфический и измеряется он годами и десятилетиями лагерей и ссылки для всех без исключения распределителей фонда — от Александра Гинзбурга до Сергея Ходоровича.

Здесь можно было бы поставить точку. Я же этой точкой хочу лишь отделить вступление от главной моей темы, связанной с судьбой сотоварища по работе в фонде. Судьба Валерия Репина трагична. Для него самого, знаю, слабым моральным оправданием является то обстоятельство, что говорил он из застенков и отупев от непрерывного общения только и исключительно с заплечных дел мастерами, которые написали для него эту роль.

Добрые дела живут сами по себе и их не перечеркнешь. Хорошо, что после всего этого Сергей Ходорович вспомнил в том же заявлении, как честно и добросовестно выполнял Репин свои обязанности. Живущий в Израиле писатель Михаил Хейфец, бывший ленинградец и бывший политзаключенный, как-то говорил Александру Гинзбургу: "Я и моя семья очень многим обязаны Валерию Репину в

самое трудное для нас время — он безусловно и бескорыстно вел дела фонда”.

Мне хочется, чтобы до Репина дошли эти слова благодарности. Не думаю, что наша роль, тех, кому посчастливилось вырваться из-за колючей проволоки “большой зоны”, должна быть ролью обвинителей — не имеем мы отсюда морального на это права. Наша задача и проще, и плодотворнее — пытаться говорить правду, ненавидеть произвол и помнить добро, пытаться помочь подняться человеку, которого удалось на время сбить с ног. И поэтому у меня нет сомнений, что следует протянуть руку, а если надо, то и подставить костыль. В случае с Валерием Репиным мне это не кажется безнадежным. Ведь нашел же он в себе силы, привезенный из ссылки в Ленинград на процесс Бориса Митяшина, — ясно же не как свидетель защиты, — отказаться от дачи показаний и тем самым сильно испортить игру, которую с его помощью хотели провести. Мы уже не раз убеждались в мстительности гэбэ, и за Репина боязно: в наше время дополнительные лагерные сроки стали правилом. Да и он не мог не понимать этого и все же — решился.

Протянуть руку... Что говорить, приятнее протянуть ее для дружеского рукопожатия моим добрым знакомым Юрию Орлову, Гуннару Астре, Сергею Ходоровичу или Викторасу Пяткусу. Но они способны выстоять и без нашей поддержки. Их судьба в силу их исключительности не может ответить на вопрос, поставленный в СССР перед каждым человеком, не потерявшим ум и душу: как выстоять, как сохранить себя в противостоянии режиму, если ты обычен, если сила и слабость замешаны в тебе, так сказать, поровну? Ответ на этот вопрос неоднозначен и не на все времена дан, а определяется степенью жестокости того периода, в котором нам доводится жить. Думается, честный анализ — без назидательного “я знаю, как надо”, — наших ошибок и поражений может оказаться плодотворным и поучительным.

Дело Репина как бы отграничивает собой период, в котором столько было светлых надежд, от более мрачного и темного современного состояния, когда новая волна тотального страха стала туманом расползаться по Союзу. Тот, более светлый период, напоминает схватку Алеши-богатыря со Змеем Горынычем, этакий русский вариант поединка Давида и Голиафа, когда смелый малыш, взяв гиганта за грудки, что называется, “качает права”. Период так и называется — правозащитным.

Защита прав человека осуществлялась с двух позиций: в общем

плане — на основе общепринятых норм, записанных в Декларации Прав Человека и в Хельсинкских документах, и в другом, более узком аспекте, — в надежде заставить Советы соблюдать свои, какие они ни есть, законы. Советская государственная машина ответила на это бурной законотворческой деятельностью, издавая одно постановление бесчеловечнее другого по принципу: “Ах, вы хотите контролировать нашу соцзаконность? Так вот вам новая статья, по которой вы можете делать это на вполне законном основании, но только за колючей проволокой”. Так и слышу злорадный полицейский смешок и вижу самодовольное потирание потных палаческих рук.

В общем, надо признать, что система оказалась достаточно внимательной к нашей критике и способной реагировать на нее — в интересах, понятно, самой системы. Ни в коей мере не претендуя на исчерпанность темы, приведу лишь несколько лично окрашенных примеров. На суде над нами — по делу ленинградского самиздатского журнала “Колокол” — наиболее тонкие наши адвокаты строили нашу защиту на том, что у нас, тогда социалистов и марксистов, не было умысла подрывать советскую власть. (Что в формальном смысле совершенно верно — книга наших “лидеров” Ронкина и Хахаева кончалась лозунгом “Вся власть — Советам!”. Правда, называлась она — “От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата”...) Коль так, мол, то статья 70-я УК РСФСР, четко оговаривающая умысел как основание для наказания, к нам не подходит. Тогда это было ново, суд просто проигнорировал этот довод. Но когда он стал повторяться из процесса в процесс, была изобретена статья 190, часть 1-я, карающая, даже если у тебя никакого антисоветского умысла и не было.

Еще пример. Вскоре после того, как мы с моим другом, живущим сейчас в Ленинграде, вышли из лагеря, был опубликован проект исправительно-трудового кодекса, попросту говоря, правил содержания в лагерях и тюрьмах. И мы, по свежей памяти, кинулись его поправлять с благородной, понятно, целью — хоть чуточку улучшить условия, в которых мы незадолго до того вынуждены были жить. Потом был принят Указ, на основании, как это говорится у них, “многочисленных поправок трудящихся” — думаю, в их число были зачтены и наши. Надо ли говорить, что в окончательном тексте все наши предложения были действительно учтены, да только с обратным знаком.

И последнее воспоминание. Когда я уже жил в Вильнюсе и по

мере сил старался помогать родным политзаключенных, мне — понятно, не по своей воле — приходилось общаться с сотрудниками КГБ. Моя позиция была простой и казалась непогрешимой. Я отказывался обсуждать с ними дела фонда, упирая на тайну благотворения: деньги, мол, не ваши, неважно, откуда они идут, важно, что идут на бескорыстную помощь нуждающимся в ней. Лично для меня все кончилось благополучно — предложили покинуть пределы... Но неужели результатом наших бесед явилось дополнение к 70-ой статье, объявляющее отягчающим вину обстоятельством действия, совершенные на средства любых зарубежных организаций и частных лиц?

Мне жаль, что позиция: "Заставить их уважать их же собственные законы" — не привела к очеловечению режима. Но это так, и правда все же лучше иллюзий. Реальность такова, что режим снова не стыдится более своего звериного оскала, а наоборот, находит, что для него полезен этот устрашающий облик. Это, может, и хорошо, когда маски сорваны и каждому ясно, кто есть кто.

Но вернемся к делу Репина. История эта начинается как заправский детектив, да только не хотел бы я оказаться на месте его главного героя. Ранним утром 7 декабря 81-го года Валерий Репин открыл на звонок входную дверь коммунальной квартиры и впустил незнакомого ему человека. Тот передал Репину пакет с книгами — там были "Архипелаг ГУЛаг", какая-то книга Зиновьева, 10 выпусков "Хроники текущих событий" — и записку от недавно освободившегося из ленинградской тюрьмы "Кресты" Анатолия Иванова. Его-то Репин действительно знал и помогал ему после освобождения — Иванов сидел по политической статье. В записке было сказано, примерно, следующее: "Валера, извини за задержку. Возвращаю тебе твои книги. К сожалению, размножить их не удалось". И подпись Иванова. Не успел хозяин прочесть записку, как орава кагебистов вывалилась из общей кухни и начался 10-тичасовой обыск, после которого Репин уже ночевал в "большом доме".

Хорошо представляю себе по личному опыту первую бессонную ночь в одиночной камере, негаснущую лампочку над головой и ежеминутный шорох у глазка в коридоре — в камере зрению делать почти нечего, слуховые ощущения обостряются до галлюцинаций. И мысли, назойливо, как мухи, лезущие в голову, и такая ватная тяжесть в голове, что не отогнать их. — "Боже, как-то они там" — это он о молодой жене и месячной дочке. И еще одна: "Ну какой я болван! Увидел эту незнакомую паскудную морду, не надо

было пакет и в руки брать, а гнать, гнать этого гада взашей, и баста”.

Одна только мысль не болит — вчерашний первый допрос выдержал, ни слова не сказал. Но что же дальше? Дальше — молчать! И Репин не дает показаний больше трех месяцев. Бесконечная, изо дня в день повторяющаяся молотилка — угрозы и посулы, грубость и вкрадчивая вежливость, как бы незначай упоминания о прелестях вольной жизни — Карельские озера, рыбалка, — и сразу — в полутьму одиночки. Я был в его положении в том же здании, может быть, в той же или в соседней камере. Могу засвидетельствовать, что молчать три месяца — мужество. Каждый день такого молчания отнимает много сил и выдержать его могут немногие. Но остановимся на минуточку. Допустим, что у следствия нет больше никаких “улик”, кроме злосчастного пакета с книгами, и Репин молчит. Выстоял — и зачислен нами в герои. Такое вполне могло бы быть. В данном случае хэппи-энд не запланирован.

Идет следствие, и Репин начинает понимать, что пакет — это не козырная карта, и со дня на день ожидает, что вот ее выкинут, и это ожидание лишает его последних сил, и иммунитет слабеет.

И вот этот день 17 марта, ровно сто дней после ареста. Репину предъявляют экспертизу секретности сведений, которые он, якобы, собирал с помощью опросника, полученного им из-за рубежа. И тут же вместо 70-ой объявляется ему 64-я статья — до 15-ти лет и даже расстрела. Надломленный Репин не выдерживает и начинает давать показания. Собственными руками ломает стержень, на котором только и способен был держаться — фонд, помощь политзэка.

Через год, в мае 83-го, на суде над ним произойдет такой горький диалог:

СУДЬЯ: Скажите, зачем вам все это было нужно? Этот фонд?

РЕПИН: Понимаете, я ведь общался с родственниками, а это в основном жены, матери... Хотелось как-то помочь...

СУДЬЯ: То есть вами двигало сострадание к этим людям?

РЕПИН: Да. Мне неудобно было самому про себя упоминать это слово, но если вы сами сказали, то — да, сострадание.

Видимо, всему есть человеческий предел...

Опросник, на котором Репин сломался, был изъят у того же Иванова. Он дал и первые показания о том, какую информацию по нему сообщил он Репину. За три месяца сотрудники КГБ объездили лагеря и нашли людей, которые согласились — за какие уж блага, не знаю, — показать на Репина все, что гэбэшникам надо было.

Не хватает для вящей убедительности только корысти — ведь шпионят-то за деньги. Но Репин занимался благотворительностью, и дело техники специалистов по выкручиванию рук и выворачиванию мозгов выбить у него показания, что он расплачивался деньгами фонда за эту информацию.

О том, что собой представляет опросник, как он создавался, подробно рассказывал как-то на страницах “Русской мысли” бывший политзаключенный, а ныне сотрудник радио “Свобода” Егор Давыдов. Я лишь напомним, что подавляющее число вопросов в нем — о нечеловеческих условиях быта и труда заключенных советских лагерей. Но есть в нем и вопросы, которые, безусловно, относятся к советской военно-карательной тайне. Наиболее опасный из них — количественный и качественный состав вооруженной лагерной охраны, или проще — сколько офицеров и солдат войск МВД охраняют каждый лагерь, а также фамилии офицеров и их звания.

Для нас сейчас не столь важно, собирал ли Репин эту военно-карательную информацию — в СССР разница между войсками КГБ, МВД и боевыми частями СА лишь в том, где они охраняют зону — под Пермью или в Афганистане, — или интересовался пайкой хлеба, антисанитарными условиями в бараках и отсутствием техники безопасности в промзоне. Допустим, попадалась и такая. Но я задаю другим вопросом — а зачем вообще нужно было формулировать на бумаге столь опасные вещи, да еще и переправлять эту бумагу своим старым друзьям в Союз, — понятно, не по почте? Что, без опросника советская карательная тайна не раскрывается? Эки, обычно, сами охотно рассказывают о лагерях все, что знают, а подписку о неразглашении с них пока не берут.

Перед теми, кто составил и отправил Репину опросник, перед всеми нами, живущими теперь в зарубежье, дело Репина поставило моральную дилемму — имеем ли мы право на инициативу, ставящую под буквально смертельный удар КГБ наших товарищей, оставшихся внутри “большой зоны”? Даже если — в чем нет сомнения — разоблачать карательную систему — наша задача в интересах правды истории. Моральная дилемма не решается математически, границу между “да” и “нет” каждый проводит сам, но уйти от этого большого вопроса мы не имеем права. Это в западном мире свобода информации священна и порой ценится выше государственных секретов. В СССР действуют другие порядки, и то, что здесь послужило бы скорее популярности, там карается 15-ю годами.

Говорили и будут говорить о Юрии Орлове и Анатолии Щаранс-

ком, о Сергее Ходоровиче и Викторе Пяткусе, о многих других.

Но рассказ о человеке, который — как вы и я, у которого смелость и страх, воля и слабость замешаны как бы поровну, этот рассказ может быть не менее поучителен.

ВОСПОМИНАНИЯ С РАЗМЫШЛЕНИЯМИ

В Вильнюсе, где зеленый Лаздинай, поднимаясь на самый высокий в окрестностях холм, вливается в плоский и скучный район Каролинишкес, построили два многоэтажных жилых дома по подсмотренной где-то на Западе технологии — не с первого этажа, а с последнего. Сначала на уровне земли залили каркас самого верхнего этажа, потом подняли его и на его месте построили следующий сверху и так далее, пока, наконец, не дошли до первого, стоящего на фундаменте. Не знаю, как в других местах, но эти дома получились уродливыми, мрачными, простор вокруг них не делает их светлее, наоборот, сам тускнеет от соседства с ними.

Не берусь судить об экономических преимуществах метода, но начинать строить с поднебесного этажа кажется мне очень по-расейски. При этом забывают о фундаменте, зато стены делаются монолитными, — быстрее этак, да и конструкция щелями не ослабляется. Так создается известная социальная постройка, в которой верхний этаж для того только и существует, чтобы им застить свет. Ослепшая от темноты, одетая камнем масса уже неспособна поверить, что он, свет, где-то есть: наружу проникнуть нельзя — нет в этом теремке ни окон, ни дверей. В платоновой яме люди хотя бы видят тени идей, здесь они не видят их вовсе, а поэтому не верят в них ни на грош.

В стране долготерпения и бунта, беспредельного равнодушия и безмерного сострадания протест также не на земле и не из земли растет, не ее соками питается. Выдвигаются на первый план высшие этажи духовной жизни человека — идеи свободы, суверенных прав личности, ответственности за духовные судьбы людей. Это — взгляд через пробитую головой брешь в бетонной стене, когда, перегнувшись, можно увидеть кусочек неба на один миг. Не успеешь глотнуть свежего воздуха — тебя вташат назад и упрут глубже, чтоб не высывался. А пробоину быстренько заливают бетоном. Иди потом докажи тем, кто боится одной мысли выглянуть наружу, что горизонт есть и это не бред сумасшедшего. Хоро-

шо еще, если, как это принято испокон веку, народ безмолвствует, а то ведь и камнями могут побить возмутителя спокойствия.

Отчаянные эти люди, думаю, не хуже нас понимают всю непрактичность своего протеста, прекрасно осознают, что высокие идеалы в безвоздушном пространстве, не упираясь ногами в землю, как здоровые социальные принципы, существовать не могут. Но как страшен и черен слепой бунт — знают тоже. И потому одно лишь хотят сказать, одному лишь научить — люди, не надо бояться! Страшно из тюремной камеры, где на ощупь знаешь каждый сантиметр, где каждый твой шаг и его последствия заранее — не тобой — расчислены, а потому ясны, страшно выходить на простор, в опасную неизвестность собственного выбора, когда во всех твоих бедах не только и не столько о н и, сколько ты сам повинен. И все же надо, страх преодолев, рубить в бетоне окна и двери. Ломать и во тьме можно, искалечив под обломками миллионы. Но чтобы строить — надо видеть небо и землю. Оценить, хороша ли постройка или дурна, можно только снаружи.

Валерий Смолкин родился в 1940-м году, окончил Ленинградский Технологический институт. В 1965 году, вместе со своими друзьями по Техноложке, был арестован по делу ленинградского журнала "Колокол". Срок отбывал в Мордовии, в 11-м лагере, в поселке Явас. После освобождения (в 1968-м году) жил в Вильнюсе. 8 лет — с 75-го по 83-й — помогал литовским узникам совести и их семьям, был распределителем Фонда помощи политзаключенным по Литве. В июне 83-го года эмигрировал в Израиль, в настоящее время живет с семьей под Тель-Авивом, работает инженером-технологом на одной из израильских фирм по производству электронных печатных плат.

КУЛЬТУРА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

В августе нынешнего года в Иерусалиме прошел первый из намеченных редакцией "22" симпозиумов по современной литературе. Он был посвящен научной фантастике, особенности которой представляют благодарную возможность анализа общих тенденций культуры Запада и Востока. На симпозиуме были заслушаны сообщения З. Бар-Селла (психология "хамо советикус" на материале романа Г. Адамова "Тайна двух океанов"), С. Шаргородского (об израильских антиутопиях 1984 года), И. Гомель (тема секса в западной фантастике, как материал для анализа общих тенденций). Особенный интерес вызвали два сообщения М. Каганской — дешифровка последней повести бр. Стругацких "Жук в муравейнике" и новое толкование места фантастики в современной культуре как своеобразного "гностического бунта". Мы предлагаем вниманию читателей часть материалов симпозиума; остальные материалы будут опубликованы в ближайших номерах журнала.

Зеев Бар-Селла

МОЛЕНИЕ О ЧАШКЕ

*"Наша страна любит героев потому
что это героическая страна".*

М. Кольцов

Полвека тому назад (то есть в начале тридцатых) некто Дмитриевский — личность темная: не то беженец-авантюрист, не то — агент ГПУ, потрясал эмигрантские собрания лекциями о далекой России. Докладчик уверенно избегал проторенных троп: он не рассказывал о застенках Чеки, о вымерших губерниях, сожженных аулах, изнасилованных монахинях, — короче, он не говорил о том, что и без него было всем известно. Известное было привычным, ужасным, и оттого так хотелось услышать, наконец, правду.

И Дмитриевский не стеснялся:

— Знаете ли вы, что Россия уже не та, какой вы ее оставили, и, — обращаясь к молодым, — какой вы ее не видели? Она одушевлена новым духом, и имя ему — Титанизм. Дать воду пустыням, растопить вечные льды, покорить небо — это Титанизм. И то, что вы считаете царством смерти и террора, есть новый мир героев, молодых сердец и абсолютного расцвета.

Лекции имели успех, как-то верилось в силу раскрепощенного духа, в тундру, текущую молоком и ягелем, лампионы, заменившие северное сияние... Потом Дмитриевский куда-то делся (чуть ли не в Берлин), оставив по себе впечатление.

Вникая теперь в политические пророчества Дмитриевского о неминуемой и скорой замене коммунистов новой сворой титанис-тов, одно, по крайней мере, мы устанавливаем бесспорно — источник его идей. Это постоктябрьская идеология А.А. Богданова, пережившая в таком виде своего создателя и созданный им Пролет-культ.

Сгинул Пролеткульт, сгинул Богданов, сгинула его тектология — “наука о всеобщей организации”, появилась всеобщая организа-ция и ее органы. И тогда наступил расцвет.

На этот раз расцвела литература в жанре, называемом научной фантастикой. Фантастика протянула довольно долго, с тем чтобы, в конце концов, привести к появлению “романа воспитания”: фор-мирование советского характера в виду близко лежащих техниче-ских возможностей.

В полный рост встала проблема переделки природы — в романе “Развед-чики зеленой страны” Г. Тушкана школьники мичуринским путем превраща-ли дикую грушу в садовую. Кто-то другой, не помню кто, дерзко мечтает об автоматизации трансформаторных будок (повести иронически дано авантю-рное название — “Исчезновение инженера Боброва”). А фантаст Охотников инженеру нос утирает и вовсе учениками ПТУ. Там, значит, ремесленник приходит к инженеру часы чинить. А инженера дома нет, одна жена. Вот он стоит, починает, а жена инженера, что, стерва, делает — она к стремянке под-ходит и говорит: “Часы эти, мол, меня пугают. В них, говорит, дух живет”. А ремесленник стоит и думает: “Ну дожили, инженера!”. Инженер этот слова иностранные говорил — “адекватно”, вместо нашего “подходяще”. Потом еще не хотел ультразвуком пахать...

Откровенная глупость объекта ни в коем случае не должна останавливать исследователя. За любым словом стоит событие, и будем благодарны людям за редкое умение выговаривать слова. Даже такие слова:

- Новая домна задута, слышали?
- О Магнитке читали? Здорово, а?
- Что вы о наших физиках скажете? Вот молодцы!

Так, по свидетельству М. Поступальской, выражался писатель Г. Адамов, “встречаясь с друзьями, едва успев поздороваться”.

Г. Адамов (1886—1945), он же Григорий Борисович Гибс, был первым подлинно советским писателем-фантастом. Он первый освободился от влияния иностранных образцов, сделав советскую фантастику во всем подобной остальной советской литературе.

Уроженец Херсона, он проделал длинный и славный путь от редактора социаль-демократической газеты “Югъ” (Херсон) до сотрудника журнала “Знание—сила” (Москва). На журнальных страницах опубликовал он свои первые произведения, еще не порывавшие с формой очерка (в независимос-ти от объявленного жанра — рассказ или повесть), но уже смотревшие вперед

в будущее, неотступно грядущее. В 1937 году он выпускает первый роман — “Победители недр”, а в 1939 — второй, незабываемую “Тайну двух океанов”. Отчаянный мечтатель сразу же садится писать третий роман — “Изгнание владыки”, и нет сомнения, что и его он написал бы в рекордно сжатые сроки, но тут случилась война. Роман все-таки вышел, но в 1947 году, после смерти автора и, следовательно, без его ведома и согласия.

С литературной точки зрения третий роман написан еще хуже двух предыдущих. Но это ли было главным? Как он над ним работал!

“Тысячи выписок по технике, физике, химии и биологии моря в толстых тетрадах с кожаными переплетами, груды папок с вырезками из газет и журналов, сотни книг — целая библиотека, от солидных научных трудов, до “Памятки краснофлотцу-подводнику” и “Правил водолазной службы”, — так описывает биограф состояние кабинета писателя в период работы над “Тайной двух океанов”. На этом фоне достойна ли внимания такая мелочь, что время от времени автор помещает Квебек в Соединенные Штаты? Конечно, не достойна.

“У молодого читателя, — продолжает биограф, — невольно дух захватывает, когда он читает об ультразвуковой пушке, телевизионных установках, инфракрасных разведчиках, о специальных подводных скафандрах”. И еще: “Впервые писатель обращается к теме бдительности: на лодку проник предатель”.

Как легко опуститься здесь до недостойной политической игры, тыкать в покойного тем, что в 39-м году он писал о бдительности. А о чем было писать в 39-м году? Плохо написано? Да, плохо. Ну и что? Культура явление массовое. Это мы знаем по собственному опыту — ведь должно же быть какое-то объяснение тому, что с половиной из сегодняшних собеседников мы в России общаться ну никак не стали бы. Дело не в скудости выбора и не в благоприобретенной всеядности. Критерием отбора (для нас естественного) является прошлое. Ибо культура складывается не только из Пушкина, Толстого и Мандельштама, а еще из десятков тысяч вещей: умения понимать анекдоты и вкуса к их выслушиванию, 4 копейки — билет в троллейбусе, через Таганку в Лефортово, — до явлений сугубо и неоспоримо культурных — массы знакомых книг, очень плохих книг. Я же не ошибаюсь — никому из читателей не надо напоминать сюжета “Тайны двух океанов”... Ну, разве кто только начнет путаться между книгой и фильмом Тбилисской киностудии. Помните начало? Та — татата — таа — та... Почти, как “Мужчина и женщина”!

Вообще, по сравнению с книгой, фильм много выиграл. Например, вскрыта тайна двух океанов — это торпеда, замаскированная под катер с № 17. Так вот, стоит понять, что катер — переодетая торпеда, и сразу ясно, отчего в таинственных кораблекрушениях, имевших место в Атлантической и Тихоокеанской акваториях, нет ничего таинственного.

Иное дело — книга: в ней о тайне двух океанов и слова нет. Скорее ожидалось бы название “Тайны двух океанов”, по образцу чего-то такого научно-популярного, каких-нибудь “Тайн морского дна” или “Секретов рыбьей жизни”.

А ведь и правда: ничего, что связывало бы фабулу с площадью двух океанических бассейнов, в книге нет. Вот — Горелов, он предатель, так таким он был с самого начала, как подлодка “Пионер” — подлодкой.

Ладно, запутавшись с названием, откроем все-таки книгу:

“Они стояли на овальной ровной площадке (...) на вершине небольшого холма из гофрированного металла (...). Позади площадки на протяжении двух—трех десятков метров холм полого спускался к воде, как спина огромного кита (...). Двое из этих людей, одетые в ослепительно белые с золотыми пуговицами кители, с золотыми шевронами на рукавах и “крабами” на фуражках, (...) осматривали горизонт, глядя в странные инструменты, похожие одновременно на бинокли и подзорные трубы (...) Высокий человек в белом кителе опустил наконец свой странный бинокль и махнул рукой.

— Ничего не видно, Лорд, — сказал он на чистейшем русском языке...”

Почему автор тщится поразить нас чистейшим русским языком? Или большинство его читателей разговаривало на ломаном? Или русский язык и русский человек не к лицу белоснежному кителю с золотыми пуговицами? Наше минутное замешательство объясняется тем, что, едва вступив в романский лабиринт, мы сразу же споткнулись об одну из путеводных нитей.

Дело в том, что корабль с искусно приданными ему чертами морского животного уже совершил однажды путешествие в океанских глубинах. Назывался корабль “Наутилус”, спущен на воду в г. Амьене инж. Ж. Верном.

Новые исторические условия властно требовали снятия с поста несвободного от анархизма и социально чуждого (раджа) бывшего британского подданного гр-на Немо и замены его идеологически выдержанным капитаном 1-го ранга Воронцовым Н.Б. Ну что ж? Вполне понятное веяние эпохи... Затем, походя, восстанавливается и русский приоритет:

“Советская наука, первая в мире, должна была осветить все то таинственное, что скрывалось в этих (т.е. океанских) глубинах”.

О капитане Немо ни звука, полная немота.

Нить оборвалась. Может, стоит призвать на помощь “советскую науку”? Уж коли ее судьба “осветить все таинственное, что скрывалось...”, неужто не поможет она решить нашу маленькую задачку?

Итак, дело в Лорде. Он стоит на капитанском мостике, хоть и не капитан. Кто он? Англичанин? Осечка! С Дарвином его роднит

только профессия — зоолог. В остальном он — Лордкипанидзе, Арсен Давидович. Отчего же все-таки “Лорд”? Ведь не допустимо же требовать от читателя знания иностранных слов, тем более такого, как английское “Lord” — “хозяин, владыка, господин”, а чаще всего — “Господь”? Абсурд!

Нет. Более того, это совершеннейшая истина, милорд! Иначе, откуда бы взяться капитану первого ранга Воронцову? Логическая связь проста, как огурец?

Полу-милорд, полу-купец.
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
что будет полным наконец.

А.С. Пушкин, 1824 год, эпиграмма “На Воронцова”!

Какие выводы из этого следуют? Только два: “Лорд” — существовал в сознании Адамова как отдельное понятие, и — Пушкин... Пушкин есть точный хронологический ориентир, но не 1824, а 1937 — год столетнего юбилея смерти поэта, прославивший и данную эпиграмму: именно в 1937 году по решению Одесского горисполкома ее выбили на памятнике Воронцову. Исходя из 37-го года как даты крещения двух персонажей, мы можем допустить и более тесную связь романских событий с актуальной действительностью.

Один след злобы дня автор не счел нужным скрывать — это посягательства империалистической Японии на Советский Дальний Восток. Второй мы обнаруживаем сами: А.Д. Лордкипанидзе — грузин, отчего его стояние на капитанском мостике подлодки “Пионер” созвучно уверенному держанию его компатриотом штурвала державного корабля. Оттого-то он и “Lord”, что наглядно демонстрируется его “великолепной черной бородой, которой позавидовал бы любой древнеассирийский царь”: Лордкипанидзе из породы древневосточных владык. Скорее, он даже превосходит их в чем-то. Его бороде они, например, позавидовали. При этом вспомним одну особенность политических лидеров Древнего Востока — они обожествлялись. Следовательно, и предмет зависти у них должен был быть никак не ниже богов. Так оно и есть: Лордкипанидзе, зоолог — следовательно, повелитель тварей, по отношению к которым он сверхсущество.

Прочие атрибуты высших сфер пришлось брать из более привычной традиции: белые кители и золотые пуговицы — белоснежные ризы и золото иконостаса. Что же касается “чистейшего русского языка”, то это уже чистая фантастика, точнее, утопия: чистоты русского языка диктатор не достиг до смерти. Впрочем, художественная чуткость уберегла писателя от навязчивого портретирования: ни трубки, ни усов... Ни Иосифа, ни Виссариона... Имена, имена... Странные имена...

Вот некто — Марат. Симпатичный малый, его и полным именем никто не называет — Марат да Марат. А оно у него есть: Марат Мои-

сеевич Бронштейн. Бронштейн, как мы помним, — девичья фамилия Троцкого. Правда, Троцкого звали Лев Давидович, а Марата — Моисеевич. Но Давидович есть у Лордкипанидзе, имя же его — Арсен — происходит из турецко-персидского “Арслан” — “Лев”! А теперь удивимся Марату: события романа отнесены к 19.. годам, однако японо-советское противостояние датирует их временем не позднее конца 30-х; Марату же лет 25; значит, родился он никак не раньше 1917 года, а революционные имена вошли в моду в начале 30-х. Вопрос: почему Марат — Марат? Ответ: потому, что Бронштейн. Именно Троцкого и никого другого сторонники и враги называли “Маратом Русской Революции”.

Черт те что получается! Или Адамов — скрытый троцкист? Или роман был им задуман еще в бытность редактором херсонской газеты? А в степи под Херсоном не только высокие травы, но и хутор Яновка, в котором как раз появился на свет Л.Д. Троцкий (Бронштейн)... А в Херсоне родился Адамов (Гибс). Гибс? Нерусская какая-то фамилия...

А вот русская фамилия — Горелов, военинженер 2-го ранга и предатель. С первой же главы японский шпион Маэда разглядел в нем “типичную противоречивость широкой славянской души”. С чего бы это вдруг проявиться таким качествам у орденосца и кандидата в члены ВКП/б/? А оттого, что звать его Федор Михайлович, то есть Достоевский — печально известный реакционный писатель, переносивший свое собственное душевное неблагополучие на создаваемых им “героев”: убийц, религиозных кликуш и женщин легкого поведения и нележкой судьбы. Обратим внимание и на профессию вредителя — “военинженер 2-го ранга”; именно дипломом военного инженера обладал Достоевский.

Однако подобные прозрения по плечу умам изоощренным и взрослым, книга же рассчитана на читателей никак не старше среднего школьного возраста. Перейдем поэтому к детским играм. Вот герой, с которым подросток может и должен себя отождествлять: 14-летний Павлик с невыразительной фамилией Буняк —

“Павлик (...) боязливо оглядывался по сторонам. Его мягкие волосы (...) слиплись от испарины. Большие серые глаза сделались круглыми. Тонкое, с острым подбородком лицо было бледно (...). Сгущенный зеленоватый сумрак расселин, гротов, провалов и нагромождений скал, колеблющиеся гирлянды водорослей, заросли морских лилий — все грозило неожиданным, страшным, беспощадным”.

Чего боится мальчик Павлик? При чем пугается он не в первый и не в последний раз: вот его страхи 300 страниц спустя —

“...радость исчезла с лица мальчика, (...) в глазах его промелькнул настоящий, неподдельный страх и лицо покрылось бледностью. (...) Горелов (...) через головы окружающих бросил мрачный, полный ненависти и злобного огня взгляд на Павлика (...)”.

Тут, слава Богу, секретов нет: Горелов — враг, еще немного, и он, презрев заветы тезки, положит в фундамент своего благополучия труп младенца Павлика. Значит в этом случае страхи выросли на классовой почве. Генезис же предыдущей Павликовой пугливости иной: жизнь повернулась к нему своей омерзительной физиологической стороной —

“Каракатица теряла силы. (...) Кольцо упругой кожи у основания рук растянулось, и из него выглядывал темно-бурый попугайный клюв — большой, твердый, острый, способный прокусить до мозга голову даже крупной рыбы. (...) Взмахнув, как бичами, одновременно всеми шестью свободными руками (...) она обвила тело мурены. (...). Мурена яростно билась в этой петле. (...) Еще несколько ударов — и (...) длинная рука отделилась от головы и, свертываясь и развертываясь, медленно пошла ко дну. (...) Через минуту (...) можно было видеть яростное пиршество мурены.

(...) Мурена заметила опасность лишь в последний момент. (...) Барракуда — страшилище антильских вод, — словно молния поразила мурену, (...) с неуловимой стремительностью барракуда настигла и яростно принялась рвать и терзать свою добычу”.

Мурены и барракуды — это зверье, от них ничего иного и не ждали. Но подводный сад таит в себе не только прямодушное хищничество, но и изощренное коварство:

“Проплыла прозрачная, как будто вылитая из чистейшего стекла (...) медуза. Ее студенистое тело было окаймлено нежной бахромой, а из середины спускались, развиваясь, как пучок разноцветных шнурков, длинные щупальца. (...) Возле одного из этих нежных созданий мелькнула маленькая серебристая рыбка, и вмиг картина изменилась. (...) Щупальца сжались, подтянулись под колокол, ко рту медузы, и в следующее мгновение Павлик увидел уже сквозь ее прозрачное тело темные очертания перевариваемой рыбки; целиком она не поместилась в желудке медузы, и хвост торчал еще через рот наружу”.

Бр-р-р... Павлик отворачивается, ища на чем бы отдохнуть глазу:

“Красавица актиния (...) стояла свежая и роскошная. (...) Щупальца, развиваясь, окружали вершину букетом цветистых змеек. Две маленькие рыбки мелькнули серебристыми каплями, и в следующий момент клубок с добычей исчез в центре венца щупалец, ротовом отверстии. Еще момент — и над актинией вновь распустился очаровательный цветок с красивыми, нежными, слабыми на вид лепестками”.

Мы уделили так неприлично много места цитатам, чтобы снова и снова не возвращаться к “змеям” и “щупальцам”, “пастям” и “клювам”, густо покрывшим страницы романа.

Зачем? К чему? Может быть, все эти гады вызваны из уютных водяных глубин просто для колорита? Сомнительно, поскольку в случае с Гореловым, например, слова совсем не случайны: “Павлик,

как расшалившийся козленок, запрыгал возле своего партнера". Горелов же, наблюдая козлиные прыжки Павлика, размышляет о том, что уж недолго Павлику скакать. Перед нами знакомая ситуация — "Волк и Козленок".

Каракатицы, медузы и актинии ни в русской сказке, ни в русской басне не водятся; Пушкин лишь однажды помянул "гад морских подводный ход", но без всякой детализации и специального интереса. Правда, у Пушкина есть одно любопытное наблюдение: гадам противостоит "горних ангелов полет". Ангелы летают, гады ползут; следовательно, ангелы — это мировоззренческий верх, гады же пресмыкаются в духовном низу.

Попытаемся подойти к медузам с метафизической стороны. Отсюда вся эта подводная нечисть видится исключительно в виде символов, причем символов, объединенных знаком опасности. Тем же знаком отмечены пещеры (ловушка, в которую попадает Павлик; логово морских чудищ), гроты, впадины, выемки... Короче говоря, всякие углубления, отверстия, полости, в том числе (и прежде всего) — ротовая. Рты же скрываются под "нежными, слабыми на вид лепестками" и покровом изысканных ленточек, бахромы, шнурочков, похожих на "распущенные волосы".

"Нежные созданья", "свежие", "очаровательные" и "слабые на вид", с "бахромой", "шнурочками" и "ленточками" в "распущенных волосах"... До Адамова в литературе так описывался лишь один класс существ — гимназистка.

Теперь ленточки приобрели змеиную природу: зазеваешься — и только хвост торчит! Рот же помещается у основания рук. Остается вспомнить, что каракатицы и осьминоги — головоногие, и, следовательно, руки у них — ноги... Припоминая Фрейда, мы, в конце концов, установили долгожданную общность пещер, выемок и медуз — это все вагинальная символика. Иногда даже довольно изощренная: например, "кольцо упругой кожи у основания рук", откуда выглядывает "темнобурый клюв" происходит непосредственно из "vagina dentata" — жуткого образа зубастых гениталий.

Проще всего (и приличней) было бы видеть в подобной интерпретации необязательную игру ума. Так бы оно и было, не распределяя Добро и Зло по половому признаку.

Подводная лодка "Пионер" — это хорошо. Вот как она поступает с айсбергом: "Круглый раскаленный таран с невероятным упорством полез вперед (...) все дальше и дальше в ледяное тело айсберга. Огненно-красный нос корабля углубился в толщу льда почти на восемь метров".

Мужские достоинства "Пионера" вне сомнений. Отчего же он набросился на айсберг? Это айсбергу расплата за коварство: "Пионер" доверчиво заплыл в полынью меж двух ледяных гор; тут же выяснилось, что две горы — на самом деле один айсберг, расколовшийся на месте "выемки"; как только лодка попала в "выемку", две половины айсберга, со своей стороны, немедленно соединились, а "Пионеру" было уже никуда из щели не деться.

В другой раз на помощь приходит “пик, похожий на минарет”. Он указывает отважным подводникам дорогу к “покрытой слизью пещере” (уж чего яснее), в которой обитает чудовища со змеиными шеями и пастями, утыканными загнутыми зубами. Слизь на этих тварях прямо висит!

Чудовища, согласно научной справке, данной проф. Лордкипанидзе, были “владыками предшествовавших эпох, властвовавших когда-то миллионы лет назад, над всей жизнью древних океанов. Реликты мелового периода!”

Писательская страсть приобретает уже какие-то палеонтологические размеры.

Что же противостоит этой захватывающей картине? Понятное дело, “Пионер”. На его борту женщин нет. Женщин нет и за бортом: ни у одного члена экипажа нет ни жены, ни невесты, ни любовницы. Нет даже матери, вот только у Павлика была, да и та умерла. На лодке все друг друга обожают, устраивают танцы, а когда кто-нибудь из экипажа танцует за даму, то от партнеров отбоя нет. Предмет особой любви — Павлик; как нам объясняет автор: “экипаж подлодки сосредоточил на нем весь запас нерастроченной отцовской любви” — что, согласимся, применительно к компании весьма молодых парней звучит странно. Будь Адамов немножко внимательнее (или искушеннее), он бы понял, что на лодке царит атмосфера жизнерадостного гомосексуализма.

С другой стороны, лодка тащит на себе не столько экипаж, сколько образно говоря словами автора, “полный груз ничем не омраченного человеческого счастья”. Из переживаний этого рода Адамов неоднократно останавливается на тех, что связаны со снаряжением подводных скафандров, особенно с их питательными функциями. В переднем нагрудном ранце помещаются термосы с горячим бульоном или какао. По ходу действия герои неоднократно утоляют голод из этого источника, причем автор упоминает исключительно какао. Случайно ли это? Конечно, нет: какао, то есть шоколад с молоком, поступающие из нагрудного ранца, есть полный заменитель кормления грудью. Умиляясь скафандром, “мальчик не мог удержаться, чтобы не попробовать металлическими пальцами свою металлическую грудь (опять грудь! — Б—С). Это было чудесно и восхитительно, это вызывало чувство безопасности и спокойствия”.

Мальчик, потерявший мать, вновь возвращен к ее питающей груди и дивному младенческому чувству защищенности и сосущей безмятежности. Но вместе с ним этот восторг разделяет и весь прочий экипаж. Символом счастливого детства становится подлодка, оттого и носящая имя “Пионер”. И все это блаженство погружено в мокрый космос сексуальной агрессии!

Но кто посмеет смутить это голубиное счастье? Нашелся такой изверг. Что же толкнуло Федора Михайловича в объятия врага? Вина он не пьет, в карты не проигрывает... Остаются женщины, точнее одна женщина — Анна Николаевна Абросимова. Нет, не девицей ворвалась она в целомудренную пионерскую заводь. Она — это барышня Абросимова, дочь белогвардейца и проживает в Японии. Казалось бы, достаточно для выписывания вражеского портрета? Оказывается, недостаточно; добавлена еще одна черта — она дочь троюродного дяди Горелова. Подыщем реальные обоснования этого обстоятельства. Во-первых, оно бросает тень на социальное происхождение Горелова. Это хорошо, но в романе таких выводов не делается... Во-вторых, Анна Абросимова — невеста Горелова. Он это обстоятельство, понятное дело, скрывает от своего командования. Потом он еще давал старику Абросимову какие-то там расписки. Расписки эти оказались в руках японской разведки. Разведка его шантажирует... Чем? Это ведь абсурд! Честный советский литературный герой просто рассмеется самураям в лицо, а потом пойдет

и сам на себя заявит. И всех делов. Нет, чего-то Адамов не договаривает или наговаривает лишнего. Вот расписки — это точно лишнее.

Пунктов обвинения на самом деле два: невеста и дядя. Смысл первого пункта ясен: невеста — женщина; Горелов в мыслях своих притащил эту опасную тварь на корабль. Пункт второй изощреннее. Как уже было отмечено, бравый экипаж не только не грешит по гетеросексуальной линии, но и вообще безгрешен. Горелов же грешен. В чем причина? Как он дошел до жизни такой? Может быть, мы тут имеем дело с творческой фантазией или же, проще говоря, с литературной беспомощностью? Нужен предатель, ну и находят первого попавшегося... Нет, тут все сложнее. Сложнее и интереснее. Мы попадаем в круг не литературных, а общественных проблем — проблем семьи (дядя), частной собственности (расписки) и государства — Советского государства 1937 года.

“Сын за отца не отвечает!” Как это следует понимать? Это следует понимать так, что отныне все родственные связи более не действительны, и если твой отец — враг, убей врага. Потому что у тебя есть одна мать — Мать—Родина, и один отец — Отец Народов. Именно в эту пору слово “родина” начали писать с большой буквы, слово же “отечество” вообще забыли. Потому-то юного героя романа зовут Павлик — живой литературный памятник Павлику-на-крови (Морозову). Так вот, в терминах современной структурной антропологии, нормой отношения подводников к своим кровным родственникам является “недооценка родственных связей” (Клод Леви-Стросс). Федор же Михайлович Горелов склонен к “кросс-кузенному браку” (невеста — троюродная кузина) и “авункулату” (вступил в особые отношения с дядей), то есть, говоря современным языком, Горелов допускает “преувеличение родственных связей” — дядя-то ведь троюродный. Вот в том и состоит, как правильно отметил японский шпион Маэда, “противоречивость широкой славянской души”. “Противоречивость” же, то есть раздвоенность души, прямым ходом ведет к двурушничеству (вспомним “Краткий курс” — “троцкистские и иные двурушники”).

Завершая анализ “авункулата” Клод Леви-Стросс пишет:

“...именно потому, что отношения авункулата основаны на элементарной структуре, они проявляются наиболее резко и обостряются всякий раз, когда данная система оказывается в критическом положении”, а затем приводит примеры: система “быстро преобразуется (северо-западное побережье Тихого океана), либо находится в состоянии контакта или конфликта с совершенно другими культурами (Фиджи, юг Индии), либо стоит на пороге рокового кризиса (европейское средневековье)”. Советское общество 37-го года удивительным образом угодило в три кризиса сразу...

Что происходит с личностью, оказавшейся в ситуации одного и

более кризисов? Ответ дан другим великим ученым, Зигмундом Фрейдом — личность впадает в невроз.

В эпоху Фрейда (в которую мы все живем) невротиками занимается психоанализ. Здесь разгадка того, почему Адамов проходит по двум ведомствам, поставляя материал и для социальной антропологии, и для наблюдений над сексуальными отклонениями.

Для психоанализа роман Адамова — идеальный объект. Во-первых, этот источник не замутнен ни малейшим писательским даром. Во-вторых, и это более важно, психоанализа жадно требует сама природа жанра — фантазия, мечта. Не только немецкое *Traum*, английское *dream*, но и классическое русское слово “греза” имеют, кроме значения “мечта”, еще и второе — первоначальное — “сновидение”. И, следовательно, анализ литературной фантастики есть частный случай толкования сновидений.

И тогда роман предстает нам в своем истинном облике — это поток подсознания, и даже более точно — поток травмированного подсознания.

Сам невротик не осознает причин своего заболевания, поэтому, собственно, он и невротик. Задача психоаналитика состоит в том, чтобы из болтовни погруженного в транс пациента выловить драгоценные признания:

“Неожиданно пройдя через смертельную опасность, Павлик попал в тесный круг мужественных людей, в сплоченную семью товарищей, привыкших к опасностям, умеющих бороться с ними и побеждать. Они покорили его сердце своей жизнерадостностью, своей товарищеской спайкой, и легкой и в то же время железной дисциплиной. Родина — сильная, ласковая, мужественная (! — Б—С) — приняла Павлика в тесных пространствах “Пионера”...”

Через какую смертельную опасность прошел Григорий Борисович Гибс, скрывшийся под псевдонимом Адамов? Ответ содержится в оговорках. Вот они, эти вытесненные страхи: Давидович, Марат, Бронштейн, Лев...

Бессмысленно и случайно разбросанные по роману они связываются узлом троцкистско-зиновьевско-бухаринского блока, банды троцкистских и иных двурушников. Оттого-то уже совершенно никчемному персонажу выдается фамилия Богров (не Багров, а именно Богров!) — имя убийцы Столыпина. Черная тень правительства и революционного террора ложится на серые страницы романа. Это и есть первоначальная травма — разгром оппозиции.

Экипаж “Пионера” — “сплоченная семья товарищей”, с ее “товарищеской спайкой” и “железной дисциплиной” — всего лишь псевдоним ВКП/б/. Такой же псевдоним и создатель “Пионера”

Крепин — в основу положена песня из советско—японских времен: **“Броня крепка, и танки наши быстры”**; связь **“брони”** и **“стали”** укрепляется в свете продолжения песни:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин...

“Благодари денно и ночью Крепина”, — учит Павлика комиссар подлодки Семин. — **“В таком скафандре ничего не страшно”**.

Крепин, Родина, скафандр, **“Пионер”** так же превращены в синонимы защиты, физической безопасности, как метафора **“вражеское окружение”** — в физиологию морского дна.

Гибс, старый большевик (партийный стаж с 900-х годов), потерпевший крушение надежд, был вновь принят на борт партийного корабля. Ценой невроза он излечился от галлюцинаций, которые назывались иллюзиями. Боязнь привлечения к ответу за старые грехи вылилась в детское слабоумие: стремление вернуться в материнскую утробу (**“тесные пространства”**), ужас перед сексуальными обязательствами взрослой жизни, млекопитание... Чтобы не видеть неотвратимого приближения чаши страданий, Адамов утыкается в чашку с какао.

Через десять лет после кончины автора лодка **“Пионер”** вновь сошла со стапеля студии **“Грузия-фильм”**. Но какие сказочные перемены произошли на борту! На корабле оказалась женщина — девушка-радистка; родственники за границей уже не пугают зрителя, и Горелов враз лишается и дяди, и невесты, зато обзаводится родным братом; сам же Горелов — воздушный гимнаст. Жуткий антураж исчез, и миф превратился в цирк. Этот цирк назывался либерализацией.

Спустя еще пять лет — в 1960 — подводное кругосветное плавание совершил настоящий корабль — атомная подводная лодка. Была она не советской, а американской и называлась не **“Пайонир”**, а **“Наутилус”**. Адамов, казалось, проиграл последнюю ставку.

Но прошли еще годы, и пучины Мирового океана забороздили атомные подлодки с красными флагами и ядерными ракетами на борту. И тогда Адамов оказался провидцем, потому что истинная Тайна Двух Океанов — это Страх.

ИЗРАИЛЬСКИЕ АНТИУТОПИИ 1984 года

В этом сообщении мы не станем затрагивать тему израильской фантастики в целом, равно как и вопроса, существует ли таковая. Речь пойдет лишь о четырех книгах, объединенных, на первый взгляд, достаточно произвольно, по признакам года издания и жанра. Все они, во-первых, вышли в свет в знаменательном 1984 году — этот год, как мы помним, был провозглашен “орвелловским” и встречен волной симпозиумов, чтений и статей, прокатившейся по западным странам. Во-вторых, все наши книги можно, с некоторыми оговорками, причислить к жанру антиутопии.

Слово “утопия”, как известно, означает буквально “место, которого нет”. В этом плане антиутопию можно рассматривать как двойное отрицание, как “место, которое есть”, и недаром антиутопия всегда будет более конкретна и зла, более ощутима и осуществима, чем утопия. Антиутопия — это закинутый в будущее литературный бумеранг, при возвращении рассекающий настоящее. В антиутопии можно различить открытые и закрытые модели: будущее представлено как конфликт, находящий разрешение в пределах антиутопического построения (открытая модель); будущее представлено как трагедия в ее современном понимании, и трагедия эта не находит разрешения (закрытая модель).

В европейской культуре утопия и антиутопия, в некоем оформленном виде, появляются на сравнительно ранней стадии. Уже в греческой мифологии мы находим идею “золотого века”, этой опрокинутой во времени утопии, и понимание человеческой истории как регрессивного процесса, то есть зачатки антиутопии. Предпосылкой утопии в языческой, а затем и в христианской Европе выступает ностальгическое воспоминание, образ потерянного рая. Позднейшие европейские утопии, трактуя проблемы социального устройства, не обязательно связываются с отдельным этносом или государством. В ранних литературных утопиях (Томас Мор, Рабле), в утопическом социализме, в классических современных антиутопиях (Замятин, Уэллс) географические и этнографические приметы не играют существенной роли. Пространство европейской утопии и антиутопии ограничено самой западной цивилизацией. При нарушении этого канона наблюдается переход из области литературы в область сравнительного исторического анализа. Тени этой

сумеречной зоны, особенно сгустившиеся в первые десятилетия нашего века, изменчивы и принимают очертания то утопии, то антиутопии, в зависимости от их географического приложения: “панмонголизм” и “свет с Востока”, круг идей “Заката Европы” и евразийство, скифство и “желтая опасность”.

В контексте еврейской культуры утопия играет особую роль. В определенном смысле культура эта изначально строится на утопии, причем “вспомогательные” утопии выдвигаются на каждой стадии ветхозаветной еврейской истории. Уже на этом раннем этапе утопия приобретает строгую географическую и этническую обусловленность, будучи всегда связана с еврейским народом и его ареалом. Ко временам так называемых ранних, или первых, пророков происходит окончательная кристаллизация утопии, которая трансформируется в библейский сюжет **ахарит ха-ямим**, скончания времен. Пример такой оформленной утопии мы находим в книге Исайи, главы 34–35, 60 – здесь рассказывается о грандиозных бедствиях, истреблении неугодных Богу людей и народов, славе и расцвете Иерусалима, которому поклоняется остальное человечество. Отметим, что “потерянный рай” как предпосылка утопии в еврейской культуре начинает постепенно увязываться с данным народом и некими конкретными государственно-географическими формами его существования. Наконец, на более поздней стадии утопия корректируется, и ее изначальным условием становится явление Мессии. Антиутопия в еврейской истории воплощена поэтому не в книгах, а в людях и учениях, воспринимавшихся как лже-мессианские: так было воспринято христианство, так воспринимались Шабтай Цви и Франк.

Сионистское учение, впитав многое из мессианско-утопической традиции иудаизма, во многом ее и отвергло, и поэтому для значительной части религиозного еврейства выступало как антиутопия. Для других, в том числе и для своего создателя, оно было практическим рецептом утопии, создававшимся в реальном времени черновиком утопического романа; примечательно, что перу создателя сионизма принадлежит утопический роман “Староновая земля”. Итак, основное течение современной еврейской утопии-антиутопии связывается с проблемой еврейской государственности и с идеей создания государства.

Крайние формы утопии (скончание времен и сионизм) и антиутопии (Катастрофа) тем самым заданы, так что задача сочинения израильской утопии лишается смысла, антиутопия же связывается

с распадом государства в его современном виде. Понятно, что израильские авторы начинают видеть в антиутопии "место, которое есть", орудие политической сатиры и средство идеологической борьбы.

Прекрасным примером такой установки может служить повесть Дова Вигисера "Заговор молчания", образующая как бы пару с "Последним побегом" Моше Бен-Давида: оба автора втягивают в орбиту антиутопии, помимо Израиля, также Соединенные Штаты и анализируют взаимоотношения Израиля и США. Повести эти, в принципе, можно было бы отнести к разряду политических триллеров, но мы все же решились назвать их антиутопиями — дело в том, что в политическом триллере реальность изменяется только по одному параметру, в остальном оставаясь неизменной (к примеру: у террористов появилась атомная бомба — изменен только один элемент реальности); в антиутопии реальность изменяется по многим параметрам.

С появлением "Заговора молчания" в прессе начался спор, кому достанутся лавры зачинателя "апокалиптического жанра" в израильской литературе, как его поспешили определить критики. Социолог Дов Вигисер утверждал, что его книга была написана раньше романов Амоса Кинана и Биньямина Тамуза (о них речь ниже), но что многие издатели якобы опасались выпускать ее в свет. К сожалению, гипотическое первенство не может служить заменой литературных достоинств, которых "Заговор молчания" начисто лишен. Вот наугад выбранная и несколько отретушированная фраза, чем-то нам смутно знакомая: "Он никогда не чувствовал такой близости к женщине, такого желания сблизиться с нею, как было с Брахой, может быть, из-за особенной ситуации, в которой они находились: одинокий номер на седьмом этаже полупустого отеля, в странном и темном городе, где время от времени слышались приглушенные и отдаленные выстрелы". И в самом деле, несколько страниц спустя герой называет своих любимых писателей — в них легко угадываются литературные образцы, избранные Вигисером для подражания: Ремарк, Грэм Грин и Хемингуэй.

Действие "Заговора молчания" происходит на исходе нашего века в Израиле, власть в котором захвачена правой теократией. В реалиях будущего мы без труда узнаем безыскусно замаскированные приметы настоящего: здесь и движение "Сторонники мира", и постоянно мелькающее словосочетание "харизматические лидеры", и раввин-поселенец "лет сорока, лысеющий и бородатый, с вязаной ермолкой на голове, чье лицо время от времени искажает нервная гримаса", и плакат с изображением "звезды Давида с масличными ветвями, раскрытой книги Торы и сжатого кулака". Сюжет книги столь же прост и бесхитроуен: престарелый, усталый, но благородный душой американский журналист, чистая и детская доверчивая женщина, вынужденная платить за свободу своим телом (автор, естественно, заставляет этих персонажей полюбить друг друга), концлагери для противников режима, драматическая встреча с подпольщиками, убийство в роще, ночной побег, одинокая лодка на волнах, допросы, продажные дипломаты и поздняя страсть.

Будущая история Израиля, по Вигисеру, выглядит так: после затяжной войны "на северном фронте" либеральное правительство Израиля объявило об одностороннем прекращении огня. Арабская сторона, уставшая от непрерывных войн, также согласилась на перемирие. Под покровительством европейских держав была созвана конференция в Париже, на которой был достигнут мир при условии автономии на территориях, создания коридора Иордания—Газа и превращения Иерусалима в интернациональную зону. Однако, еще во время парижских переговоров в Израиле произошел переворот, правительство было низложено и власть перешла в руки теократической диктатуры. О преступлениях ее ничего не известно в свободном мире — американская администрация окружила Израиль непроницаемым для средств массовой информации занавесом. К тому же американская пресса охотно соучаствует в заговоре молчания, уверенная, что действует в американских интересах. США согласны поддерживать и покрывать преступления кровавой израильской диктатуры, так как Израиль является единственным надежным союзником Соединенных Штатов в борьбе с возникшим на Ближнем Востоке "мусульманским фронтом", руководимым Ираном. На какой-то стадии США даже снабжают Израиль атомной бомбой, с помощью которой устраивается показательный взрыв в Саудовской Аравии.

Взгляды Вигисера, как видим, вполне совпадают с советской формулировкой "Израиль — орудие империалистической агрессии". В отличие от него, автор "Последнего побега" Моше Бен-Давид обращается к "золотому фонду" сионизма. Свою книгу, признается автор, он адресовал американским евреям и собирался сразу выпустить ее в свет в английском переводе. Это понятно, ведь Бен-Давид несколько лет пробыл в США на должности посланца по делам иммиграции в Израиль. Его книгу прекрасно анализирует Ш. Тейтельбаум в своей статье, напечатанной в журнале "Ньюсвью". Приведем отрывок из этой статьи:

В "Последнем побеге" рассказывается о судьбе небольшой еврейской общины американского Среднего Запада в период, когда над Израилем нависла угроза уничтожения в связи с неожиданным нападением Египта и Сирии. Однако США виновником вспышки военных действий объявляют Израиль, якобы проявивший "непримиримость" на предыдущих переговорах. Саудовская Аравия налагает эмбарго на поставку нефти западным странам, а Соединенные Штаты — частичное, "избирательное" эмбарго на поставку вооружения странам Ближнего Востока. Такая позиция поощряется тем, что в официальных источниках еврейское государство квалифицируется как агрессор, причем поддержка Израиля противоречит, как оказывается, стратегическим интересам США.

Пресса использует любую возможность для нападок на Израиль. В американской еврейской общине наблюдается раскол. Странники Израиля проводят в Вашингтоне демонстрацию, что вызывает резкую критику со стороны правительства, а также средств массовой информации. Вслед за селективными израильскими бомбардировками нефтяных установок и складов оружия Саудовской Аравии в США начинается разгул антисемитизма. Американская нацистская партия массами вербует новых сторонников, учащаются нападения на еврейские учреждения. В ответ несколько молодых евреев организуют "Группу еврейской самообороны", подпольное движение сопротивления.

На более поздней стадии ухудшение экономического положения заставляет Вашингтон возобновить поставки оружия Эр-Риаду. Израиль исключают из ООН. Евреев, занимающих высокие посты в американской армии и Пентагоне, снимают с должностей и обвиняют в саботировании военного экс-

порта в арабские страны. Израилю предъявляют ложное обвинение: его истребители, якобы, сбили американский разведывательный самолет, обслуживающий Саудовскую Аравию. Вашингтон решает разорвать дипломатические отношения с Иерусалимом. Тем временем преследование сионистов в США усиливается и на их деятельность накладывается запрет. Еврейские организации, занятые сбором средств для Израиля, становятся объектом расследований. Евреев продолжают снимать с работы и арестовывать. Израиль близится к военной победе, но в то же время сотни интернированных мучаются в американских лагерях.

В противоположность Дову Вигисеру и Моше Бен-Давиду, авторы "Харчевни Иеремии" и "Дороги в Эйн-Харод" Биньямин Тамуз и Амос Кинан — профессиональные литераторы, и это чувствуется с первых же страниц. "Харчевня Иеремии", по свидетельству Биньямина Тамуза, была задумана как пародия на книгу Иеремии. В самом деле, книга насквозь пародийна — пародируются библейские пассажи и фразы комментаторов, язык ортодоксов и раввинистские проповеди, пересыпанные цитатами. Выше мы говорили об утопии в Библии, о сюжете "скончания времен" — и книга Тамуза действительно антинаучна в том плане, что здесь этот сюжет буквально выворачивается наизнанку. Действие происходит в Иерусалиме в XXI веке; Израиля больше нет, он распался на несколько укрепленных районов, на одном из которых и концентрирует свое повествование автор. Иерусалим представляет собою сплошную бетонную крепость, чьи обитатели, относящиеся к враждующим религиозным группировкам, ютятся в бомбоубежищах. Есть здесь и таинственные группки нерелигиозных, новых марранов, которые лишь по ночам могут позволить себе сбросить маску. Основной источник дохода Иерусалима — экспорт государственных флагов и всевозможных химических составов, предназначенных для убийства того или иного народа. В этом деле обитатели Иерусалима так наострились, что могут предугадать, какое возникнет марионеточное государство, какой флаг будет соответствовать характеру его жителей и, по цветам флага, — каким составом можно будет уничтожить население. Здесь достаточно вспомнить о библейском представлении о Иерусалиме как о цветочье народов; и впрямь, сосуды с химическими составами снабжаются этикетками со следующей надписью: "Из Сиона выйдет свет Торы и слово Господне из Иерусалима. Гарантия 93 процента".

Как пример пронизывающей книгу пародийности приведем хотя бы чисто библейский зачин: "Был человек в семействе Абрамсон, имя его Иеремия, и был человек этот агентом по продаже тканей и постоянным поставщиком иерусалимской флагпошивочной мастерской". Имя Иеремия, понятно, дано герою по аналогии с библейским пророком, упоминание же "семейства Абрамсон" можно расшифровать как намек на известное в Израиле семейство Абрамсон, из числа которого вышло немало знаменитостей — семейство насчитывает несколько сотен человек и раз в несколько лет устраивает семейные слеты.

Иеремию Абрамсону является в видениях покойная жена, которая убеждает его покинуть Иерусалим и удалиться в пустыню. Абрамсон, как выясняется, едва ли не главный "светский марран" Иерусалима. Этим обстоятельством пытается воспользоваться Буки Тронц, секретарь Абрамсона, некрофил и шпион Синедриона, мечтающий добиться благосклонности сестры Абрамсона Гомер. Гомер была брошена мужем по обвинению в бесплодии; с тех пор она превратилась в нимфоманку и спит с любым подвернувшимся мужчиной, безуспешно пытаясь зачать. Лишь один Буки Тронц еще не познал Гомер.

Иеремия и Гомер удаляются из города и открывают под Иерусалимом постоянный двор, где пересекаются пути новых иммигрантов и беглецов из Иерусалима. Здесь же оказывается Буки Тронц, чья задача — разведать, к каким из враждующих религиозных группировок принадлежат иммигранты. Витают в харчевне и призраки, ожидающие своего дня ("Если мы в аллегорической истории, то мы олицетворяем арабов, а если в реалистической, то мы и есть арабы" — поясняет один из них).

Буки Тронц тем временем решает, что единственный способ добиться милостей Гомер — уничтожить все мужское население Иерусалима. Ему удается развязать междоусобную войну, в которой гибнут все, кроме него самого, Иеремии Абрамсона и Гомер. Но силы Буки Тронца подорваны — оплодотворив Гомер, он умирает. Иеремии Абрамсону открывается наконец истина: призывавшая его к себе покойница — это Гомер, его сестра Гомер — это его жена, они — одно.

Значительное место в книге Тамуза отведено злободневной сатире, что отразилось на ее литературных качествах и заставило одного из критиков назвать фантазмагию Тамуза "картонным апокалипсисом". Но "Харчевня Иеремии" к этому не сводится; за актуальной сатирой и травестией угадывается антиутопия. Примечательно, что в качестве противоположного полюса антиутопии Тамуз выбирает не сионистскую, но библейскую утопию, сюжет "скончания времен".

Наиболее серьезной из недавних израильских антиутопий нам представляется книга Амоса Кинана "Дорога в Эйн-Харод". И у Кинана власть в Израиле захвачена военной диктатурой, неблагоприятные лица, чьи имена попали "в списки", вылавливаются и расстреливаются, арабские деревни окружены войсками, из Тель-Авива можно выбраться, лишь минуя заградительные отряды. Герой, прячась в собственной квартире, ловит по транзисторному приемнику передачу радиостанции "Свободного Эйн-Харода", из которой узнает подробности происшедшего путча.

Здесь начинается странствие, описанию которого посвящена вся книга Кинана. Герой (где-то в тексте он называет себя "Рафи", но именем "Рафи", как выясняется, наделены все персонажи мужского пола) решает бежать из Тель-Авива и пробираться в свободный Эйн-Харод. Ему удается бежать из города, и где-то на апельсиновой плантации он сталкивается с молодым беглецом-арабом. Не доверяя друг другу, они все же решают держаться вместе и проводят ночь в убежище времен Войны за независимость. Наутро они становятся свидетелями расстрела в роше и видят разрушенный кибуц.

После перестрелки с солдатами беглецам удается захватить бронетранспортер, затем автомашину с заложниками — офицером и водителем. На ночь они укрываются в пещере. Офицер уверяет, что он сам из Эйн-Харода, что ему пришлось "усмирять" кибуц и что никакого Эйн-Харода больше нет. Наутро пещеру окружают солдаты; появляется посланница — это девушка из Эйн-Харода, подружка офицера. Беглецы бегут из пещеры, пробираясь через вырубленные в скале ходы и залы пещерной синагоги. Командующий северным военным округом — главарь путча — ловит беглецов и везет их в полицию Мегиддо. По радиации сообщают, что несколько офицеров подняли бунт.

В Мегиддо расстреливают шофера, араба и офицера. В тюрьме герою снится сон, в котором он видит себя Иосифом Флавием, а генерала — рим-

ским полководцем. Генерал заставляет героя и девушку спуститься в подземный бункер. Здесь выясняется, что в распоряжении генерала — ракеты времени, с помощью которых он надеется уничтожить всех врагов еврейского народа во все времена и века. Герою удается застрелить генерала и охранников еще до исполнения этого замысла, и вместе с девушкой он выбирается из подземелья. После любовной сцены девушка кончает с собой, герой выходит к Эйн-Хароду — но Эйн-Харода нет. Здесь нет ни разрушенных зданий, ни каких-либо признаков человеческого жилья. Герой вспоминает, что определенные травы произрастают в местах, где когда-то жил человек; но даже этих трав здесь нет. И тут он понимает, что наконец-то пришел в Эйн-Харод.

Что же скрывается за этим авантюрным сюжетом? С самого начала видно, что Эйн-Харод — это чистейший символ, что нет никакого “свободного Эйн-Харода”, который существует, должно быть, только в воображении героя. Его странствие — это постоянный спуск, все глубже и глубже под землю, из подземного убежища в пещеру, из пещеры в подземный бункер. В пещере происходит разговор о том, что было “вверху” и что “внизу”, причем офицер-заложник обращается к герою со словами: “Ты уже умер, ты давно уже мертв”. Так подготавливается и постепенно проясняется мотив загробного странствия.

Эйн-Харод отнесен в будущее библейской утопии, двоящееся и приобретающее черты прошлого, потерянного рая; в Эйн-Хароде “все будет по-иному, все начнется сызнова, тигр возляжет с ягненок, земля возродится вновь”. Но дорога в Эйн-Харод — это не только загробное странствие, это и путь в прошлое, путешествие в истории и во времени. Вот “сионистский” этап странствия: Тель-Авив, встреча с арабом и беседы о взаимной ненависти, подземное убежище (Кинан называет его “слик” на жаргоне 30–40 годов). Затем мы отступаем дальше в прошлое и глубже под землю: подземная пещера; высеченная в камне синагога. Еще один шаг в прошлое — сцена расстрела во дворе тюрьмы в Мегиддо (Мегиддо, напомним — это Армагеддон), повторяющая сцену распятия Иисуса; диктатор-генерал не без иронии расставляет приговоренных: офицер посередине, Махмуд слева, шофер справа. Перед этим, в тюремной камере, генерал видится герою во сне римским полководцем, громадной фигурой, у подножия которой он сам — Иосиф Флавий.

Ракеты времени, предназначенные истребить врагов евреев во все времена, уничтожают историю; они означают конец истории и конец времен. Истреблены последние люди, остаются лишь двое — мужчина и женщина. Наконец исчезает и женщина, и одинокий Адам выходит к Эйн-Хароду.

ЛОЛИТА В СТРАНЕ ЧУДЕС

(секс в американской научной фантастике)

В один прекрасный день в Филадельфии и Нью-Йорке произошли два из ряда вон выходящих события: у двух ничем не примечательных пар родилось по ребенку. Радость счастливых родителей, однако, была омрачена одним обстоятельством: оба ребенка были бесполоыми.

Тех, кого интересует дальнейшая судьба этих младенцев, которых генетическая рулетка избавила от последствий поедания неизвестного плода, отсылаю к рассказу Харви Билкера "Генетический ложный шаг". Отмечу только, что все окончилось благополучно: родителям были обеспечены миллионные гонорары, а их потомство, после некоторых занятых пермутаций, поделило общую судьбу человечества и даже обрело счастье в законном браке.

Рассказ об удивительных младенцах отражает в миниатюре историю развития самого жанра научной фантастики. Чудо-ребенок НФ тоже появился на свет бесполом. В отличие от родителей филадельфийских младенцев, отцы-основатели жанра не только не видели в этом изъяна, но, напротив, гордились нравственной чистотой своего детища и на протяжении почти двадцати лет, с переменным успехом, блюли его от соприкосновения с развратным миром.

Грофф Конклин, один из самых выдающихся представителей добровольного гетто американской НФ 30-х и 40-х годов, выразился просто и категорически: "Соединить секс с научной фантастикой почти так же невозможно, как невозможно с успехом соединить секс и сверхъестественное" (предисловие к антологии "Лучшее в НФ", 1946). Почему это так, Конклин не сообщает. Вторая часть его утверждения — о литературной несовместимости секса и сверхъестественного — покажется совсем уж странной всякому, кто читал Эдгара По или английские готические романы девятнадцатого века. Конклин в том же предисловии упоминает По и даже посвящает ему пространственный параграф. Почему же он не замечает сексуальной подоплеки большей части его рассказов?

Причина этой слепоты лежит в двойной узости определений: что такое секс и что такое научная фантастика? Вышеприведенная цитата взята из полемики Конклина с НФ комиксов, на которую он взирает с высот своего литературного Олимпа. Эта фантастика

использует секс, что явствует даже из ее оформления: “Яркие обложки... с изображениями полуобнаженных пышнотелых красавиц, щеголяющих в леопардовых шкурах или в укороченных спортивных костюмах,.. сражающихся (всегда отважно сражающихся!) с осьминогообразными чудовищами”.

Секс в литературе, таким образом, помещается в узких рамках “романтических” клише массовой культуры. Более того, появление женских персонажей автоматически вызывает появление этих клише, как если бы они были единственной формой описания отношений между полами. Неудивительно, что рассказы, отобранные Конклином для антологии 46-го года населены, как правило, одними мужчинами. А случайно затесавшаяся среди них женщина, принадлежит, парадоксально, к той самой категории “пышнотелых красавиц”. Дело здесь не только в литературной неумелости. Для фантастов того поколения расхожая формула романтической любви покрывала все сложности человеческой сексуальности. Айзек Азимов в одном из своих автобиографических скетчей признается, что истории типа “юноша встречает девушку” трогали его до слез. Результаты этой чувствительности, к сожалению, налицо в его собственных произведениях.

Пуританизм ранней фантастики был тесно связан с литературным самоопределением жанра. Корни НФ уходят глубоко — и в литературную традицию, и в культурный перелом двадцатого века, и в дебри мифологического сознания. Но когда научная фантастика выкристаллизовалась в определенный тип писания и приобрела собственный литературный рынок, она ушла в себя, как закуклевившаяся бабочка, и одним махом оборвала связи с миром обычной беллетристики.

Низкое литературное качество этой НФ было скорее идеологическим жестом, чем результатом бесталанности авторов. “Чистая” НФ 30-х и 40-х находила себя в оппозиции к мутному потоку псевдо-романтической фантазии, с одной стороны, и к психологическому реализму, с другой. В сущности (хотя, быть может, ее творцы этого не сознавали), НФ провозгласила себя новым видом литературы — литературой чистого разума. Она добивалась интеллектуального, а не эмоционального воздействия на читателя. Сама того не подозревая, НФ следовала указаниям Брехта, взывая к критическому суждению читателя (зрителя). Поскольку секс не выделялся из туманной области, именуемой “эмоциями” или “романтикой”, сексу было не место в НФ.

Что подвело фантастику 30-х и 40-х, так это невыполнимость взятых на себя обязательств. Большинство авторов наивно предполагали, что могут очистить литературу от слякоти переживаний простым избранием в качестве темы, скажем, расщепление атома. То, что революционная идея требует революционной формы, оставалось непонятым людьми, литературное образование которых сводилось к умению читать и писать. Это не значит, что среди них не было талантливых — даже в соответствии с общепринятыми мерками — писателей. Но их собственное видение жанра, плюс требования рынка, навязывали им смехотворное сочетание поздневикторианского стиля с ново-гностическим воображением. Поскольку никто из них не представлял себе, как можно писать литературное произведение, не прибегая к литературным клише, изгнанные эмоции — включая стыдливо замаскированный секс — просачивались обратно в самых комичных формах. Примером может послужить рассказ Роберта Вилсона "Вокруг Ригеля" (1931), сочетающий одно из первых применений теории относительности в НФ с сюжетом "любовь и ревность", которого постыдился бы начинающий графоман.

Герой рассказа строит космический корабль, приглашает своего друга участвовать в пробном полете, и только когда они собираются до Ригеля, выясняется, что он замыслил дуэль (на шпагах!). Яблоко раздора — это женщина, единственная примечательная черта которой — то, что она плавает в волнах прибоя, одетая в металлический костюм, усеянный драгоценностями. Победитель возвращается домой — и обнаруживает, что прошли тысячелетия.

Единственным писателем, который в 30-х годах выработал стиль, соответствующий размаху его философских идей, был англичанин Олаф Стэплдон. Отношения между ним и американской журнальной НФ исчерпывались презрением с одной стороны и уязвленным замалчиванием с другой. В самых своих известных произведениях ("Первые и последние люди", "Творец звезд") Стэплдон отказался от таких литературных условностей, как сюжет и характер, создавая космические симфонии, колоссальные панорамы рождения и упадка цивилизации. Но и в более обычных романах он опередил современную ему фантастику на много лет: "Сириус", например, — это история любви между женщиной и разумной собакой.

Стэплдон указал фантастике ее подлинную дорогу. В его произведениях НФ пыталась сложить вместе осколки зеркала, которое культура подносит к жизни, зеркала, разбитого злым троллем науки. Фрагментация реальности сделала невозможной ее отображение в так называемой реалистической прозе. НФ, создающая

монохроматические модели мира, буквализующая метафоры и одомашнивающая архетипы, взяла на себя задачу анализа, заранее признав невозможность полного синтеза.

В американской фантастике той поры все же попадались рассказы, сплавляющие оригинальную идею с особым типом литературного воображения. Если рассказы имели дело с сексом, они, как правило, находились в пограничных областях НФ — там, где она прикасалась с фантазией и готикой.

“Шамбло” Катрин Мур (1933) затрагивает тему сексуального контакта между человеком и негуманоидом и подрывает одну из самых общепринятых теорий секса, согласно которой обычный половой акт между мужчиной и женщиной не только социально нормативен, но и представляет собой пик человеческой способности к наслаждению. Шамбло, психический вампир, высасывает жизненную энергию из своих жертв, обволакивая их покровом своих червеобразных “волос”. Удовольствие, которое они извлекают из этой, на первый взгляд незавидной ситуации, настолько велико, что многие становятся “шамбломанами”, охотно сокращая свою жизнь до нескольких коротких месяцев. Героя рассказа спасает его друг, убив Шамбло. Последний вопрос героя: а где еще есть такие создания?

Ту же тему, о непреодолимой привлекательности чужого, подхватила, почти через сорок лет другая писательница — Джеймс Типтри*. В рассказе “И я проснулся, и вот я здесь, на холодном склоне холма” (1971) герой выменивает свое достоинство, свою профессию и свою жену на краткие и унижительные сексуальные контакты с инопланетянами. Он не одинок — вся Земля следует его примеру, “отдаваясь” чужой культуре, как когда-то слабые народы — полинезийцы, африканцы, индейцы — “отдавались” своим цивилизованным завоевателям. Секс здесь становится метафорой сложного комплекса отношений между человеком и Чужим, будь то чужой по культуре, расе или полу.

В 30-е годы “Шамбло” была исключением. Большинство писателей охотно берегли целомудрие НФ. Но что гонят в дверь, вернется через окно — либидо научных фантастов действует по тем же законам, что и у простых смертных. Норман Спинрад, пишущий в период эмансипации НФ (80-е годы), отмечает в послесловии к своему роману “Железная мечта”: “Литература научной фантастики кишит рассказами о всемогущих фаллических суперменах, пришельцах, изображенных как фекальные суррогаты, фаллические тотемы, вагинальные символы кастрации... (она) полна сублимированными гомосексуальными и даже прямыми педерастическими отношениями...” Поскольку психоанализ НФ не входит в тему данной статьи, отмечу только, что Спинрад прав. Особенно до войны, когда фрейдизм еще не стал расхожим словом, всплывшие из подсознания образы с невинной прямоотой ложились на бумагу.

* Это не описка. Джеймс Типтри — это псевдоним Алисы Шелдон, которая на протяжении почти десяти лет мистифицировала мир НФ, выдавая себя за мужчину и агента разведки вдобавок.

В век популяризации психоанализа некий Чарлз В. Диффрин подумал бы дважды, прежде чем развлекать своих читателей описанием вонючей массы, с "отвратительной бесформенностью" выливающейся из чужепланетного корабля, или выжимать из них слезы, описывая нежную дружбу двух пилотов. Рассказ, в котором нет ни одного женского образа, подходяще называется "Икра звезд".

Дата начала сексуальной революции в фантастике четко определена: 1952 год, когда Филипп Хозе Фармер опубликовал рассказ "Любовники", позднее переделанный в роман.

Рассказ вызвал бурю протестов и был отвергнут несколькими издателями. Этот факт играет на руку тем, кто обвиняет фантастику в стилистической старомодности по отношению к "большой" литературе: после Джойса и Лоуренса эротика была признанным элементом художественной прозы. А при всем при том "Лолита" Набокова была примерно в то же время запрещена к изданию в Соединенных Штатах. Почему?

Как ни несопоставимы по своим художественным достоинствам "Лолита" и "Любовники", в одном они схожи: в обоих речь идет об эротике, лежащей за пределами того, что западная культура определяет как норму. Но если психологический роман подрывает моральные клише изнутри, фантастика указывает на перспективу, в которой любая мораль становится сомнительной.

Действие "Любовников" (речь сейчас идет о расширенной версии) происходит в своего рода технологической теократии. Сейчас мы бы назвали такое общество хомейнистским — комплимент социальному чутью автора. Религия — смесь иудаизма с псевдонаучной мистикой теософского типа — проникла во все закоулки частных и общественных отношений. Отброшенное в средневековье во всем том, что касается философии, политики и этики, общество все же продолжает развиваться технологически. Сексуальная политика властей состоит в восхвалении мистики брака и деторождения в сочетании с традициями, которые делают невозможным наслаждение как в рамках брака, так и вне их. Главный герой, лингвист Хал Ярроу, сбегает от жены единственно возможным способом — став членом экипажа космического корабля.

Корабль попадает на планету, населенную разумными существами, происходящими от насекомых. Но на планете когда-то были и настоящие гуманоиды, уничтоженные в результате долгой вереницы войн. Ярроу исследует развалины их заросших джунглями городов и в одном из них находит молодую женщину, говорящую по-французски. Она утверждает, что ее зовут Жанет и что она — гибрид, плод союза между одной из немногих уцелевших женщин — гуманоидов и майором — французом, который в свое время сбежал с унифицированной Земли. Ярроу тайно привозит ее в свое жилище и между ними завязывается роман, который во всем — полная противоположность его неудачному браку.

Если бы история на этом кончилась, "Любовники" были бы просто дешевой мелодрамой, обряженной в хромированные одежды, и то, что Жанет

умирает в конце романа, прекрасно укладывается в эту схему. Но ни одна уважающая себя мелодрама не кончается лекцией по биологии, которую читает убитому горем герою симпатизирующий насекомоподобный Вог. Из этой лекции следует, что Жанет — не человек и даже не гуманоид. Она — насекомое, разумный паразит вымершей гуманоидной расы.

Биология Жанет оригинальна настолько же, насколько банальна ее психология. Ее вид состоит только из самок, которые потенциально бессмертны. Так называемые лалиты (слава Набокова, очевидно, докатилась и до Альфы Центавра) воспроизводят только себе подобных, но благодаря сложному биохимическому процессу их дочери могут быть внешне похожи на своих “отцов” — мимикрия, эксплуатирующая человеческую сентиментальность. Беременная лалита умирает так же неотвратимо, как самки некоторых ос. Ее тело становится подножным кормом для личинок. Единственное противозачаточное средство — алкоголь, выпитый перед соитием. Судьба Жанет решена, когда Ярроу решает излечить свою любимую от алкоголизма и подменяет вино в доме неотличимым от него по вкусу безалкогольным напитком.

Бесцветная любовная история, наложенная на биологическую выдумку, видится в неожиданном ракурсе. По всем привычным меркам Ярроу виновен в скотоложестве. Но Жанет, хоть и насекомое, все же разумна и, вдобавок, искренне к нему привязана. Моральная двусмысленность такой ситуации указывает на то, насколько искусственны наши представления о естественных половых отношениях.

Мы любим утешаться тем, что в основе сексуального влечения лежит вечный закон природы. Многие писатели (все тот же Лоуренс, например) взывали к этому предполагаемому “голосу крови”, чтобы оправдать отступления своих героев от социально санкционированной морали. Вера в биологическую мудрость природы — последнее прибежище скептика. Даже психоанализ используется для поддержки сексуального статус кво, несмотря на то, что по утверждению Фрейда, энергия извращенной либидозности только постепенно канализируется в социально приемлемые формы.

НФ дает возможность разрушить эту приятную иллюзию (как и многие другие) простой постановкой того, что некоторые критики называют “мысленным экспериментом”. В “Любовниках” секс и его производные: страсть, любовь, привязанность — одним махом отсекаются от “естественной” цели продолжения рода. Размножение становится безличной рулеткой. Брак Ярроу бесплоден, хотя дети — это единственное, что может его хоть как-то оправдать. Но его счастливый союз с Жанет разрушен нежеланным вмешательством закона “плодитесь и размножайтесь”.

В современном обществе литературная эротика перестала играть подрывную роль, отведенную ей писаниями де Сада. Порнография превратилась в коммерческий продукт; обязательная постельная сцена в романе средней руки имеет ту же эмоциональную и художественную значимость, что и целомудренный поцелуй в любимом чтении наших прабабушек. Фантастика, однако, сохраняет способность шокировать — не техническими описаниями, а тем самым холодным и остранным взглядом, которым Олаф Стэплдон смотрел на человеческую историю. Изображения полового акта в “Любовниках” сдержанны даже по меркам 52-го года. Но чего не могли простить Фармеру редакторы и издатели, так это подрыва тех самых романтических клише, которыми прикрывала свою художественную наготу предыдущая НФ. Трудно жить в релятивистской Вселенной: даже самый закаленный звездодородец нуждается в теплом уголке, где он может преклонить голову среди незыблемых и вечных ценностей. Долгие годы семья и любовь были

тем заповедным уголком, где сбрасывали доспехи герои и отстегивали лазеры супермены. Но к концу 50-х годов идиллия пришла в упадок. Не только потому, что предмет нежной страсти грозил то и дело обернуться насекомым, — сама природа этой страсти вызывала большие сомнения. Фантастика начала взрослеть.

Любой литературный жанр накладывает на писателя определенные обязательства. Выбор жанра — это больше, чем техническое решение: это почти что декларация мировоззренческой принадлежности. Идеологические подосновы психологического романа или эпической поэмы могут быть скрыты под эстетическими наслоениями; тем не менее, они существуют. Вопрос состоит в том, какого рода мироощущение формирует НФ, и есть ли таковое вообще. Если нет, то с глубочайшим сожалением мы вынуждены будем отказать ей в праве именоваться жанром и признать за ней статус литературного паразита (разумного). То, что фантастика оперирует набором специфических клише, — роботы, космические корабли, безумные ученые — еще не дает ей автоматического допуска в закрытый клуб литературы. Рождение нового литературного жанра знаменует собой культурную революцию, перелом в человеческом восприятии мира и самого себя. Любвиная лирика трубадуров принесла в мир идеал романтической секулярной любви; выскочка — современный роман увековечил победу позитивизма, психологизма и среднего класса. Что может противопоставить этому фантастика? Каков ее *raison d'être*?

Литература психологического реализма реалистична лишь по отношению к абстрактной идее психологии. Дотошное исследование характера предполагает, что характер существует; тщательное выписывание героя невозможно без убеждения, что каждый человек представляет собой неделимое индивидуальное целое. Как известно, это убеждение отнюдь не универсально. Социальное давление может превратить личность в набор бессвязных рефлексов или, наоборот, отштамповать из членов данного общества взаимозаменяемые единицы. Американский литературовед Ирвинг Хау заметил, что тот, кто критикует "1984" Орвелла за отсутствие в нем полноценных характеров, не понимает, о чем эта книга. В мире Министерства Правды не может быть индивидуальной психологии.

1984-й уже прошел, но утверждение Хау во многом справедливо и по отношению к нетоталитарным обществам с их информационным потоком и массовой стандартизацией. В судьбе личности все большую роль начинают играть силы, для которых не было места в традиционной структуре психологического романа, — экономи-

ческие процессы, политические сдвиги и даже абстрактные идеи. А открытия Фрейда и Юнга прочертили контуры психического Солариса — океана под-личностной, под-сознательной психической деятельности, по отношению к которому “характер” — не более, чем тонкая поверхностная пленка.

Распластанная, как масло в бутерброде, между социумом и под-сознательным, личность пытается или сохранить иллюзию собственной независимости — отсюда бессмертие романа, так раздражающее некоторых современных критиков, или исследовать наползающие на нее миры, которые составляют — парадоксально — часть ее самой. Литературный модернизм и пост-модернизм успешно подорвали догму психической автономии. Заключительные главы “Улисса”, в которых скрупулезно выстроенные человеческие образы растворяются во всемогущей стихии языка, указали литературе на один из возможных путей преодоления кризиса психологического реализма. Для тех, кто пошел по этому пути, язык превратился в альфу и омегу творчества, а заодно, и реальности. Вернее, реальность, как таковая, перестала существовать: лингвистические нормы формируют наше восприятие мира и самих себя, и за их пределами само понятие “знания” утрачивает смысл.

Модернизм и пост-модернизм питались отголосками открытий в лингвистике и антропологии, указывающими на относительность культурных абсолютов и на их зависимость от языка данной культуры. Но триумфальный прогресс точных наук создавал другой образ: языка как послушного орудия концептуального мышления и идеи как основной единицы познания.

Просачиваясь в литературу, эти модели теряли свою гносеологическую четкость и превращались в невидимые подосновы жанров и направлений. Научная фантастика отказалась от элитарных языковых игр — и поплатилась за это стилистической второсортностью и жанровой мимикрией. Но зато она оказалась единственной массовой литературой, способной — пусть и в вульгаризованной форме — на анализ коллективной психики, поглощающей психику личностную; анализ, который не под силу психологическому реализму с его сосредоточенностью на характере.

Выпуклый полноценный характер не то, чтобы невозможен в НФ — осмелюсь сказать, он ей не нужен. Наташу Ростову не втиснешь в космический корабль. Но вот фантазмагорические создания, населяющие мир Диккенса, ближе к несформулированной эстетике НФ. Психологические прозрения Диккенса не сосредото-

чены в отдельных фигурах, а распылены в описаниях, образах, ситуациях, пока весь роман не превращается в замкнутую Вселенную мифа, в психический ландшафт, по которому движутся герои-манекены. Миф — это предел психологического проникновения, но по своей природе он враждебен индивидуальности. НФ не создает мифологии; она просто исследует те вне- и надличностные компоненты психики, для которых миф является единственно адекватной формой выражения. Научная фантастика — это литература ситуации; так же, как и миф об Эдипе.

Фантастика потрошит своих героев. Они живут в мире, населенном собственными страхами, надеждами, побуждениями и идеологиями. Вместо того, чтобы безнадежно пытаться отразить все сложности современности, фантастика мастерит карманные Вселенные на заказ. Ее художественный метод состоит в проецировании: формы реальности становятся психическим кодом. Внешнее пространство смыкается с внутренним: чем дальше к звездам, тем ближе к самим себе. Литература, в отличие от науки, не может не быть антропоцентричной, но НФ верна традициям восемнадцатого века больше, чем девятнадцатого; ее объект составляют не люди, а Человек.

Внимание к безличным формам психической жизни характеризует не только научную фантастику, но и такие родственные жанры, как готический роман, рассказ с привидениями, фантазия и т.п. И все-таки НФ не зря настаивает на своей уникальности. Она единственная рациональна по отношению к иррациональному. Прилагательное в названии жанра определяет не тему фантастики, а ее позицию. Даже “чистая” технологическая НФ исследовала не научные идеи — никакая литература на это не способна — а их преломление в коллективном сознании. Иными словами, она пыталась найти место науки в том переплетении социальных, культурных и психологических факторов, которые составляют “климат” данной эпохи. И в процессе этого поиска она превратила рациональное в эстетическую категорию.

НФ в этом смысле относится к фантазии, как классический детектив — к роману насилия. Логика изгоняет страх. Эдгар По недаром был автором математически выстроенных детективных головоломок (и одним из прародителей НФ заодно). Рационализация кошмара обуздывает его всепоглощающий хаос. Поэтому зачастую минимальный (псевдо) научный аппарат НФ — это больше, чем фиговый листок жанра. Издатели на Западе знают, что

делают, когда отделяют даже ужасную НФ от литературы ужасов. Несмотря на сюжетное сходство, эмоциональное воздействие этих двух видов массового чтения принципиально различно. Роман ужасов парализует своих читателей загадкой, для которой нет и не может быть разгадки. НФ, простым указанием на принципиальную возможность понимания, обеспечивает безопасное расстояние между читателем и текстом. Понимание иррационального, даже ложное, укрощает его.

Все это длинное отступление понадобилось нам для того, чтобы понять, почему такой роман, как "Любовники", с картонными персонажами и ничем не примечательным стилем, может претендовать на серьезное внимание. НФ должна отвечать минимальным требованиям литературной компетентности, но ее достоинства часто открыты лишь посвященному. Фармер — не лучший стилист даже в мире фантастики; в последнем приближении — коммерческий писатель. Он продает символ и идеи: слова всегда найдутся.

Секс по своей природе коллективное явление. Половое поведение Homo Sapiens легко подразделяется на основные типы, с небольшими индивидуальными вариациями. Эти типы, в свою очередь, определяются психоаналитическими (то есть, внеличностными) и культурными (то есть, надличностными) факторами. Поэтому порнография так однообразна. Производство сексуальных фантазий для людей с частично атрофированным воображением работает блочным методом.

В отличие от коммерческой порнографии, НФ дает уникальную возможность творческого подхода к сексуальной фантазии. В рамках жанра любое извращение может быть превращено в сюжет. Но именно это превращение — плюс его рационализация в терминах неземной биологии или изменившихся моральных норм — лишает фантастику на сексуальные темы привкуса грязи, без которого невозможна порнография. Порнография неизменно действует в рамках запрета — полная вседозволенность подорвала бы ее психологическую эффективность. Само понятие непристойности возможно только, как негатив пристойного. Порнография эксплуатирует общепринятую идею пристойного, фантастика подрывает ее.

Фармер, всегда чуткий к требованиям рынка, на время оставил скучные пастбища НФ и вместо сексуальной фантазии посвятил несколько романов фантастическому сексу. Из этих гибридов НФ и порнографии самый известный "Звериное число", где расследование убийства полицейского (который умер от потери крови, когда у него откусили половой орган) приводит героя в гнездо развратных пришельцев. Роман, к сожалению, не удался — не из-за недостатка воображения у автора, а из-за жанровой несовместимости двух составляющих текста. Порнография по своей природе рассчитана на возбуждение читателя; НФ неизбежно вводит элемент интеллектуальной игры, окатывающий холодной водой разгулявшееся либидо. Читатель "Звериного числа" оказывается между двумя стульями: он может либо сосредоточиться на многочисленных описаниях экзотических половых актов — и, примерно, на пятидесятой странице перестать понимать, что собственно происходит, — либо увлечься борьбой с кознями коварных пришельцев — и отреагировать на книгу с наклейкой "Только для взрослых" головной болью.

То, что порнография и НФ плохо уживаются вместе, не значит, разумеется, что откровенным описанием секса не место в окружении компьютеров и квазаров. Фантастика 60-х и 70-х оставила далеко позади скромные сцены "Любовников". Один недавний пример продемонстрирует, как относиться

ность морали доказывается в условиях отсутствия цензуры. В рассказе Джона Варли "Бухта битника" (1980 г.) есть подробное описание полового акта между двумя юношами, один из которых — учитель, а другой — ученик. "Ученик" и "учитель" не нуждаются в кавычках; это их буквальные роли. В мире Варли учителя физиологически (но не психологически) превращаются в сверстников своих подопечных. Они растут вместе с ними и через совместные игры обучают их всему, что положено знать взрослым, — в том числе, умению любить. Расставание между героями неизбежно — одному из них предстоит расти, второму — снова стать ребенком и учить других детей. Их последний полудетский секс становится символом всего, что ученик должен оставить позади, чтобы вступить в мир взрослых. А если кого-то беспокоит пол участников — оба они, на самом деле, бывшие девочки. Или вернее, как любой другой обитатель этого примечательного будущего, они меняют пол по желанию.

Рассказ Варли (и весь связанный с ним цикл) принадлежит к тому направлению в сексуальной НФ, которое мы можем назвать **культурологическим**. Фантасты этого направления видят в сексе не незыблемую биологическую данность, а производное от культуры данного общества. Измените культурные предпосылки, измените социальные условия — и то, что мы считаем извращением, станет нормой. Даже разделение на мужчин и женщин может оказаться не абсолютным.

Это, разумеется, не единственно возможный подход к анализу секса. НФ не привязана к определенному темпераменту: сексуальная утопия одного — это прекрасный новый мир другого. Среди фантастов есть свои биологические консерваторы. Однако природа жанра такова, что даже утверждение статуса кво возможно только путем испытания альтернатив. Авторы, верящие в незыблемость био-психологической основы секса, меняют моральные нормы. Результаты такого изменения обычно (но не всегда) оцениваются с точки зрения привычных идеалов моногамии и романтической любви. Это — **моральная НФ**.

Психоанализу не повезло в обычной литературе. Камнем преткновения для писателей, не желающих превращать свои произведения в истории болезни, была безличность фрейдизма, его сводимость к набору заданных формул. Драматизация этих формул — дело нетрудное, но неблагодарное. "Синдром Портного" Филиппа Рота демонстрирует, с какой легкостью такая драматизация превращается в самопародию. НФ дает автору уникальную возможность прямого доступа к центральному мифу психоанализа, минуя его временами сомнительные практические применения. **Психоаналитическая НФ**, сознательно использующая науку о подсознательном в

качестве своей идейной базы, невелика по объему, но содержит несколько в высшей степени примечательных произведений.

Из всего, что говорилось выше о мировоззренческом противостоянии фантастики и психологического реализма, не следует, разумеется, что НФ не знает психологии. Но, в соответствии с ее просветительскими тенденциями, фантастику интересуют не личности, а типы. Однако сексуальная НФ часто имеет дело и с **психологическими** типами, поставленными в ситуацию, которая точно соответствует их внутреннему состоянию. Разрабатывать жилу такой фантастики нелегко, но литературная удача иногда оборачивается настоящим самородком.

Эти четыре разновидности дают в совокупности всю классификацию сексуальной НФ. В каждой из них исследуется тот или иной аспект секса: психоаналитический, психологический, культурный или моральный. Эта классификация может быть дополнена более привычным тематическим распределением. Темы сексуальной НФ включают половые отношения между людьми и неземлянами, механизацию секса, хирургическое или генетическое изменение пола, одно, или многополовые общества и тому подобное. Интересно, что определенные темы тяготеют к определенным типам НФ. Культурологическая НФ, к примеру, почти всегда строит альтернативные общества. Это понятно; но почему психоаналитическая НФ очень часто изображает союзы людей с инопланетянами, уже не так очевидно.

Вспомним "Шамбло". Сюзан Губар в статье "К.Л. Мур и черты женской НФ" указывает, что Шамбло — это гротескная квинтэссенция женственности. Она воплощает подсознательные мужские страхи перед ненасытностью женского тела, которое засасывает своих партнеров обратно в темные кровавиные глубины материнского лона. То, что на одном уровне виделось бегством от нормальных человеческих отношений, на другом оборачивается возвращением к их истокам.

В современном психоанализе важна концепция Другого. Другой — это все, что не ты; это — рамка зеркала, в которое смотрится маленький ребенок, впервые осознавший собственное "я". Это — отец и мать, это — закон и культура; все, что угрожает хрупкой цельности сознания; все, что мешает немедленному удовлетворению желания. Другой — это объект желания и препятствия на его пути; ночной страх, ярость, страсть; вечно ускользающая тень.

В терминах культуры роль Другого попеременно брали на себя природа, Бог, дьявол, этнические меньшинства и — везде и всегда — женщины. Любой сексуальный контакт включает диалектику борьбы Другого и "я", схватку двух субъектов, каждый из которых пытается навязать другому роль объекта. Оружие этой схватки — отчуждение, а где же искать предел чужого, если не в космосе? Пришелец, неземлянин, нечеловек становится фокусом всех противоречивых импульсов по отношению к Другому, бушующих в человеческой психике.

В рассказе Фармера "Брат моей сестры" (1960) инопланетянин играет почти ту же роль, что и Шамбло, — проекция мужского страха и отвращения, вызванных таинственной жизнью женского тела. Но Фармер меняет угол зрения. Если двусмысленность Шамбло вызвана тем, что она и на самом деле чудовище, описание Марсии — ее эквивалента в "Брате моей сестры" — не оставляет сомнений в том, что подлинные монстры таятся в подсознании героя. Лэйн, первый астронавт на Марсе, не может предвидеть встречи с чужим, потому что оно слишком ему близко. Марсия, представительница другой цивилизации, посетившей Марс, выглядит, как женщина (если не считать того, что она лишена половых органов); она мила и искренне доброжелательна. Но ее половая жизнь основана на двухметровом черве, который одновременно ее ребенок и ее фаллос. Лэйн, цивилизованный человек и христианин, не в состоянии совладать с наплывом первобытных фобий. Невинный трюк внеземной биологии видится ему оскорблением собственного мужского достоинства. Он убивает червя — и слышит от Марсии, что та его прощает и надеется, что рано или поздно он научится видеть в ней свою сестру.

Метод размножения Марсии вызывает неизбежные ассоциации с оральной сексом, а ее червь напоминает описанные Фрейдом фантазии "фаллической матери". Неудивительно, что Эго бунтует, встретившись с химерами собственного подвала. Но в рассказе этот бунт видится, как бессмысленный, более того — преступный. Осуждая попытку Лэйна навязать моральную значимость нейтральному биологическому процессу, автор указывает на один из возможных путей разрешения конфликта между "я" и Другим. Примите Другого во всей его чуждости — если можете.

"Брат моей сестры" совмещает психоаналитические тона с традиционной научно-фантастической тематикой: отношения с иной цивилизацией. Но НФ может использовать свои жанровые возможности и для простой иллюстрации некоторых положений психоанализа. В рассказе того же Фармера "Мать" (1954) молодой человек по имени Эдди попадает внутрь колоссальной самки неземного биологического вида, которая растит свое потомство в огромной матке. Эдди патологически привязан к собственной матери, властной и умной женщине. Накормленный и ухоженный внутри неподвижного тела неземной Матери, он постепенно переносит свою привязанность на нее. Она становится для него всем, чем его настоящая мать никогда не могла бы быть: человеческое существо не в состоянии полностью соответствовать психическому архетипу. Процесс переноса завершен, когда Мать убивает и пожирает настоящую мать Эдди. Последний запрет в его сознании — и последнее, что делало его человеком, — исчезает, когда Эдди выполняет оплодотворяющую процедуру для Матери. И так он и живет, "с часами его тела, тикающими в обратном направлении", обласканный, ухоженный, внутри колоссального фрейдистского символа...

Реалистический рассказ, поставивший своей задачей добиться подобного эффекта, должен был бы прибегнуть к мелодраме инцеста. Но это ограничило бы его эмоциональное воздействие: инцест неизбежно вызывает у читателя реакцию отталкивания. А чтобы психология такого рассказа сработала, читатель должен узнать себя в герое.

Узнать себя в Эдди невозможно — его одномерность тому порукой. Но узнать себя во вселенной Эдди может всякий. Даже тому, кто не читал Фрейда, знакомо желание убежать, спрятаться, свернуться в клубок, пригреться в бархатной темноте невоспоминаемого детства. Каждый знает, какое место самое безопасное в мире, куда указывают стрелки спешащих в обратном направлении часов.

"Мать" исследует тот глубинный пласт психики, в котором личности нет

места. НФ, которую мы условно назвали психологической, создает ситуационные модели для этапов личностного развития. Ломка переходного возраста; гомосексуализм; поиск любви; ее запоздалый приход — обо всем этом фантастика умеет говорить на своем собственном языке.

В рассказе Роберта Сильверберга “Больше не толкать” подросток, страдающий всеми сексуальными недугами своего возраста, обнаруживает в себе способность к телекинезу. Умение выкручивать электрические лампочки усилием воли — не совсем то, что ему нужно: он предпочел бы девочку из соседнего дома. Девочку заполучить нелегко, и власть над вещами постепенно становится для него предметом гордости. Но вот он добился своего, потерял невинность — а вместе с ней и волшебную способность выкручивать лампочки и толкать по полу башмаки. Цена, которую платишь за посвящение в секс, — это приобщение к миру взрослых, к миру браков и рождений, обыденности и смерти.

Не лучше ли остаться в стороне, сохранить девственность с ее ореолом магии? Харлан Эллисон в рассказе “Последний день хорошей женщины” показывает обратную сторону медали. Тридцатилетний девственник со способностями к ясновидению узнает, что через неделю наступит конец мира. Его последнее, почти невыполнимое желание — найти себе женщину. За считанные часы до конца мира он находит проститутку. Она — единственная, кому он может передать свою нерастрченную любовь и свои деньги, превращающиеся в пепел вместе с ее рукой в лучах взорвавшегося солнца.

Грустные поиски героя Эллисона все же успешнее, чем поиски Трэйджера из рассказа Джорджа Мартина “Мясник”. Профессия Трэйджера — надзиратель над трупами. На его планете мертвые человеческие тела с искусственными синтомоэгами, чувствительными к мыслям оператора, используются в качестве дешевой рабочей силы. Они же составляют контингент “мясницких” — публичных домов с мертвыми проститутками, настроенными на мозговые излучения клиента. Первый секс Трэйджера в “мясницкой” идеален с технической точки зрения — и неудивительно; его партнерша — это простое продолжение его самого. Но он хочет большего. Ему нужна любовь. Все его попытки найти эту любовь кончаются провалами, каждый из которых болезненнее предыдущего. Женщина, которая его не любит; женщина, которая его бросает; женщина, которую он пытается любить и не может... Это не вина Трэйджера и не вина женщин. Человеческие существа проецируют друг на друга свои потребности и страдают, когда иллюзии приходят конец. И потому Трэйджер возвращается к единственной возлюбленной, которая ему никогда не изменит, которая его всегда понимает — к мертвому телу, управляемому излучениями его собственного мозга.

После этой экскурсии в некрофилию, гомосексуализмом нас уже не испугаешь. Сказать по правде, Гранти, который терпит лишения и сносит насмешки, чтобы сохранить верность своему идеалу любви, вызывает большую симпатию, чем Трэйджер с его тоннами мертвого мяса — но у каждого свои вкусы. На Земле будущего, описанной в рассказе Теодора Старджена “Мир, потерянный недаром”, царит консерватизм разврата: механический секс общепринят, но искреннее чувство — особенно искреннее гомозеротическое чувство — это табу. Несчастье Гранти в том, что он любит своего капитана, для которого неприемлема сама идея такой любви. Гранти готов на все, чтобы только продолжались их совместные полеты в космос, где он может быть наедине с человеком, которого любит — и со своими собственными тайными мыслями. Во время одного из таких полетов они получают задание — доставить двух беглецов на могущественную планету, находящуюся в состоянии вооруженного нейтралитета с Землей. Эти беглецы — гуманоиды,

но не люди — начинают читать мысли Гранты, и он понимает, что должен их убить. В ответ на его невысказанный импульс они рисуют картинки, из которых явствует, что они — гомосексуалисты, сбжавшие с планеты, на которой это — преступление, наказуемое строже, чем на Земле во времена процесса Уайльда. Они искали убежища, ибо Земля в их родном мире пользуется славой планеты гомосексуалистов. С их точки зрения физиологическая разница между мужчинами и женщинами настолько незначительна, что не оправдывает деление на два пола. В мире беглецов мужчины и женщины практически принадлежат к разным видам...

Несмотря на стилистическое несходство, эти четыре рассказа объединяет общий художественный прием: кристаллизация психологической ситуации в сюжетную формулу. В каждом рассказе есть момент, когда дилемма героя переносится на внешний объект и именно этот объект становится краеугольным камнем художественной структуры, замещая собой характер. Башмак, отказывающийся ползти по полу, у Сильверберга; пачка банкнот в руке женщины, испепеленная первым лучом утреннего солнца, у Эллисона; страшное описание последней возлюбленной Трэйджера, из которого только постепенно начинаешь понимать, что она — труп; рисунок, на котором рядом с двумя мужчинами изображено маленькое уродливое существо с округлыми конечностями, в "Мире, потерянном недаром"... Все это — больше, чем символические подспорья психологического анализа; в них, в этих замороженных жестах, неподвижных вещах, и сосредоточена психологическая значимость рассказов. Миф о Пигмалионе продолжает преследовать НФ: человек узнает самого себя в деле своих рук.

Моральную НФ интересуют не люди, а общества. Знаменитый мысленный эксперимент ("что будет, если?"), который часто считается сутью фантастики, ставится здесь по отношению к общественным моральным нормам. Но для того, чтобы оценить результаты такого эксперимента, сам автор должен занять определенную моральную позицию — и тут-то и начинаются проблемы.

Моральные антиутопии писать легче легкого. Все, что требуется от автора, — это минимальная экстраполяция уже существующих тенденций: выращивание детей в пробирках, распад семьи — и большой запас благородного негодования. Существенным является также умение закрывать глаза на очевидное; в данном случае, на вопрос, почему личная позиция писателя или общества, в котором он живет, должна приниматься за точку "правильного" морального отсчета.

Примером такой бездумной антиутопии может послужить, скажем, рассказ Нельсона Бонда "Жрица, которая восстала", постулирующий возникновение в будущем примитивно-матриархального общества. Власть женщин представляется автору настолько неестественной, что простого изнасилования героини оказывается достаточно, чтобы "обратить ее на истинный путь".

Интереснее рассказ Роберта Сильверберга "В группе". Он тоже судит будущее с точки зрения настоящего, но, по крайней мере, делает попытку объяснить, почему моногамный брак привлекательнее описанного в рассказе группового. "Группа" вооружена техническими приспособлениями, позволяющими каждому ее члену разделять ощущения копулирующей по расплыванию пары. Только эта пара и нуждается в физической близости, остальные члены "группы" могут находиться в любой точке земного шара. Герой рассказа, Мюррей, влюблен в одну из женщин "группы" и хотя он может с ней спать, как и с любой другой, ему не хватает эмоциональной теплоты, которую не в состоянии дать механизированный групповой секс. Будущая вседозволенность не только обедняет чувства; по-своему она может быть так же консервативна, как и самый суровый пуританизм — факт, уже отмеченный

Теодором Стардженом. Мюррея, в конце концов, исключают из "группы", которая не может принять его влечения к одной женщине.

Предостерегать, как мы уже отметили, легко; мечтать трудно. Большинство классических утопий возвращают отношения между полами к моральному идеалу, который их собственное общество признает, но которому не в состоянии следовать. Немногим хватает мужества поставить этот идеал под сомнение; и только у единиц хватает дерзости его отрицать. У Теодора Старджена есть оба этих качества в избытке. В повести "Если бы все люди были братьями..." он изображает (как утопическое) общество, в котором отменен запрет на инцест.

Такую иллюзию труднее проглотить, чем невинные пристрастия Гранти. Гомосексуализм был респектабельным явлением во многих культурах, включая Грецию Сократа и Платона. Но не было еще ни одного общества, даже самого примитивного, в котором инцест — по крайней мере, между матерью и сыном — не был бы абсолютным табу (из чего не следует, разумеется, что это табу никогда не нарушалось).

Слабость позиции Старджена как раз и состоит в том, что он не спрашивает себя: почему это так? Его аргументы в защиту инцеста крепко спаяны и даже остроумны: он утверждает, например, что только подавление естественных желаний могло привести к возникновению такого нелепого понятия, как Родина—Мать, и к еще более нелепому стремлению отдать за нее жизнь. Но он даже не упоминает психоанализ и избегает вопроса, затронутого Фармером в "Матери": что, если снятие всех запретов приведет к исчезновению человека как разумного животного и к крушению цивилизации? Старджен мог бы ответить, что табу на инцест — не единственно возможная основа цивилизации; табу на насилие, например, могло бы быть альтернативой. Но вопрос не задан, ответ не получен.

Рассказы Бонда и Сильверберга и даже вызывающая повесть Старджена на деле глубоко консервативны. Отношение к сексу меняется, но сам секс неизменен. Мужчины остаются мужчинами, женщины — женщинами и инцестуозная семья — семьей. "Если бы все люди были братьями..." шокирует как раз потому, что в обитателях Вексвелта мы легко узнаем себя. В цикле рассказов Джона Варли, к которому принадлежит "Бухта битника" (см. выше) есть упоминания об инцесте. Но матери, о которых идет речь, — не совсем матери: у каждого ребенка в этом обществе есть только один родитель; да и само понятие пола утратило смысл. В рамках такой культуры старые табу не просто выворачиваются наизнанку — они обесцениваются.

Культурологическая НФ не выносит моральные приговоры и не проповедует всеобщее совокупление. Она думает и анализирует; она фантазирует и играет. Ее произведения могут иметь позитивный утопический заряд или могут быть нейтральными конструкциями, ценимыми за свою интеллектуальную законченность. В пределах этого субжанра формируются альтернатива сексу, каким мы его знаем.

Утопическая энергия современной фантастики сосредоточилась в руках феминисток. К концу 70-х годов появилась целая вереница феминистических утопий ("Человек-женщина" Джоанны Расс, "Хаустон, Хаустон, вы меня слышите?" Джеймса Типтри, "Женщина на краю времен" Мардж Пирси и т.д.). Примерно, половина из них изображала общество без мужчин.

Даже если устранение мужчин само по себе видится достойной целью, история на этом не кончается. В однополом обществе должны выработаться новые социальные связи, новое распределение труда — и новые формы секса. Последние неизбежно будут представлять собой разновидность лесбийской любви, но освобожденную от ярлычка "извращения".

Повесть Джеймса Типтри (Алисы Шелдон) “Хаустон, Хаустон, вы меня слышите?” демонстрирует, до какой степени культурно обусловлена та биологическая мистика секса, на которую часто опирается моральная НФ в своей критике будущих реформ. Трое мужчин — экипаж космического корабля — переброшены вперед во времени и встречают цивилизацию будущего, состоящую из одних женщин. Один из мужчин начинает мечтать о том, как он обучит все эти миллионы лесбиянок радостям гетеросексуальной любви. Но когда он пытается дать первый урок, женщина просто не понимает, чего он от нее хочет.

Однако повесть Типтри написана не только для того, чтобы подразнить мужское самолюбие. Когда в конце один мужчина спрашивает женщин, как они называют свое общество — Амазонией? — те отвечают: “Нет. Мы — человечество”. Не только мужчины, но и женщины перестают существовать в феминистической утопии. Женщина, как воплощение Другого, исчезает: вместо нее появляется новое существо, которое берет на себя и традиционно мужские, и традиционно женские обязательства; не ограниченное сексуальной ролью, не привязанное к функции размножения, оно воплощает в себе единство человеческого духа. Не изменяясь физически, женщины становятся андрогинами.

Андрогин (существо, гармонически соединяющее в себе мужские и женские черты) — это один из самых древних человеческих символов. В мистических традициях андрогин всегда связан с началом мира (до грехопадения) — и с его концом. Описав полный круг, НФ возвращается к туманной фигуре мифа, чтобы описать будущее, которое положит конец войне полов.

Обительницы феминистических утопий — андрогинные духовные. Герои Варли, меняющие пол, как Протей — форму, ближе к традиционному описанию андрогина, как физически двуполого. Мир Варли не утопичен, хотя во многих отношениях он лучше нашего. Он просто фундаментально иной.

Еще один небольшой скачок воображения — и перед нами создание, которое, как андрогину гностиков, соединяет в себе начало и конец, “инь” и “янь”, свет и темноту, отца и мать. НФ сделала этот скачок — и не однажды. Два самых известных тому примера: “Венера плюс икс” Теодора Старджена и один из немногих романов в фантастике, который легко выдержит литературное соревнование за пределами жанра, — “Левая рука темноты” Урсулы Ле Гвин.

Планета Зима, зажатая в тисках ледникового периода, — не райский сад. Ее андрогинные обитатели любят и страдают, рожают детей и умирают. Но в каком-то глубинном смысле драма истории, начавшаяся в момент, когда от двуполого Адама была отделена Ева, когда Атман индусской мифологии распался на мужскую и женскую половины, — эта драма пришла к концу в мире Ле Гвин. Для его обитателей нынешний год — это всегда Год Первый; история — не стрела, указывающая направление от падения к искуплению, а спираль, вечно возвращающаяся на круги своя. Они убивают друг друга на дуэлях, но не знают войн — этих кровавых вех на пути марширующего впе-

ред человечества. Их планета называется Зима — как в райском саду, на ней царит одна только пора года. Вакхическое безумие весны и лета, отчаянная попытка двух разделенных полов обрести иллюзию утраченного единства в ритуалах плодородия — все это позади. Скучный, убогий, трагический — но рай.

Урсулу Ле Гвин иногда упрекали в том, что она не позволила своему герою — человеку с Земли — завершить половым актом свою любовь к одному из обитателей Зимы. С психологической точки зрения эти критики, может быть, и правы. Но в мифологическом разрезе андрогин находится за пределами секса. Платоновская парадигма сексуальной любви — поиски единства, которое когда-то было не метафорическим, а телесным. Друг героя обрел это единство — и потому недостижим для желания. Он — полнота абсолютного, свет и тень, мужчина и женщина. Он пересек кровавое болото истории, в котором шли рука об руку секс и война. Его место — в стране неизменности, в непорочной белизне вечного льда.

То, что пределом сексуальной фантазии должно быть отрицание секса, кажется парадоксом. Но на деле НФ только повторила головокружительную петлю мифологического сознания, пытавшегося объяснить кнут желания, горькую сладость удовлетворения, рождение, несущее смерть. За всеми психоаналитическими формулами, за моральными назиданиями, за метаниями индивидуума по-прежнему стоит сфинкс. Ответ, за который Эдип заплатил глазами, — не последний и не единственный. НФ родилась у подножия сфинкса — Белого Сфинкса уэллсовской “Машины времени”. Она продолжает спрашивать — и отвечать.

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

(Раздумья о научной фантастике вообще и братьях Стругацких
в особенности)

1. Попытка к бегству.

*“Боюсь я, батюшка, что ты зубом
цыкать станешь...”*

*А. и Б. Стругацкие “Понедельник
начинается в субботу”*

В современной литературе есть жанр, который, будь моя воля, я бы охотно поставила вне закона: научная фантастика.

Если мне укажут, что это проблема вкуса и потому общественного интереса не представляет, — отвечу: да, вкуса, только не моего, а ее, по вкусу, цвету, запаху и назначению научная фантастика напоминает наркотик, каковым и является на самом деле.

Кому, спрашивается, кроме самых отчаявшихся структуралистов, приходило в голову именовать психологический роман — ПР, производственный — П₁Р₁, любовную лирику — ЛЛ и т.д.? А вот аббревиатура НФ (она же SF) принята везде и всеми и явно смахивает на краткую формулу чего-то химического — ЛСД, к примеру.

Люди превращаются в наркоманов по той же причине, по какой не просыхают запойные почитатели НФ: чтобы убежать от действительности. “Попытка к бегству” — не только название романа Стругацких, — это еще и “проговорка” жанра.

Разумеется, если приравнять действительность всеобщей воинской повинности, национальной принадлежности или налогу на бездетность, то есть: навязанному братству, принудительному равенству, короче — всему, что обрушивается на человека — извне (тоже, кстати, название фантастической повести и тоже Стругацких), — тогда не замечать ее — действительность — было бы делом чести, убегать — доблестью, бороться — героизмом.

Я же полагаю, что действительность дана не в изъявительном, или действительном, наклонении, но в сослагательном, или условном.

Чтобы стать действительной, действительность требует внимания, прилежания и нравственной ответственности, словом — всех добродетелей хорошего ученика. Его дисциплинированная любознательность не имеет ничего общего с расхлябанным любопытством регулярного потребителя НФ: ощущая

привычную и уже приятную тошноту, как при взлете и посадке, он созерцает радужный нимбок вокруг привычных предметов (при ближайшем рассмотрении — пришельцев) ;

одним приемом переносится в иные миры с их чувствующими морями и мыслящими океанами (которые ему по колено) ;

запросто болтает с дельфинами и сверхмощным искусственным интеллектом (псевдоним Бога), причем убеждается, что в обоих обрел "братьев по разуму", ибо ни дельфины, ни Бог не превосходят его собственных умственных возможностей; короче говоря, он — всемогущ, а проще — "ловит кайф".

Поскольку все же любителей ЛСД меньше (надеюсь), чем поклонников НФ, — для чистоты рассуждения переменим метафору.

Любой честный любитель НФ, если только он честный человек, должен признаться, что чувство, владеющее им от первой до последней страницы, сродни сну или, по крайней мере, тому сумеречному состоянию души, когда человек уже не спит, но еще и не проснулся: за время его отсутствия реальность одичала, поросла крапивой, ушла в себя, зажала отдельной жизнью, и нужно немало усилий, чтобы опять приручить ее. Не случайно Герберт Уэллс назвал один из своих романов "Когда спящий проснется".

Знатоки и гурманы жанра утверждают, что НФ с легкостью ускользает от тарифной сетки четких определений, но они безошибочно распознают ее атмосферу по первому же абзацу.

Они правы, ибо это — атмосфера снов. Их готические лабиринты, шуршащие мышами, привидениями и семейными тайнами, пошли на сотворение космоса современной фантастики.

А ведь и задолго до Фрейда умы проницательные относились к снам с опаской и настороженностью.

"Заключите меня в сердцевину ореха, — и я буду чувствовать себя властелином вселенной, но только избавьте от дурных снов", — просил Гамлет, не подозревая, что цитирует арию из очередной "космической оперы" под названием "Властелин Вселенной".

Краткая аннотация: отважный космолетчик Принс Дениш попадает на планету системы Эльсинор—3, таинственная особенность которой заключается в том, что летчик немедленно перестает видеть сны. После разнообразных приключений — встреча с электронной копией отца, дуэль на лазерных дубинках с туземным королем и т.д. — герой убеждается, что мир, в котором он очутился, — это орех, перекатывающийся в челюсти сверх-космического сверх-чудовища по имени Кспир-Ше. Роман выдержан в лучших традициях научно-фантастической литературы и, бесспорно, порадует всех любителей фантастики.

Это красочное либретто я только что придумала сама, но не поручусь, что какой-нибудь фантаст уже не обработал "Гамлета" квадратно-гнездовым способом.

Словосочетание "научная фантастика" сегодня так же мало соответствует текстам, родившимся под этим близнечным знаком, как, скажем, понятие "демократия" ("власть народа") — "народной демократии": народная власть народа? власть народного народа? стало быть, есть народы: не народные?.. Абсурд.

Короткий и бурный роман науки — в плане захватывающей фабулы ее возможностей — и литературы (приключенческой, для подростков и юношества) укладывается на отрезке от позднего

Ж. Верна до раннего Г. Уэллса. В этом промежутке снабженный крыльями рай уносился в будущее, безмашинное прошлое опускалось в преисподнюю, настоящее сдали под чистилище, а юный возраст читателей символизировал молодость Разума, отождествленного с Наукой. Выполненный в стиле идиллии, этот роман известен под именем "технической утопии".

Две мировые войны, ожидание третьей и наука на службе тоталитарных режимов уничтожили идиллию вместе с верой в прогресс, а утопию — прибавлением зловещей приставки "анти".

Пришлось вернуться к испытанной теологической грамматике: прошлое — утраченный рай, настоящее — возвращенный ад, будущее — апокалипсис. За ошибки молодости литература мстит превращением науки в прием устранения реальности и средство доставки кошмаров на дом.

Но, вернувшись к старой схеме мира и человека, НФ угодила в ту самую "временную петлю", которой она так охотно захлестывает своих персонажей; стремясь заглянуть в историческое "завтра", она попала в литературное "вчера": все, что хочет и может сказать НФ в роли художественного слова, а не библейского пророка, советолога или астрологической программы **TV**, уже было сказано в готических романах, химерных видениях романтиков; вообще: все приемы изображения невозможного как действительного, фантастического как реального давно разработаны литературой — старой, новой и новейшей. По отношению к ней НФ превратилась в голограмму — псевдо-объемную псевдореальность, и в гораздо большей степени заслуживает чина "литературной фантастики", чем титула "научной".

Современная фантастика использует литературу, как космические агенты — захваченных землян: они поселяются в их обездушенных телах, чтобы, скрыв свой истинный синтетический облик, внедриться в чужой мир и выполнить задание. Так Стругацкие в своей творческой экспансии последовательно обживали стиль Хемингуэя ("Далекая Радуга"), затем свернули на обочину и устроили пикник в приятном обществе А. Дюма, его невесомого средневековья и инопланетного Портоса под псевдонимом барона Пампы ("Трудно быть богом"), после чего успешно атаковали стилистические замки Кафки ("Улитка на склоне").

Литература стала для фантастики тем же, чем всегда была действительность для снов: "третьим миром", колониальным сырьем, без которого сновидческая техника обречена на простой.

Только у классиков жанра союз старого литературного “орала” с апокалиптическим “мечом” НФ выглядит достойно. С викторианской честностью они сразу предупреждают, что поведут речь не о человеке и не об имени его, не о жене, не о виноградниках и волах его, одним словом, не о возделанном пространстве, но об одичавшем времени, точнее — Конце Времен. И Человека.

“Никто не поверил бы в последние годы девятнадцатого столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем человек, хотя такие же смертные, как и он...”

(Г. Уэллс “Война миров”)

“...к концу XXI-го столетия на Земле не осталось районов, которые можно было бы без опаски использовать как полигон для небесной артиллерии. Человек расселился от полюса до полюса. И произошло неизбежное...”

(А. Кларк “Свидание с Рамой”)

Но что воистину невыносимо, так это маскарад, который устраивает фантастика, чтобы серые волки ее снов выглядели красной шапочкой молодой или — что то же самое — пенсионной прозы.

“Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноволосая, по-взрослому вежливо улыбаясь большим ртом с яркими, как у матери, губами...” — что бы, вы думали, случилось? — А то случилось, что “...Виктор принялся старательно раскуривать сигарету” (Стругацкие, начало романа “Гадкие лебеди”).

Другое начало другого романа, не менее фантастического (-ое) : “ — Уильям, поезжайте, пожалуйста, домой, — сказала миссис Джейнсон с той жеманной вежливостью, к которой она прибегала, обращаясь к своему шоферу”. Как и следовало ожидать от подсобного персонажа, “Уильям наклонил выбритый жирный затылок”. (Р. Мерль “Разумное животное”)

Но, как ни подозрительны связи НФ с литературой, ее связи с действительностью еще опасней.

...У каждого жанра есть своя провинция, свое “дворянское гнездо” или, на худой конец, приусадебный участок, короче — его “историческая”, то есть долитературная родина. Туда жанр возвращается “к корням”, в отпуск, на побывку и каникулы, там набирается сил и уверенности в том, что он самый лучший, необходимый и единственно правдивый; там, в текущей молоком и медом родной Обломовке, его поймут, обласкают, откормят и дадут денег на обратную дорогу в жестокий и несправедливый мир большой литературы.

Откуда, к примеру, взял бы некий литератор уверенность в праве на существование таких гиблых строчек: “Люська сделала неудачный аборт, у Липовецких была пятнадцатая годовщина свадьбы, Нестеров находился под следствием, а Кожевников собирался разводиться с женой...”, — если бы люди, презрев две мировые войны, ожидание третьей и науку на службе тоталитарных режимов, не продолжали по-прежнему плодиться, размножаться, разводить, развратничать, выяснять отношения друг с другом, семьей, собственностью, государством в непоколебимой уверенности, что эта устаревшая бытовая проза и есть настоящая действительность?

...Когда в 1763-м году Сэмюэля Джонсона, яркого приверженца классического рационализма, противника предромантических туманностей и яростного отрицателя подлинности "Песен Оссиана", спросили, неужели он думает, что кто-либо из современников способен сочинить подобные произведения, неустрашимый Джонсон ответил:

"Да, сэр, многие мужчины, многие женщины и многие дети".

Если меня спросят, неужели я думаю, что корни НФ произрастают на тех же огородах, где Люсе делают аборт, а Кожевников собирается разводиться, и что кто-либо из представителей этого трезвого сословия способен пристраститься к НФ с ее туманным колоритом, смутными образами и эмоциональной неподлинностью, — отвечу: "Да, сэр, большинство мужчин, многие женщины и все дети".

Пандемия астрологического слабоумия ("Агрессивность Скорпиона присоединяется к нервозности и беспокойству Близнецов и получается характер бурный"); хиромантия для домохозяек и метампсихоз для банковских служащих; спиритические блюда, перекочевавшие на небо под видом "летающих" ("Пусть блюда украсят сервиз небес" — по меткому слову поэта); йога как средство окончательного и бесповоротного переселения в Ничто, а также от насморков и запоров; групповые погружения в бессознательное под руководством опытного тренера; короче, мистическая порнография, гностика муниципальных квартир, оккультный комфорт буржуазных пригородов — таковы психологические корни, коммунальные источники и социальное страхование НФ.

К чему лепетать о научной революции, будто бы происшедшей в умах современников? Никакого влияния науки на массы нет — есть восстание масс против науки, кухня, замахнувшаяся на Вселенную.

Парень из Преисподней

"— Хелло! Ю фром зэт сайд?"

— Да, — ответил я. — То есть, йес".

А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"

...Как бы ни были разнообразны наркоманические сюжеты, их фабула неизменно включает два момента: контрабандный ввоз и подложные накладные.

Действительно, две последние книги Стругацких — “За миллиард лет до конца света” и “Жук в муравейнике” — появились на Западе контрабандой: “За миллиард лет...” перепечатало американское издательство “Орфей” из журнала “Знание—сила”, а “Жука...” выдрали из лениздатского сборника “Белый камень Эрдени” и завернули в откровенно наглую упаковку — “Издательство “Ностальгия”, Фиджи”.

Но качество товара — “Жука...” в особенности — оправдало юридические и моральные издержки.

“Жук в муравейнике”, как и положено лучшим образцам НФ, содержит все необходимые ингредиенты для погружения в полноценный умственный анабиоз: в 1-е июня 2178-го года мы попадаем с легкостью, оставляющей позади острова в океане Хемингуэя, и со скоростью, намного превышающей меланхолический полет “Гадких лебедей”:

“1-е июня 78-го года. Сотрудник Комкона — Максим Камерер.

В 13.17 Экселенц вызвал меня к себе. Глаз он на меня не поднял, так что я видел только его лысый череп, покрытый бледными старческими веснушками, — это означало высокую степень озабоченности и неудовольствия. Не моими делами, впрочем.

— Садись.

Я сел.

— Надо найти одного человека, — сказал он и замолчал. Надолго”.

Элементы протокола (время суток, месяц, год) в качестве ускорителя действия напоминают мускулистые сюжетные броски Алистара Маклина: “Колыт под названием “Миротворец” производится уже более ста лет без существенных изменений в конструкции”. Через абзац выясняется, что дуло этого самого “Миротворца” направлено в рассказчика. Так начинаются “Колокола смерти”. Справедливости ради признаем, что их магический перезвон добыт тоже не совсем чистым стилистическим путем: хэмингуэвский “По ком звонит колокол” напоялся на флеминговский эпос о Джеймсе Бонде.

Алистар Маклин, певец секретных служб и частных расследований, привлечен к разбирательству не случайно: в повести Стругацких участвует и секретная служба — Комкон-2, возглавляемая Экселенцем, и частное расследование: хотя Камерер сотрудник Комкона, но, как сказал ему Экселенц, “...работать ты будешь один. Никаких помощников”. Не только условия, — сам характер поручения “частный”, ибо касается анкетных данных человека, которого надо найти — некоего Льва Абалкина.

Штатный сотрудник Комкона и его тайный агент в инопланетных враждебных мирах, Абалкин наделен всеми полномочиями и одним ограничением — ему запрещено возвращаться на Землю. И вот он вернулся. Тайно. Чтобы разгадать тайну своего рождения. Она же такова: хотя Лев Абалкин и значит-ся сыном земных родителей, погибших, правда, до его появления на свет (в посмертном отцовстве, заметим, нет ничего чересчур фантастического не только для 70-х годов ХХ11-го века, но и для 80-х ХХ-го), на самом, то есть фантастическом деле, он не родился, а — вылутился. Из космического яйца. Яйцо (притом не одно, а целую чертову дюжину) подбросили на какую-то периферийную планету посланцы сверх-мощной супер-цивилизации — Странники, разнообразно и непонятно наследившие в Космосе и куда-то (есть мнение, что в другое измерение) исчезнувшие.

Поскольку сотрудники Комкона искушены в НФ не меньше, чем ее почитатели, и прекрасно знают, что все эти "супер-" и "сверх-" не что иное как эманации Бога — Его же пути неисповедимы, — они, руководствуясь принципом, выдвинутым мэтром жанра: "Необходима осторожность" — рассовали птенцов кукушкина гнезда по разным планетам и системам от Земли подальше и лишили права на въезд. Сам же опустевший инкубатор поместили на Земле в Музее космических культур, где, наряду с другими малоаппетитными экспонатами, он не вызывал любопытства редких посетителей, но зато находился под бдительным надзором и присмотром Комкона.

Надзор и присмотр установил: те из "подкидышей", которым в порядке психологического эксперимента сообщили об их чудом происхождении, вначале приняли новость спокойно, а затем принялись погибать при обстоятельствах, не исключающих возможность самоубийства. Самое же главное в том, что с самими выеденными яйцами одновременно произошли очевидные, но непонятные и потому зловещие изменения: они тоже начали исчезать.

Исчезновение яиц, в свою очередь, предупреждает о появлении (или приближении) Странников.

Комкон—2 на стреме, — и тут на Землю сваливается Лев Абалкин. Выписывая головокружительные сюжетные "восьмерки", он прокладывает дорогу к Музею — своему родовому гнезду и трагическому концу. В тайну его не посвящали, стало быть, сам что-то пронюхал или заподозрил; кроме того, сотрудник и агент секретной службы, он слишком много знает, но и это не все: Лев Абалкин подозревается в убийстве другого сотрудника Комкона, приставленного к нему под видом врача, а на самом деле — осведомителя по кличке "Тристан".

Короче, на последней странице приходится Абалкина пристрелить. Эту печальную, но необходимую миссию берет на себя Экселенц в присутствии безутешного Максима Камерера и других свидетелей, тоже безутешных.

Но не только драматическая одиссея 2178-го года с непременно участившим космическим Разумом, — ни одно жанровое обязательство не забыто многоопытными авторами: есть в повести и разумное животное, правда, не дельфин, а пес Щекн, представитель многообещающей расы "Голованов"; есть вымирающая планета с ловушками, ракопауками и выморочными аборигенами; есть любовь (трудная), быт (достоверный) — все есть. Даже художественные особенности... С каким, например, изяществом преобразован сказочный мотив Кашеевой смерти (которая, как известно, в яйце) — в космические яйца; сама же жизнь и смерть персонажей вписана в контур мифа о мировом яйце (см. "Мифы народов мира", т. 2, статья "Яйцо мировое"). Таким образом, все повествование держится на прочном мифологическом фундаменте, без которого нынче не обходится ни один уважающий себя фантаст.

Надо, впрочем, сказать, что это не самоуважение, а низкопоклонство перед литературой, точнее — перед ее новым и уважаемым жанром — роман-миф (Т. Манн, М. Булгаков, Г. Меллвил).

Что до другой художественной особенности — симбиоза НФ и детектива, — то она уже не особенна, а типична и для жанра в

целом, и для Стругацких (“Отель “У погибшего альпиниста””) в частности. Хотя с точки зрения классического детектива этот союз так же подозрителен, как союз рыжих, и автор, переносящий мотив, разгадку, а заодно и виновника преступления в космос, должен подлежать дисквалификации (см. “За миллиард лет до конца света”; на том же недостойном приеме основан роман Ст. Лема “Следствие”, в силу чего, вероятно, и не переведенный на русский язык) — мезальянс неизбежен.

Всякое познание движимо тайной. Безразлично, тайна ли это природы или преступления, называется ее раскрытие исследованием или следствием... И там и там применяется один метод — в XIX веке позитивистский (причинно-следственный: Дюпен, Холмс), в XX — релятивистский (психологический: Пуаро, Мегре).

Но Стругацкие не ориентируются ни на Конан-Дойла, ни на Агату Кристи: Ян Флеминг и его лубочный герой Джеймс Бонд — агент 007, — вот чей неожиданный и шокирующий образ проглядывает сквозь неземные черты Левы Абалкина:

“Я принял папку... Корки из тусклого пластика были стянуты металлическим замком, и на верхней было вытиснено кармином: “Лев Вячеславович Абалкин”. А ниже почему-то — 07”.

В самом деле — почему? Ни для кого не секрет, что дополнительный ноль у секретного агента 007 означал право на убийство. Что в таком случае может значить утрата этого нуля?.. Право быть убитым?.. Этот вопрос тянет за собой другие, они-то нарушают сон и ломают кайф. Например, тот самый Экселенц, который убивает Леву, потому что до смерти боится Странников, в предыдущем романе — космическом вестерне “Обитаемый остров” — сам носил кличку “Странник”... Странно и многое другое: отчего, скажем, интернат, в котором воспитывался юный Абалкин, именуется “Евразийским”? Зачем персонажи упоминают яхту с названием “Любомудр”?.. Что они этим хотят сказать? Не персонажи — авторы?..

Не только мы смущены — недоумевают и в Москве:

“...как... относиться к заверению авторов в предисловии, что герои повести — коммунары, представители объединенного человечества? ...что общего у “Жука в муравейнике” с повестью “Полдень, XXI век”...? ...как... понять и оценить последнюю их повесть “Жук в муравейнике”, какие провести аналогии с днем сегодняшним?”

(А. Шабанов В грядущих “сумерках морали” — “Молодая Гвардия”, 1985, № 2)

Если верить Шабанову, ответы на свои вопросы он так и не получил. Но то сладострастие, с которым отважный “молодогвардеец” собирает досье на Льва Абалкина, подсказало ответ мне:

“По решению Мирового Совета Абалкина, чтобы держать подалше от Земли, сделали прогрессором, и извращенные идеалы прогрессорского гуманизма нашли в его душе благодатную почву. Со временем детское желание обладать, владеть безраздельно — вещью ли, девчонкой, своей ли судьбой, всей планетой, наивное прогрессорское убеждение, что он вправе решать судьбы народов и цивилизаций, толкнуло Абалкина навстречу смерти” (А. Шабанов, Указ. соч.)

Недружественным рецензентом Стругацких как-то особенно везет на фамилии: Иван Краснобрыжий, Свинников... попалась было приличная, да и та Палиевский.

Хотя А. Шабанов всего лишь одной буквой отличается от В. Шибанова, того самого, что “молчал из пронзенной ноги”, но не выдал опричникам вольнолюбивые помыслы князя-невозвращенца, — нет, не дар молчания унаследовал критик от своего почти что тезки. Он говорит, — и сыромятным духом Тайного Приказа шибает от его слов.

Что желание безраздельно владеть вещью предосудительно, — это еще как-то можно вытерпеть (тем более что сами Стругацкие объявили вещи — “хищными”); что такое же желание, устремленное на “девчонку”, — подсудно, — и это, покряхтев и поморщившись, мы кое-как сдюжим... Но когда, раззадоренный непотворением, Шабанов вмазывает: “...своей ли судьбой”, то есть желание распорядиться собой квалифицируется как деяние, караемое смертью, — тут уже впору кричать из всех пронзенных ног.

И все-таки не торжество рабского сознания, не этот честный взгляд прирожденного холопа приковал наше внимание. Не моральная, а, так сказать, процессуальная сторона рассуждений Шабанова — ключ к тому, что он небезосновательно именует “художественно-психологическими ребусами в повести Стругацких”. Все в ней смутно, подозрительно и непонятно критику — сюжет, замысел, исполнение, смысл, а более всего — сами авторы. Один только Лева Абалкин понятен, как если бы речь шла о живом человеке или персонаже “деревенской” прозы. Иными словами, возникает иллюзия, будто Лева — единственная удача повести, и Шабанов докладывает его дело в точном соответствии с материалами, собранными авторами и переданными ему на исследование.

Поэтому Шабанов не пересказывает “образ Абалкина”, — он Абалкину “шьет дело”.

Суть же дела в том, что о Левином желании обладать, владеть безраздельно всей планетой, а также решать судьбы народов и цивилизаций в повести и слова нет, да не то, что слова, — намек.

Единственное, чего хочет этот желторотый птенец (по данным

авторов Л. Абалкину 40 лет), — это после долгой и беспорочной агентурной работы удалиться на покой и уйти от слежки; тайна, которую он хочет разгадать, — это не вложенная в него Странниками программа (в программу он не верит), а мотивы нескончаемых и неусыпных усилий Комкона держать его от Земли подальше.

Для Шабанова Л. Абалкин — ярко выраженный отрицательный персонаж, для Стругацких — больше, чем положительный, — любимый герой. Для Шабанова сама недоброкачественная Левина натура “толкнула Абалкина навстречу смерти” (яснее говоря, — “сам виноват”, “понес суровую, но заслуженную кару”). У Стругацких сцена убийства Левы выписана так, что я — не стыжусь признаться — заплакала. Впервые после “Овода” и своих 12-ти лет я оплакивала литературную смерть:

“Я шагнул к Абалкину и опустился возле него на корточки. (Экселенц каркнул мне что-то предостерегающее.) Абалкин стеклянными глазами смотрел в потолок. Лицо его было покрыто давешними серыми пятнами, рот окровавлен. Я потрогал его за плечо. Окровавленный рот шевельнулся, и он проговорил:

— Стояли звери около двери...

— Лева, — позвал я.

— Стояли звери около двери, — повторил он настойчиво. — Около двери... И тогда Майя Тойвовна Глумова закричала”.

Всмотримся еще раз в пункты шабановского обвинительного заключения по делу Абалкина Л., прогрессора, 2138 года рождения: “...извращенные идеалы агрессивного прогрессорского гуманизма... желание владеть... безраздельно... вещь... всей планетой... Убеждение, что он вправе решать судьбы народов и цивилизаций... пугающая своим антропошовинизмом психология прогрессора...”

При переводе этой экспрессивной характеристики на более привычный язык мы ясно различаем два слоя идеологических штампов: один принадлежит официальному советскому антисемитизму, второй — всецело заслуга антисемитизма диссидентского. Первый включает в себя идею мирового еврейского заговора (желание владеть безраздельно всей планетой), присущее евреям стяжательство (вещь), “еврейский буржуазный национализм”, изящно переименованный Шабановым в “антропошовинизм” (то есть идея расовой избранности).

Что касается второго слоя — диссидентского, то на разоблачение ложной (варианты: безбожной, бесовской, плоско-рационалистической и т.п.) теории **прогресса** и злокозненной роли евреев в ее разработке (Маркс) и практическом приложении (русская революция) были потрачены усилия если не лучших, то многих свобод-

ных русских умов — от “нового религиозного сознания” начала века до православного Возрождения наших дней.

Ни в чем таком Абалкин не повинен, ну, буквально ни в чем: ни в русской революции — не успел по возрасту, ни — в силу тех же возрастных обстоятельств — в теории прогресса: к моменту его взрослости прогресс перестал быть идеей и стал профессией, вернее — тысячью профессий, так что “прогрессор”, в сущности, такое же общее понятие, как “профессор”. И к вещам Лева не тянулся ни душой, ни руками. Да и какие такие могут быть вещи у бедного шпиона, который сегодня работает псарем, завтра — курьером в банке, а позавчера — вернулся с холода (курсы повышения квалификации) ... Вот разве что в детстве... В детстве у него действительно были вещи, много вещей, и Стругацкие этого не скрывают, а Шабанов — пользуется:

“У него было много собственных вещей. Весь лес вокруг интерната был его очень большой собственной вещью. Каждая птица в этом лесу, каждая белка, каждая лягушка в каждой канаве. Он повелевал змеями, он начинал и прекращал войны между муравейниками, он умел лечить оленей, и все они были его собственными”.

Следующий пункт — “девчонка”: Майя Тойвовна Глумова. Тут, что было — то было, против правды не попрешь: притязал, сильно притязал и даже не без рукоприкладства, потому что “она была его вещью, его собственной вещью”. Так думал он. А что думала она? А она, спустя лет тридцать, думала: “Это было прекрасно — быть его вещью, потому что он любил ее... Дура, дура! Сначала было все так хорошо, а потом она подросла и вздумала освободиться”.

Мы, признаться, за женскую эмансипацию, мы даже немножко феминистка, и нам решительно не симпатичны подобные женщины, которые сначала любят быть вещью, потом освобождаются, а после об этом жалеют.

С другой стороны, любовь... чувства... — это дело тонкое и уж, во всяком случае, неподсудное, да и вообще в чужие романы лучше не соваться. Повесть — другое дело. Тут А. Шабанов прав, в самом главном своем обвинении прав: Лев Абалкин, безусловно, — еврей. Он еврей, потому что родился евреем, хотя не с самого рождения знал об этом. Зато авторы знали. И Шабанов знает, что они знают. Знает, но доказать не может (или боится). А мы можем и не боимся.

3. Второе нашествие марсиан

*“Живут эти пришельцы — дай бог
всякому...”*

*А. и Б. Стругацкие “Понедельник
начинается в субботу”*

...Что действие повести разворачивается в XXII веке, читатель узнает только из авторского предисловия (плюс всевозможные “скорчеры”, “глайдеры”, специалисты по “левелометрии”, “экспериментальной истории”, “нуль—Т”—кабины и прочий орнамент, который с равным успехом мог бы украсить и XXII и XXXII столетие. За скобки самого повествования этот блистательный XXII — аккуратно вынесен, так что датировки, протоколно сопровождающие каждую главу, а также необходимые календарные указания внутри глав, содержат только две последние цифры (например: “2 июня 78 года. Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина”). А поскольку сюжет повести — это розыск Абалкина и поиски его прошлого, — время не столько стремится вперед, как то прилично фантастике, сколько откатывается назад — от 78-го года (начала событий) к 60-м, 50-м, 30-м...

Иными словами, перед нами — история нашего советского современника, и потому она естественно укладывается в жанр анкеты:

Фамилия — Абалкин; имя — Лев; отчество — Вячеславович; дата рождения — 6/Х/38 г.; место рождения — прочерк; мать — Абалкина Стелла Владимировна; отец — Цюрупа Вячеслав Борисович; местонахождение родителей — “сорок с лишним лет назад Стелла Владимировна и Вячеслав Борисович в составе группы “Йормала” на уникальном звездолете “Тьма” совершили погружение в Черную Дыру ЕН 200056...”

Остановимся и обратим внимание на первую странность: Абалкин наследует фамилию матери, хотя, по советским законам, имеет право на выбор. Но, как явствует из той же анкеты, Лева Абалкин воспитывался в Сыктывкарском детском интернате, куда был распределен под фамилией “Абалкин”, а это означает, что фамилию выбирал не он, а — авторы.

Тогда зачем они дали родителям две разные фамилии? Чтобы подчеркнуть, что погибли они одной смертью?.. Ведь достаточно взглянуть на время “погружения” — “...сорок с лишним лет назад...” — то есть 37-й год, — и становится ясно, что это была за

“уникальная” тьма, переместившая к звездам Стеллу Владимировну и Вячеслава Борисовича...

Уход к звездам как синоним смерти — одна из древнейших поэтических метафор, отчего “звездолет” — этот предмет первой научно-фантастической необходимости — сразу приобретает гротескно-трагические очертания, особенно вблизи пронумерованной, как почтовый ящик концлагеря, Черной Дыры ЕН 200056.

Иными словами, Лев Абалкин — “посмертное дитя” Большого Трора, каковой трор, при всем своем чудовищном характере, обладал одной положительной чертой — он был интернациональным: насколько нам известно. Цюрупа — фамилия чисто русская (если мы не правы, пусть нас поправит член-корр. АН СССР О. Трубачев*). Тем не менее, сюжетная линия “уникального звездолета “Тьма”, в полном соответствии с исторической правдой, завершается в некотором (высшем) смысле благополучно, разумеется, с учетом неповторимого своеобразия *happy end*’а по-советски.

Поясняю: словосочетание “посмертный ребенок” — при всей грамматической правильности — не слишком укоренено в языке и реальности. Зато современный русский язык давно обогатился устойчивой идиомой “посмертная реабилитация”. Да, Стелла Абалкина и Вячеслав Цюрупа были посмертно реабилитированы, на что недвусмысленно указывает именно номер Черной Дыры — 200056, который я уверенно дешифрую как ХХ—56, то есть ХХ съезд КПСС, имевший место, точнее — время в /19/56 году!

Но разгадка смерти и бессмертия Левиных родителей ни на шаг не подвинула нас в загадке Левиной фамилии.

Почему все-таки Абалкин?

Почему материнское право так архаично восторжествовало над отцовским?..

Ответ — “Йормала”, название группы, населявшей звездолет “Тьма”.

Это придуманное слово, с одной стороны, отчетливо напоминает модный, — по крайней мере, в семидесятые годы — курорт на Рижском взморье, Юрмала, что в данном контексте отдавало бы циничным ерничиением, если бы не...

* О.Н. Трубачев. Из материалов для этимологического словаря фамилий России (Русские фамилии и фамилии, бытующие в России). — “Этимология. 1966”. М., “Наука”, 1968 (опубликованная работа — лишь часть более широкой инструкции, подготовленной Институтом Русского Языка АН СССР для отделов кадров).

Если бы только памятниками немецкой старины и довоенной независимости прославилась латышская столица... Рижское гетто, уступающее Варшавскому восстанием, но не муками.

Переведенное на язык гетто слово "йормала" свободно выделяет первый слог "йор" — "год" на идиш; односложное слово достраивается до другого, тоже расхожего и в том же языке: "йорцайт", буквально "годовщина", в принятом употреблении — "годовщина смерти", "поминование мертвых".

От поминования мертвых — короткий путь к еще одной тайне "посмертного ребенка": день рождения Левы приходится на 6 октября. Кодовая связь между днем и годом рождения прервана: от всех прочих темных дней 38-го года 6 октября отличается только порядковым номером; нельзя наладить связь и с местом: в русской истории 6 октября, в отличие, скажем, от 7-го числа следующего месяца, не обведено ни красной, ни черной рамкой.

Зато в другом году и в другом месте 6 октября — такая же пронзительная дата, как 22 июня — в России: 6 октября 1973 года началась четвертая арабо-израильская война, известная как Война Йом-Кипур, или Война Судного Дня.

Для доказательства предлагаю вместе с М. Камерером взглянуть на лист 66-й личного дела Абалкина Л. — донесение, адресованное Экселенцу и касаемое Левы. На обороте донесения Камерер видит "какой-то печатный текст арабской вязью".

"Я поймал себя на том, — вспоминает он, — что чешу в затылке, и вернулся к листу № 1", — то есть к исходным анкетным данным подследственного. Иными словами, следователь чувствует какую-то связь между арабской вязью и обстоятельствами Левиного рождения, но понять, в чем она, — не может.

Подсобим ему и посоветуем вчитаться в лист 138-й текста повести — начало главы "Тайна личности Льва Абалкина", содержащей материалы космического варианта его биографии:

"21 декабря 37-го года отряд Следопытов (...) высадился на каменистом плато безымянной планеты в системе ЕН 9173, имея задачей обследовать обнаруженные здесь еще в прошлом веке развалины каких-то сооружений, приписываемых "Странникам".

Через несколько дней, — сообщается далее, — Следопыты и обнаружили под развалинами роковые зародыши.

Опытный сотрудник Комкона-2, М. Камерер, несомненно, обратит внимание на то, что год 37-й — и две последние цифры космического кода — 73 — зеркально взаимозаменяемы; что

буквенный индекс — ЕН — уже встречался в обозначении той самой Черной Дыры, в которой вместе со звездолетом “Тьма” сгинула группа “Йормала”; что число 9173 путем одной лишь перестановки образует 1973, а в сочетании с 6 октября — полную дату начала Войны Судного Дня.

Честно говоря, мы сомневаемся, чтобы из этих правильных наблюдений Камерер сделал правильные выводы, — он, признаться, не поразил нас ни тонкостью, ни пронизательностью.

Так что выводы будем делать сами: повесть Стругацких, в обход всех правил и обычаев НФ, использует Космос как символ земной истории; ее даты привязаны к событиям, имеющим, с точки зрения авторов, символическое значение в судьбе героя, который, в свою очередь, сам есть символ. Чего?

Лева Абалкин, конечно, полукровка: кровь двух катастроф — русской и еврейской — течет в его жилах.

Но, если символ русской катастрофы — число 37, еврейская не закреплена за определенным временем и пространством; она всюду и всегда, единый “йорцайт” накрыл и прибалтийскую “йормалу”, и обрамленный арабской вязью Йом-Кипур 73-го года.

Лева не просто посмертный ребенок — он, прежде всего, “звездный мальчик”: родителей двое, но только одна звезда руководит его судьбой — шестиконечная. Потому и зовут мать Стелла — звезда, потому и наследует он материнскую фамилию.

За несколько дней и страниц до смерти, Лева — в поисках себя — приходит к малосимпатичному персонажу по имени Айзек Бромберг и представляется тому под вымышленной фамилией: Дымок.

Что может быть прозрачней?.. Разве что дым концлагерных печей, когда растворяется в небе...

Небо не сразу заявило права на Левину жизнь. До десяти, примерно, лет “он рос и развивался, как вполне обычный мальчик, ... выделявшийся среди однокашников, по преимуществу славян, разве что иссиня-черными прямыми волосами... Так было до ноября 47-го года”.

А в ноябре 47-го года у Левы на сгибе правого локтя обнаружилась небольшая припухлость, которая в течение нескольких дней превратилась “в желто-коричневый маленький значок в виде стилизованной буквы “Ж”... К концу 48-го года “клеймо Странников” носили уже все тринадцать”.

Исследуем значок:

Цвет: желто-коричневый — двуединый символ жертвы (“желтая звезда”) и палача (“коричневая чума”);

Форма: стилизованная буква “Ж”, то есть просто-напросто начальная буква слова “жид”, а если учесть, что у русской буквы “Ж” шесть концов, — то и желтая метка обреченности.

С буквы "Ж", однако, начинается и слово "жук" — этот биологический двойник Левы, что незамедлительно разъясняет название повести.

Дело в том, что жук в муравейнике — факт, а не название — одна из самых занимательных и жутких историй из жизни насекомых: жук, научно именуемый ламехуза, проникая в муравейник, сплавляет муравьев наркотиком собственного производства (выделяет из животика), в обмен на что дураки отдают коварной самое дорогое — свои яички. Сия энтомологическая драма отложилась в русском народном сознании в виде просторечной идиомы: "Ну и жук!" — в смысле "ну и ловкач", "...хитрец", "проныра", "жулик" и т.д.

Можно ли придумать метафору более обольстительную для антисемита? — Нельзя, и потому авторы строят фабулу назло антисемиту и вопреки идиоме: яйца принадлежат не муравьиной куче, но Космосу, а ламехуза — в образе Левы — работает на муравьев, не щадя живота своего, и в благодарность от них же принимает смерть.

И, наконец, даты — этот верный ключ к зашифрованному письму Стругацких — желто-коричневое "Ж" появилось у Левы к концу 47-го года, а в 48-м и остальные двенадцать "однойцевых" братьев и сестер заполучили "клеймо Странников". Спрашивается: что общего между указанными датами и таинственными обитателями Космоса?

Только одно: кампания против космополитов.

(Окончание следует)

Всеизраильский фонд поощрения русскоязычной культуры
присудил
премию имени Арье Рафаэли за 1984 год
Александрю Воронелю
за книгу
"Трепет иудейских забот"

Судьба еврейского интеллигента определяется двумя темами: Россия и еврейство, и разговор о их взаимосвязи и противостоянии составляет содержание и главный интерес этого оригинального произведения.

Цена книги — по заказу — 4 доллара (за рубежом 8 долларов). Чеки и заказы принимаются по адресу: "Foundation Moscow—Jerusalem P. O. B. 7045, Ramat—Gan, Israel.

ЛЮДИ И КНИГИ

Наум Век

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ, ИЛИ КАК СОЗДАВАЛАСЬ КНИГА "СТРЕЛА ВЕРЛИБРА".

Я не знаю, есть ли жизнь на других планетах, но евреи — есть везде. Нам, однако, повезло, мы живем в странном и сумасшедшем государстве, где евреев все еще не хватает. Зато хватает конкуренции. Каждый прибывший сюда и живущий здесь начинает привыкать, что среди евреев конкуренция неизбежна, даже если ты средний поэт и пишешь скучные стихи, подражая Бялику или Гумилеву, или готовишь взволнованный трактат на тему: "Генри Миллер — певец иудейский?" — или только ищешь место для стоянки своей маленькой машины вечером около улицы Дизенгоф...

Когда я начинал работу над изданием этой книги, многие люди говорили, что поэзия сейчас никому не нужна, тем более на русском языке, и спрашивали, почему я не пишу шпионских или сексуальных романов (это хорошо идет!)...

Что же было у меня в наличии? Горстка напечатанных стихов, 500 долларов на закрытом счете в банке "Леуми" и смутная идея, как должна выглядеть книга. Мне хотелось, чтобы в книге были сюрреалистические рисунки в стиле Дали, но найти оригинального художника, готового вместе со мной на творческий риск и долгую безденежную работу, я пока еще не мог. Правда, художницы, которых я встречал, были свободны и талантливы. Они с восхищением говорили о своих будущих картинах и мечтали устроить свои роскошные выставки (когда наберется достаточное число картин) на частных виллах и в знаменитых маленьких галереях, где истинные любители и меценаты иногда покупают настоящие картины. Но...

Потом у меня появилась мысль заменить рисунки в моей будущей книге — фотографиями. Да, это можно было сделать быстрее и изощреннее. Нечто в стиле Энди Уорхола, Гамильтона и мультирисунков к песням Битлз. Мне повезло: когда я выступал на вечере израильского журнала "77" и пел свои песни, меня сфотографировал корреспондент журнала "Монитин", и через него я познакомился с одним из лучших фотографов Израиля — Михой Киршнером. Его работы очень популярны, в них присутствуют фантазия и талант, но он слишком молодой и уже известный, и поэтому он запросил сумасшедшую сумму денег за каждую фотографию. Я сидел в его просторной студии около Дизенгоф-центра, разглядывал компанию блестящих знаменитостей, висящих за стеклянными рамками, и с грустью и сожалением думал, что и эту идею придется временно отложить...

Потом, благодаря случаю, я познакомился с удивительным тель-авивским художником по имени Одед Файнгреш, который оказался доброжелателен и предложил реальную и бескорыстную помощь. Но, увы, он не знал русского языка. Поэтому появилась идея показать мои стихи его другу — редактору журнала "77" Якову Бесеру, который сам поэт и переводчик, и владеет русским языком вполне свободно.

Когда набралось у Якова Бесера с десяток переводов моих стихов, я хотел уже приступить к подготовке двуязычного издания (с текстами на русском и иврите) с рисунками Одеда Файнгреша.

Но и от этого пришлось отказаться. Такое издание обошлось бы в головокругительную сумму...

И вот однажды я увидел в каком-то русском журнале фотографии Григория Виницкого. И так как мой брат был знаком с ним еще по Ленинграду, найти телефон и позвонить ему не представляло особой проблемы. Но я не знал, как он отнесется к моему замыслу; может, у него вообще нет на меня времени? Да и кто я такой, чтобы он поверил в меня? А заплатить сумасшедшие деньги я пока не смогу... Но мне повезло. Этот человек оказался не только талантливым и некорыстным, но и терпеливым. Все мои идеи и предложения по поводу оформления и фотографий он выслушивал спокойно, и если ему что-то не нравилось, просто говорил: "Нет, это я делать не буду..."

Его городские фотографии — так же, как и мои стихи, — были отрешенные и грустные; и сквозь блестящие лица, глаза и очертания камней деревьев и людей я угадывал в них то настроение, которое любил у Уайеса и Чюрлениса. Разглядывая его танцующих балерин, я видел не темную сцену и прыгающих худых женщин и мужчин, а странных людей, пытающихся утешить себя этим танцем среди черной пустоты, где нет публики, аплодисментов и времени...

Я бы сравнил человека, пытающегося заниматься (еще) искусством, с безумцем, идущим среди уличной толпы и кричащим, что он путешествует по направлению к Луне. Никто над ним не смеется — его просто не замечают. Его презирают, потому что ему нечего продать, а тот, кто ничего не продает, — никогда не пробьется в этом обществе. Что делать, если я продаю товар, который никому не нужен?

Я путешествую к Луне и делаю вид, что верю в это. Меня утешает, что это делали до меня Данте и Аполлинер, Хлебников и Кэммингс, Айги и Чюрленис. Я знаю, что кто-то иной пройдет немного дальше по темным ступенькам, ведущим наверх, удаляясь от кружащегося хора уличной толпы и вечно голодного города, на губах которого человеческая кровь...

Геннадий Вальдберг

ПЕРВАЯ КНИГА

(Мара Фельдман. "Я пришла..." Лирические стихотворения. Израиль. 1985.)

"Я пришла..." — так назвала свою первую книжку стихов поэтесса Мара Фельдман. А поскольку стихи всегда претензия, и уж тем более первые, как

удержаться, чтобы не пожурить: что профессионализма не достает, что рифмы порою ведут за собою поэта, а не он командует ими; да и рука редактора их не коснулась, не прикрыла огрехи; а еще опечатки, досадные, местами просто смешные, меняющие смысл слова и строчки... И все же случившееся, факт появления молодого поэта в наших израильских куцах — так и называется словечко "симптоматично", а на самом деле, увы, совсем несимптоматично — а потому и не хочется говорить о плохом. Ведь действительно, сколько нас приехало в Израиль: художников, поэтов, писателей в прошлом — а вот дорвались до безбедного быта и променяли на надежность "квютов" такое ненадежное и хлопотное ремесло. Так что жалкими в сравнении с этим покажутся какие-то там недочеты, тем более у поэта, только начинающего вслушиваться в свой поэтический голос. А таковой у Мары Фельдман, конечно же, есть: негромкий, еще не устоявшийся, и оттого избегающий полутонов, предпочитающий минорные темы. Но в этом узком пока диапазоне — чистый, если вдруг не испугается самого же себя и не спрячется в позу: мол, хотели иль нет, — а пришла, и нате, примите!.. Однако оставим позу на совети автора: появится мастерство, и тогда многое, даже поза, найдет оправдание. А сейчас лучше вслушаемся в те чистые ноты, что пропелись сами собой, без всякой оглядки. И тут вдруг окажется, что звучит в них всем нам близкое и очень понятное: чувство утраты, разлуки и растерянность от вновь обретенного, от встречи с этой "ржаво-бурой" как "кровь после драки" землей, о которой мы столько мечтали. И, конечно, желание найти в ней себя, обрести свое место.

Я в куче пепла разгребу
Свою тетрадь, свою судьбу,
Руками черными, в золе,
На белом напишу листе.

Потому что Израиль, при всем его многозвучии и многоязычии, как бы испещренный тысячью тысяч письмен, все же еще белый лист, зияющий в ожидании нашего слова. Еще сам, такой же, как мы, не обретший себя, но уже вещающий миру: Я — есть! — и тут же немного боящийся этого.

Владимир Лазарис

ПРОИГРАННОЕ ДЕЛО АВИ ВАЛЕНТИНА

(Ави Валентин. "Проигранное дело", Тель-Авив, 1984 г.)

Землетрясение началось в 1977 году, когда полицейский репортер газеты "Гаарец" 30-летний Ави Валентин опубликовал серию статей об организованной преступности в Израиле и назвал поименно ее главарей. Двое из них — крупный подрядчик и владелец нескольких гостиниц Бецалель Мизрахи и его друг Муня Шапиро, совладелец тель-авивского "Кантри-клуба" и торговец подержанными автомобилями, обвинили "Гаарец" в клевете и подали на нее в суд, требуя компенсации в размере 1 миллиона долла-

ров. В 1978 году был опубликован отчет специальной комиссии под председательством адвоката Эрвина Шимрона, где признавалось существование в Израиле организованной преступности и назывались те же имена, что в статьях Валентина. А 4 июля 1979 года председатель тель-авивского окружного суда Шуламит Валленштейн признала все утверждения газеты "Гаарец" бездоказательными и вынесла решение в пользу Мизрахи и Шапиро. Своего миллиона они, правда, до сих пор не получили, потому что "Гаарец" немедленно обжаловала судебное решение, а само дело застряло в стадии пересмотра где-то в Верховном суде...

Тем временем Ави Валентин написал первый израильский полицейский роман. Его главный герой, инспектор Шмуэль Бергер, бывший боевой офицер, холостяк и моралист, занимается не каким-то отдельным уголовным делом, а всей организованной преступностью в стране. Бергер сталкивается с так называемой "системой Фельдмана" (в романе Фельдман — первый начальник полиции независимого еврейского государства), по которой полиция не трогает самых главных преступников в обмен на всякую мелкую рыбешку. Рыбешка дает хорошую статистику, а главари платят твердой валютой тем, кто соблюдает правила этой игры. Валентин делает как бы вертикальный разрез этой системы, и что же мы видим? Рядовой полицейский обыскивает убитого преступника и забирает себе найденные у него 500 долларов; начальник заранее договаривается с пострадавшими, на кого именно они укажут во время опознания; а глава сыскального отделения, подполковник Авидор Эвен, просто-напросто состоит на жалованье у господина Мико Шошани, злого гения романа Ави Валентина. Похоже, что господин Шошани скупил на корню все государство: на его серебрянную свадьбу приходят генералы и депутаты Кнессета, министры и прокуроры. Даже безупречный старый судья Отто Гутман не выдерживает угроз и подкупа и оправдывает Шошани "за отсутствием улик"...

Ави Валентин утверждает, что и сюжет его романа, и герои выдуманы, но внимательное чтение убеждает в обратном. Роман оборачивается документальными записками дотошного полицейского репортера, каковым Валентин был в течение восьми лет. В своих знаменитых статьях в "Гаарец" Валентин утверждал, что израильская полиция неспособна пресечь приток героина в страну и его влияние на уровень преступности. Прощедшее десятилетие подтвердило его правоту. Если раньше героин считался "наркотиком гоев" и полиция была уверена, что "хебре на него не клонют — ментальность не та", то сегодня в Израиле — по официальной статистике — насчитывается около 150 тысяч наркоманов, готовых на все, чтобы добыть свое зелье, и зачастую это зелье — именно героин.

Инспектор Бергер считает, что наркотики — это раковая опухоль израильского общества. И в то же время он провозглашает, что стоит-де хорошим и честным людям придти на работу в полицию, как зараза будет удалена, а общество исцелено. Идеализм? Наивность? Нехватка житейской мудрости? Всего понемногу, причем не только у Бергера, но и у самого

Ави Валентина, который завершает свой роман... обращением к гражданам Израиля с просьбой быть "сознательными" и выполнять свой гражданский долг в "деле оздоровления общества". Но на обложке "Проигранного дела" изображен отвратительный черный таракан на белом мраморе; если этот мрамор призван символизировать чистоту и непорочность израильского общества, то как же быть с безысходным тоном всей книги, в которой для этого самого общества не нашлось ни одного хорошего слова? Как быть с размышлениями Бергера, который говорит: "Мы хотели срубить ствол, но забыли, что у каждого ствола есть корни, а сила — в корнях"? По Валентину, "корни" — это большой бизнес и большая политика (политическим партиям тоже нужны деньги!). Это они зачастую делают respectable и благонадежными гражданами тех, кто еще недавно занимался сутенерством и контрабандой.

Действительность вторгается в книгу Валентина слишком часто и слишком дословно, чтобы можно было поверить в "чистый вымысел". Израильская полиция была возмущена тем, что автор раскрыл многие методы ее работы: тут и техника слежки, и установка подслушивающей аппаратуры, и ночное фотографирование, и вербовка "сексотов" среди проституток, мелких уголовников и арабов; пожалуй, особенно возмутила многих картина нравов в полиции и армии, какой ее рисует автор: карьеризм, интриги, секс. Особо стоит отметить любопытный факт, вытасченный Валентином на свет, наверно, впервые, — отношения между армией и бедуинами. "Бедуинам, — говорит одному из героев армейский офицер, — разрешается провозить все, кроме оружия, а поскольку они проходят через Иорданию, Ливан и Сирию, то в обмен мы получаем ценную разведывательную информацию". Но кроме информации, говорит Валентин, офицеры получают еще... гашиш.

Не претендуя на литературные новации, Валентин написал свою книгу языком улицы, перемешанным с типично израильскими аббревиатурами всех видов и слэнгом. Тут и воровское аргю ("маньяк" с ударением на первом слоге означает не то, что сразу приходит в голову, а "доносчика", "стукача"), и полицейский код, и армейская бравада, и многочисленные заимствования из арабского и английского. Что же касается пейзажей и топографии, то Валентин описывает, главным образом, хорошо знакомый ему Тель-Авив, наш приморский метрополис, где поселилось так много тараканов всех мастей. Конечно, было бы ошибкой отождествлять Тель-Авив Ави Валентина с реальным Тель-Авивом и воображать его этаким вторым Гарлемом, куда опасно ступить среди бела дня: приезжающим из Америки и даже из Европы Израиль и сегодня представляется, напротив, тихим и спокойным местом, где дети могут до ночи гулять по улицам одни, а одинокий прохожий может не опасаться ножа или кастета. Но есть и другой Израиль — пусть численно ничтожный, но опасный, преступный, организованный. Ави Валентин не ставил задачу "изобразить израильскую жизнь"; он одержим своей собственной темой — растущей силой израильской организованной преступности. И эту тему он сумел по-

дать впечатляюще. Он ничем не подсластил свою горькую книгу: инспектор Бергер проигрывает свое дело против Мико Шохани, как сам Ави Валентин проиграл дело против Бецалея Мизрахи. Бергер остался один на один со своей тоской, а Валентин расплескал ее по 316 страницам своей книги. Где же выход? — хочется воскликнуть, закрывая "Проигранное дело", — Где, черт побери, надежда, что мы вернемся к золотым временам ишува, когда люди, уходя из дому, даже не запирали дверей?

Ави Валентин задает те же самые вопросы, но не дает на них ответа. Может быть, его призыв к израильтянам не так уж наивен?

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН

"ПСАЛОМ" (Роман-притча)

В конце этого года издательство "Страна и Мир" выпустит в свет новый роман замечательного писателя. Этот роман уже опубликован во Франции по-французски и восторженно встречен французской прессой:

"Не новый ли Достоевский вырос из воспитанника сиротского дома и бывшего комсомольца?" ("Нуэль Обсерватер").

"Голос пророка и поэта" ("Монд").

"Библия по Горенштейну" ("Фигаро").

Заказы на книгу присылать по адресу издательства "Страна и Мир".

С 1984 года в Мюнхене выходит ежемесячный общественно-политический, экономический и культурно-философский журнал **СТРАНА И МИР**

Журнал обращен ко всем читающим по-русски, вне зависимости от их политической, национальной или религиозной принадлежности — живущим в СССР и за рубежом. Объем журнала 96 стр. крупного формата.

В каждом номере журнала: ежемесячный обзор важнейших политических событий; интервью и выступления политических деятелей; облик тоталитаризма; СССР — взгляды изнутри и извне; проблемы современного Запада; историческая ретроспектива; судьбы русской интеллигенции; литература и общество; религиозное движение нашего времени.

Стоимость годовой подписки 60 нем. марок. Стоимость полугодовой подписки — 30 нем. марок. Цена одного номера — 6 нем. марок. Доставка авиапочтой — за дополнительную плату (10 долл.). Подписная плата принимается перечислениями на банковский счет (Deutsche Bank München, BLZ 700 700 10, Konto-Nr 331 9613, Das Land und die Welt e.V.), или на почтовый счет (Postgiroamt München, Postcheck-Konto-Nr. 22 3981-804), а также в виде чека. При посылке чека просьба добавить к подписной плате 5 нем. марок.

Уважаемый господин редактор,

я с интересом слежу за Вашим журналом, так как считаю, что он единственный стоящий литературно-публицистический форум на русском языке в Израиле, проблемы которого обсуждаются здесь на высоком интеллигентном, а не бульварном уровне. Поэтому мне показалось уместным, что именно на Ваших страницах появилась статья Е. Фиштейна ("22", № 40), вызвавшая обширную полемику. Но то, что вынудило Е. Фиштейна написать свою статью, на мой взгляд, не нуждалось в новом оппонировании, ибо авторы последнего не продвинулись далее ими уже однажды сказанного. Я согласен с тем, что у критиков Е. Фиштейна (как и у критиков Э. Финкельштейна, тоже вызвавшего полемику в Вашем журнале), существует отмеченная Е. Фиштейном "склонность к самообожанию в сочетании с равнодушием". Надеюсь, что мое замечание Вашим авторам легче будет принять – ведь оно "исходит от человека, живущего среди нас", чего и хотел А. Воронель. В то же время я не хотел бы, чтобы у г-на Фиштейна (а возможно – и многих других) оставалось ложное впечатление, будто все мыслящие люди в Израиле во всем единогласны.

Статья Е. Фиштейна привлекает прежде всего (как правильно заметил г-н А. Воронель) своим литературным обаянием. У меня есть ощущение, что в этом-то и состоит доказательство ее истинности. Об это обаяние разбираются потуги всех ее оппонентов. Что красиво – то истинно. Как писал Вл. Соловьев: "Знание истины есть то, что соответствует воле блага и чувству красоты". И хотя число авторов, ратующих против Е. Фиштейна "за сионистскую идею", втрое больше, их усилия в три раза менее убедительны. Им действительно свойственны "моральный экстремизм, радикальность и нетерпимость", о которых упоминает А. Воронель и которые, на мой взгляд, есть продукты советского воспитания. Десятилетие жизни в Израиле не только не излечило многих из нас, но, напротив, кажется, только прибавило самоуверенности и сознания собственной непогрешимости, ведения истины в последней инстанции. Между тем, абсолютной непререкаемостью обладают одни лишь точные науки; истинность мировоззрения может быть доказана лишь экзистенциально, то есть жизнью его носителя.

"В истине ценно лишь то, в чем можно сомневаться, – писал В. Брюсов. – "Солнце есть" – в этом нельзя сомневаться, это истина, но в ней нет самостоятельной ценности. Она никому не нужна. За нее никто не пойдет на костер".

Я боюсь, что в реальности "весьма несовершенного", как его называет А. Воронель, Израиля тоже нет уже самостоятельной ценности для многих советских евреев (это правильно отметил Э. Финкельштейн в статье "Мост, который рухнул"). И для тысяч бывших советских евреев, которые, вопреки г-ну Польскому, так и не интегрировались в Израиле, – тоже. Мне не кажется однозначно доказанным, что между израильским и еврейским существованием есть очевидная идентификация. Мой опыт подсказывает, скорее, что израилизация еврея стирает с него достоинства и гипертрофирует недостатки, а тот, кто этой израилизации не поддается, не интегрируется. Достаточно приехать в Беер-Шеву и взглянуть на крыши домов, чтобы увидеть -- тысячи русских беершевцев хотят смотреть московское телевидение

и тоскуют по России. На концерт Иосифа Кобзона билеты были распроданы на два месяца вперед.

Увы, за эту истину многие уже не взойдут на костер. И взойдут ли на него за нее оппоненты Е. Фиштейна? Только пусть не говорят мне об опасностях и военной службе — я сам поел этого. Может быть, вместо того, чтобы повторять давно известные азы, заняться лучше созданием новых идей для тысяч бывших советских евреев, живущих в Израиле физически и не имеющих ничего духовного? Кроме того же Кобзона...

Вот почему вместе с Е. Фиштейном я хочу, чтобы диаспора оставалась и оставалась свободной и плюралистичной. И не с двумя возможностями, хоть и по Кестлеру (в передаче В. Богуславского), а с миллионом, как было всегда и будет всегда. И если советскому еврею понадобится вызов из Израиля, чтобы уехать в новую диаспору, я не задумываясь пошлю его, даже если г-жа Н. Гутина откажется это сделать. Не человек для субботы, а суббота для человека! Не советское еврейство для Израиля, а Израиль для советского и мирового еврейства. И не только демонстрациями и петициями, а в первую очередь визами на "выезд сюда" — подразумевая в первую очередь "выезд оттуда".

Евгений Фукс
(Беер-Шева) .

Уважаемый господин редактор!

На сороковой номер вашего журнала я обиделся. Огорчили меня авторы, которых я ценил, с мнением которых я, если и не всегда соглашался, то во всяком случае считался. Все началось со статьи Ефима Фиштейна "Из галута с любовью", где он заметил и попытался проанализировать тенденцию определенных авторов к "крайне нелестным отзывам о еврейской диаспоре". Это вторая статья Фиштейна, которую я читал (первая — ответ М. Хейфецу на статью о Куприне) и, по-моему, не менее серьезная. Не все, разумеется, обязаны согласиться со всем написанным в ней, да и сам автор не всегда и не во всем уверен, Он излагает определенную точку зрения, он подтверждает ее иногда примером, он приглашает к спору. Ведь что такое, в конце концов, идеология, мировоззрение, как не иерархичность, предпочтение одних фактов другим? Как известно, "реальность, данная нам в ощущениях", — одна, проблемы начинаются с попыток эту реальность интерпретировать.

Я тоже, вместе с автором, не всегда уверен в непогрешимости его выводов. Интересно было бы побеседовать с ним, поспорить...

Но в ответ автор получил строенный редакционный залп, говорящий о чем угодно, только не о его статье. А. Воронель оригинально и свежо пишет о своем — об антисемитизме, о наших израильских проблемах, о том, что мы единственные спасители евреев (кстати, интересно, сколько иранских евреев мы спасли, когда теперешний режим стал уничтожать их если не тысячами, то десятками, а может, и сотнями? Да и сирийских еврейских девушек вывозили и, если не ошибаюсь, вывозят в Америку, не прося особенно нашей помощи). И — никак не пишет о том, что является стержнем статьи Фиштейна: о нашем (вашем) нарциссовом комплексе, о нашем (вашем) зазнайстве перед галутом (ни на чем конкретно не основанном, кроме факта проживания в государстве Израиль) .

Здесь я хочу отвлечься и привести две исторические реминисценции. Первая – беззаветная уверенность И.В. Сталина, что наш (их) последний рабочий и колхозник неизмеримо выше их (нашего) самого-самого интеллигента и профессора. То есть он, очевидно, не так уж верил в это лично, но хотел внушить эту веру публике. Впечатление такое, что ответчики Фиштейну верят в это лично.

И вторая – к упоминаемому несколько раз бремени "милуим"...

В первом правительстве Бегина, где Моше Даян и Ариэль Шарон сидели за одним столом, Шарон спросил Даяна, почему тот ездит за границу с телохранителями. Даян ответил, что ему по чину положен телохранитель. На это Шарон сказал, что он всегда сам был телохранителем для других. Так что ж, заинтересовался Даян, дать тебе за это медаль? Теперь ты спрашиваешь, а когда был начальником генштаба, то не подумал дать мне эту медаль, ответил Шарон.

Так что не только авторы ответов Фиштейну хотят награды, – были, как говорится, прецеденты.

Теперь немного всерьез. Члены редколлегии, как и мы все, я полагаю, живут здесь потому, что им это нравится. Если бы это было не так – в конце концов, это только дело определенных усилий сменить эту не самую благоустроенную в мире страну на другую, более симпатичную. И если это так – то не надо строить идеологию, иногда даже с подкрывшечными надстройками, что и сколько мы от этого факта выиграли. Об этом можно сказать раз, два – и хватит. Как-то не по-мужски снова и снова возвращаться с любованием: какую удачную сделку, какой хороший и правильный выбор мы сделали, приехав именно в Израиль, как не боимся, не замечаем мы антисемитизма, какие мы совладельцы всех капиталов страны (у Воронеля) – не менее Меира Кахане или Меира Паиля (там же).

Не надо обижать галут. Не люблю я это слово – не надо обижать евреев, живущих за границей. Мы сами там жили (как правильно пишет Фиштейн). Да и не только поэтому не надо их обижать. Две тысячи лет был галут, был до Израиля, есть сейчас вместе с Израилем и, я надеюсь, что не будет такого положения, но, может быть, будет и после Израиля.

Теория, которая права во всем – уже и не теория, это просто общее место и, как известно, никакой ценности не представляет. Дайте быть правыми и другой стороне. Они тоже живут для себя, а не для справедливости. Мудрый побеждает неохотно.

Несколько слов о просто журналистской технике (этике) – не знаю, как назвать. Не надо учиться у советских газет или у "Континента"... Как нехороший человек, так уж и "господин" (у Богуславского и у Гутиной). Не надо обижать оппонентов эпитетами ("проницательный", "неделикатно" – у Воронеля). Непонятно, почему замечание Фиштейна о "склонности к самообожанию в сочетании с равнодушием к судьбам преследуемых евреев всего остального мира" (цитата из статьи А. Воронеля о статье Фиштейна – я этого утверждения у Фиштейна не заметил) обязано исходить от жителя Израиля.

Я искренне надеюсь, что журнал, который я выписываю, поправится. В конце концов, симитомы, о которых я пишу, появились в основном недавно. И нет никакой причины, почему бы им не исчезнуть.

А то ведь я действительно перестану подписываться на ваш журнал. И это будет очень жаль, – все-таки единственный русскоязычный литературный журнал в Израиле. И неплохой.

Я не шучу. В 1974 году я перестал пить кофе после того, как в Бразилии подняли цены вдвое. Через месяц бразильцы пошли на попятную. Я не пил кофе после этого еще с год – чтобы знали и боялись. Более свежий пример:

после нескольких повышений цен до и во время первой пакетной сделки цена на "инстант" яблочного сока дошла до доллара в стабильной валюте. Я перестал его покупать. И сейчас, к началу второй пакетной сделки, цена снизилась до, примерно, шестидесяти центов. Я бы очень не хотел, чтобы что-нибудь подобное случилось с журналом "22".

П.С. Не успел наклеить марку, как цена на "инстант" вернулась к доллару. Очевидно, ничего нельзя изменить в этом мире. Письмо я все же отсылаю.

Иосиф Заславский
(Реховот).

Дорогой Рафаил!

Как член редколлегии, я сразу поддержал твое решение опубликовать полемическую статью Е. Фиштейна (по поводу письма А. Куприна к Батюшкову), отвечать же, ты помнишь, отказался. Перед читателем были тексты, и он сам должен был разобраться, кто прав. Откровенно говоря, мой отказ диктовался и неким неуважением к Е. Фиштейну как автору: несомненно прекрасный стилист, он показался мне человеком поверхностным, неспособным внимательно прочитать статью, которую анализирует.

Но вот появилась новая статья Е. Фиштейна (в №40), и я с удовлетворением убедился, что был неправ. Е. Фиштейн оказался и умнее, и проникательнее, чем я думал. Он сумел увидеть, что за "феноменом Хейфеца", который якобы жаждет любви Куприна (а также П. Струве и П. Милюкова), скрыт определенный феномен новой еврейской психологии и складывающийся в Израиле. Правда, Фиштейн не сумел ни правильно его оценить, ни увидеть его истоки. Но тут, я думаю, превосходная статья А. Воронеля (в том же №40), с каждым словом которой я согласен, поможет ему и его соумышленнику набрать новую информацию и попытаться ею овладеть.

Что речь идет именно о массовом социально-психологическом феномене — это нечаянным образом еще раз доказано в том же номере, где напечатана статья Е. Фиштейна. Там помещена статья М. Азбеля, где содержится признание, что в утверждении д-ра Геббельса о существовании "арийской" и "неарийской" науки имелся какой-то резон. Думаю, что с позиции г-на Фиштейна это куда более жуткое признание, чем соображения М. Хейфеца о том, что А. Куприн был все-таки неправ, — но, уже выслушав массу похвальных отзывов о статье М. Азбеля от своих знакомых, израильских ученых, ни от кого не слышал я минимального возмущения этакой "чудовищной антисемитской клеветой".

Другая статья в том же номере (Д. Штурман о творчестве Солженицына), где справедливо утверждается, что если бы все произведения А. Солженицына были переведены на иврит, то "ивритяне" просто не поняли бы, где там имеется "антисемитизм", — должна вызвать еще большее возмущение в группе единомышленников Е. Фиштейна. Увы, поскольку утверждение Д. Штурман — факт, едва ли оспариваемый кем-либо из лиц, знающих коренного израильского читателя, остается предположить, что феномен, подмеченный г-ном Е. Фиштейном в моей статье, свойственен не только репатриантам из СССР, но напротив свойственен им в относительно малой степени по сравнению с коренными израильтянами, и что он углубляется по мере все большего проживания в стране.

Как я уже заметил, все важное г-ну Фиштейну объяснил А. Воронель. Те-

перь от него самого зависит, поймет ли он сказанное; мне же хочется добавить лишь несколько замечаний в скобках.

Пожалуй, самое сильное впечатление в статье г-на Фиштейна на меня произвел тот абзац, где, упоминая о "грязи евреев", Фиштейн предложил мне сопоставить это место с текстом, кажется, Ольбрахта, у коего написано, что украинцы были куда грязнее. Во-первых, я вспомнил израильский анекдот, рассказываемый репатриантам сразу после прибытия, а именно, что отныне они живут в стране, где если про кого-то скажут "грязный еврей", это значит видели человека, которому надо поскорее принять ванну — и ничего более. Во-вторых, невольно подумал, какая все-таки социальная разница между Е. Фиштейном и мною: мы оба вроде бы всю жизнь занимаемся одним делом — работаем с текстами, но его, прямо скажем, "галутная манера" сводить всю жизнь лишь к текстам и к их сравнению оставляет у меня странное ощущение.

Мне *совершенно неинтересно*, что писал о сравнительной "грязности" украинцев и евреев И. Ольбрахт или кто-то другой. И знать не хочется. У меня свои проблемы. Например, симпатичная еврейка, лузгающая семечки и сплевывающая кожуру на пол автобуса №35 в Иерусалиме (в ответ на пристальный взгляд одной репатриантки из СССР, желавшей таким образом обратить внимание на "некультурность" подобного поведения в автобусе, та с милой добротой протянула ленинградке горсть семечек: "Хочешь?"). Или мальчишки-обезьяны, которые регулярно расширяют стеклянные вывески, обозначающие названия улиц, малюют несмываемой краской надписи на автостанциях в Иерусалиме, ломают деревья и кусты, только что посаженные в моем городе. А сравнительные достоинства их цивилизованности с украинцами, на основании анализа текста И. Ольбрахта, ей-Богу, мне, как говорили в России, "до лампочки"...

Мой молодой друг Ю. Штерн, экономист из Москвы, одно время подсаживался ко всем курящим в автобусах и объяснял им, что курить в таком месте нехорошо. "Мне иногда казалось, что дадут в морду, — рассказывал он. — Но нет, обходилось, всегда гасили сигареты". Однажды старичок спросил Юру: "Ты понял, почему этот парень спросил тебя, давно ли ты в Стране? — "Думаю, он намекал, что нечего новичку учить старожилов". — "Верно. Но он неправ. Мы сделали эту страну, какой ты ее видишь. Но она не так хороша, как мы когда-то хотели. Теперь приехали вы, и должны делать ее вы, чтобы она стала лучше". Вот проблема, стоящая перед израильянами: сделать евреям в своей стране получше, а не защищать их от антисемитов!

В связи с этим — о публикации письма А. Куприна. Несложно А. Куприна обругать антисемитом и в очередной раз на "врага" обидеться. Куда сложнее понять, что А. Куприн — благородный человек, но и самый благородный, и порядочный, и талантливый человек может оказаться во власти мифов, в том числе антисемитских. Такие мифы владели сознанием такого гениального человека, как Ф. Достоевский, причем особенно недостойным я считаю в его сознании как раз миф не антиеврейский, а антинемецкий (помнишь (филиппику против немецкого клана в "Бесах"?), потому что именно немецкий клан, из чистого уважения к его таланту, бескорыстно и благородно, втащил Достоевского из Казахстана, когда родственники и земляки писателя думать о солдате забыли...

Если Ф. Фиштейн собирается жить в диаспоре, ему надо привыкнуть к мысли, что многие благородные, талантливые, порядочные и бескорыстные люди думают точно так же, как А. Куприн. И не впадать в истерику всякий раз, когда через энное количество лет это обнаружится. Кстати, если бы он жил в Израиле, то убедился бы, что сознанием многих евреев владеют мифы

ничуть не лучше купринских, только направленные против других народов. И вовсе они не подлецы. Таково, видно, свойство социальной психологии — породить в обществе подобные мифы и предрасположение к ним даже у достойных людей.

В том и заключалась трагедия еврейства, что до 1948 года нам некуда было от этой социальной мифологии деться. Теперь, слава Богу, есть.

Куприна же следует судить лишь по тому, одержал он победу над мифами своего сознания или нет. По-моему, его общественное поведение было безупречным. Это одно и должно нас интересовать. А личные тайны его мировоззрения, доверенные лишь близкому другу, только показывают, как непросто дается честная общественная позиция, в каких борениях и противоречиях она может рождаться. Что Куприн был неправ, что его сознанием владели мифы — я написал совершенно определенно. Но для меня было куда важнее, что в общественной позиции он эти идеи не высказывал, чтобы не сыграть в руку подлой политике правительства. Для людей же, вроде г-на Фиштейна и ему подобных, эта публикация должна быть особенно полезной, потому что среди их талантливых, порядочных, благородных знакомых обязательно окажутся люди, думающие, как Куприн, и они всегда должны быть к этому готовы: "Такова жизнь и не нам ее изменять", как говорилось в одной пьесе. А если им это так уж не нравится, пусть приезжают к нам — мы их встретим, как братьев.

М. Хейфец

Ефим Фиштейн

П О Г О В О Р И Л И . . .

Я затеял разговор, и мне было отвечено. Не то беда, что ответчиков оказалось втрое больше, чем меня (кто вам считает?), а то беда, что разговор получился странный, не по существу.

Вообще-то меня предупреждали, что все именно так и стрясется. Что пользуют, как фраера, оглупив до неузнаваемости. Пенять не на кого, но от этого не менее тоскливо. Ибо не только в журнале "22" угнездились комсомольское представление о боевитой журналистике, как о хорошей, а специфической добродетелью публициста считается сноровка (цитирую одного из оппонентов) "отбрить категорически и изящно". Меня, впрочем, отбрили скорее категорически...

Призыв к взаимности, выдержанный в вовсе не нахальном тоне, возбудил в журнальных ответчиках ассоциативные ряды, которые далеко увели от предложенной к обсуждению темы. Это можно. Однако свои безотносительные суждения они так обильно уснастили намеками на мою безобидную реплику, так нарицательно проэксплуатировали имя, что невнимательному читателю трудно избежать впечатления, будто полемизируют они все-таки со мной.

Один полемист, поминутно окликаая меня по имени, но глядя сквозь, признается, что галутного еврея он не уважает, но ценит. Лучше бы не целал, но уважал в той элементарной степени, которая в силу воспитания не позволяет обращаться с чужим словом, как с бесхозным добром. Тогда бы не пришлось мне отдуваться за чьи-то несусветные утверждения только на том сомнительном основании, что ведь и я толковал о "разных теориях" (да не о тех).

Другая милейшая ответчица, закавычивая и божась, что именно так говорит г-н Фиштейн, приписывает мне скверно стилизованные конструкции – вроде “передовой линии фронта противостояния”. Так затерто я даже думать стесняюсь, не то что изъясняться. И во второй, и в третий заход берясь цитировать, она всякий раз попадает мимо. По телефону, что ли, пересказали ей текст, с которым ей любо спорить?

Трудно сказать, чего больше – наивной каверзы или профессионального ловкачества в таком алармистском зачине: “Что случилось с советскими евреями, попавшими на Запад? Кажется, у них накопилось слишком много претензий к СССР, к Западу, к Израилю, к “еврейской интеллигенции из СССР в Израиле”, к миру вообще и ко мне лично. Часть этих претензий сформулирована в письме г-на Фиштейна”. За всех советских евреев, попавших на Запад, мне отвечать не с руки – за рубежами доисторической Родины я обретаюсь дольше моей израильской оппонентуры. Что же до моей части этих претензий, то всех претензий и было, что сугубо человеческая просьба семь раз отмерить прежде, чем один раз отрезать (диаспору от Израиля). Даже тот из вас, кто настаивает на своем праве ни в грош не ставить галутного еврея, не может же всерьез в каждом проявлении полемического несогласия видеть уже и бунт против миропорядка!

И третий, заочно любимый мной оппонент, разделяя установку: “Дать и больно дать по рукам зарвавшемуся галутнику!”, не свободен от передержек. Нимало меня не зная, даже понаслышке, он загадя подозревает за мной нехорошее: “...вызова из Мюнхена ему придется ждать от Гутиной, не говоря уж о том вызове, который он однажды уже получил в России от другого израильтянина”. Этого должка за мной не водится, а ведь под него уже и целая “психология” подведена: “Именно эта подспудная зависимость и тяготит его, и восхищает” и т.д. Меня восхищает, но в то же время, признаться, тяготит та легкость, с которой тут раздаются пинки под дыхало: напомнив читателю прожекты некоего мюнхенского безумца, мой оппонент не брезгует очень кстати обронить, что ведь и я – “тоже из Мюнхена”. Легко уразуметь, что он третирует во мне лишь обобщенный образ презренного галутника, но зачем тогда он так лично и болезненно, как донос фининспектору, воспринимает мое отвлеченное, на всю статью одно-единственное замечание о том, что израильтяне тоже не все одним мирром мазаны (“Допустим, я... живу в Израиле из корыстных побуждений, зарабатываю свой шекель (О, Боже, услышь!) в торговых рядах...”) Я и до этих иронизмов не допускал мысли о том, что в Израиле можно жить корысти ради, но и после них готов идти в пари, что там можно жить, оставаясь корыстолюбцем. Доказать это – значит ломиться в открытую дверь, и реплика моя была вовсе не о том. Была она скорее – вопль неразделенной любви, и нужно проявить себя очень нечутким резонером, чтобы разглядеть в ней “презрительные выпады против израильтянина”, “обличающий палец” и прочее, вызывающее праведный гнев.

Вполне смиренное, почти как на духу, признание в некоторой своей еврейской второсортности перед лицом израильтянина, что вонне проявляется вечно воспаленным национальным чувством, один из моих нетактичных критиков находит “гордой позой, жалкой и смешной”. Смешливость одолевает временами и другого, и третью. А ведь человек, который смеется, – не лучший из вообразимых партнеров для душевного разговора.

Желание сделать больно, неумение отказать себе в дешевом и доступном любому стилисту удовольствии потоптать противника ножками, сравнять заподлицо связано у моих оппонентов с расхожим представлением о том, что, уязвляя автора или текст, можно косвенно уязвить стоящую за ними мысль. Мысль же, не Бог весть какая, но критикой ответчиков ничуть не

задетая, почти вся сводилась к тому, что диаспора есть, и это медицинский факт, с которым нужно научиться жить, не впадая то и дело в истерику.

Когда, как не в раже, могло появиться ращепление одного из критиков: проявить, по примеру А. Кестлера, честность и – будучи галутником перед лицом Израиля – отказаться от незаслуженного еврейства!? Проявимы в массе такую честность – и мир, и Израиль станут заметно беднее, и не к кому будет ездить моим оппонентам с популярными лекциями.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы постичь принципиальную разницу между двумя состояниями: галутника, который всегда в пути, всегда в предписанном ожидании Мессии, и израильтянина, который всегда дома. Зря ставя понимание этой самоочевидности в центр своей еврейской космогонии, мой наторелый полемист невольно обесценивает ее. Не из одной лишь привычки перечить я не нахожу особо убедительной аналогии между еврейским двучленом "галутник–израильтянин" и психологическими отношениями внутри другой пары: меньшинства, озбоченного разрушительным "совершенствованием" общества, и по-хозяйски консервативного большинства. Там, где национальная проблема отказывается терять остроту, галутник, хотя бы в теории, стремится к нулю (как в Польше, арабских странах, потенциально в России). Там же, где эта проблема готова остроту потерять, галутник нередко становится частью позитивно мыслящего истеблишмента и даже, подобно Крайскому, Фабиусу, Киссинджеру, берется сообща решать "беспредельные и неясные задачи большинства". Вообще полезно помнить, что отнюдь не повсюду духовное слияние с большинством является безусловным требованием момента, а иррациональная вера в его провиденциальное предназначение – высшим доказательством лояльности. Канада, к примеру, хоть похожа на Россию, но тем и не Россия, что о ней, не обидев, не скажешь: "Умом Канаду не понять. В Канаду можно только верить!". То же относится и к Голландии, Исландии и Новой Зеландии, в которых верить не приходится, но жить можно. Эмансипированный мир (а выбор делается не между Израилем и Монголией) давно отвык воспринимать социальные функции меньшинства в терминах классовой борьбы. Автор аналогии, наверное, погорячился, ища и находя "заметную долю правоты в претензиях охранителей к диссидентам". Аналогия разрушается его же капризной рукой, наметившей в израильском обществе кандидатов на роли меньшинства: тут и эфиоп, и интеллектual с соседней койки, и экстремист-партиец. И все они могут спать спокойно, не тревожа свой сон претензиями охранителей – в демократическом Израиле ни у кого нет патента на правоту.

Повторяю, признаю: разница между нами грандиозна. Однако люди мы друг другу все же не совсем чужие. Вот шииты полонили в Бейруте горсть американских евреев – это они так воюют с Израилем. Инстинкт врага безошибочней утмований полудруга. Верный и умный враг знает, что и в мюнхенской богдельне, и в парижском ресторане, и в венской синагоге сгорят, и подорвутся, и примут пулю родичи нынешних или будущих израильтян. Тут важен не масштаб угрозы, а принцип сопричастности, легко отменяемый по методу Кестлера. И без драматизации ясно, что проляг между Израилем и диаспорой пропасть глубже и бесповоротней – и не будет этих шитских претензий к галутнику. Но пропасть эта склонна скорее мельчать. Сегодня в рассеянии уже каждый пятнадцатый – израильтянин, есть худо-бедно какая-то алия, сосуды, то есть, сообщаются – лет через сто, глядишь, каждый первый еврей в мире будет иметь за плечами опыт жизни в стране Израиля. Что тогда прикажете делать с такой незадачей?

Я – не защитник диаспоры. Она и не нуждается в защите, а если бы нуждалась, могла бы выставить бойцов – не чета мне. Французский философ Алэн

Финкелькраут, например, в своей книге "Воображаемый еврей" развивает, и не без успеха, мысль о том, что промежуточное, взвешенное состояние, свойственное галутнику, есть самоценность и психологическая основа всех его достижений (в том числе и универсальности, той самой столичности, которую только и ценит в нас неуважительный критик).

Но я, повторяю, — не защитник диаспоры. Я всего лишь пытался объяснить нечто, видимо, труднообъяснимое, неуловимое и неопределенное, как шевеление пальцами руки. Я искренне хотел быть переубежденным аргументами журнальных ответчиков, но у меня не получилось. А жаль, потому что я, как и они, вижу, что причины, побуждающие некоторых евреев пребывать в рассеянном состоянии, действительно, пока что "перевешивают неприятные впечатления от антисемитизма". И еще я вижу — и это гораздо обидней! — что их, этих причин, не перетягивает пока и тяга к Сиону. Как сделать так, чтобы было наоборот? — над этим я и предлагал в своей реплике "Из галута с любовью" сообщать и мощно подумать. Это предложение остается в силе. Думать, как подметил первый из критиков, вообще полезно. А отбрасывать категорически, пусть даже изящно, — это не так полезно, как думать.

ОДНА ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ КНИГ 1984 ГОДА

Наум Век "СТРЕЛА ВЕРЛИБРА"

Первая книга стихотворений молодого поэта и музыканта, которая привлечет к себе внимание многих любителей современной поэзии на русском языке.

Стоимость (с пересылкой) — 9 долларов; в Израиле — 8 долларов (в шекелях). Чеки и заказы посылать по адресу:

NACHUM VEK, P.O.B. 2089, BAT-YAM, 59120, ISRAEL.

Продолжается подписка на журнал "Двадцать два"

Стоимость годичной подписки: в Израиле — до выхода следующего номера — 30000 шекелей, после этого — в соответствии с новым уровнем цен; за рубежом — 40 долларов (авиапочтой в Европу — 50, в США — 56 долларов), для организаций — 50 долларов. Заказы и чеки направлять по адресу: "22", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль — или представителям журнала на местах:

Соединенные Штаты

L. Khotin, 235 17 Mile Dr., Pacific Grove, Ca. 93950

Западная Германия

L. Roitman, 67 Oettingerst. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22 BDR
L. Gerstein, 12 Muehlbauerst., 8 Muenchen 80 BDR

Великобритания

R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4

КО ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ

Мы призываем всех, кто заинтересован в сохранении нашего журнала, помочь нам пожертвованиями, которые будут приняты с глубокой и искренней благодарностью независимо от их размера.

В июле-августе журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: Др. А. Ливитан (Нетания) — 10000 шек., Д-р Л. Златкис (Цфат) — 10000 шек. Г. Фридман (Гиват-Нешер) — 5000 шек. Д-р Н. Ярон (Тель-Авив) — 5000 шек. Д-р Казакова (Лод) — 10000 шек. Ц. Левин (Кирият-Моцкин) — 10000 шекелей.

